

СИБИРСКИЕ ОГНИ

**Литературно-художественный
и общественно-политический
ежемесячный журнал**

Главный редактор:
М. Н. ЩУКИН

Редакционная коллегия:

Б. Л. Аюшеев (Улан-Удэ)
А. Г. Байбородин (Иркутск)
Б. Я. Бедюров (Горно-Алтайск)
Т. Г. Четверикова (Омск)
Б. С. Дугаров (Улан-Удэ)
А. В. Кирилин (Барнаул)
Э. И. Русаков (Красноярск)
А. Б. Шалин (Новосибирск)
Г. М. Прашкевич (Новосибирск)
Н. М. Закусина (Новосибирск)
Е. Ф. Мартышев (Новосибирск)
А. Ф. Косенков (Новосибирск)
В. С. Никифоров (Новосибирск)

Владимир Титов
ответственный секретарь

Максим Долгов

и. о. начальника отдела художественной литературы

Марина Акимова

редактор отдела художественной литературы

Михаил Косарев

начальник отдела общественно-политической жизни

Дмитрий Рябов

редактор отдела общественно-политической жизни

Верстка: О. Н. Вялкова
Корректурa: М. Н. Долгов

10/2016

Содержание

ПРОЗА

- Александр ЛАПТЕВ. Армань.**
Документально-художественное повествование. Окончание.3
Виктор СТАСЕВИЧ. Карточный домик. Рассказ.67
Сергей КУКЛИН. Воля. Рассказ.81

ПОЭЗИЯ

- Виктор САЙДАКОВ. «Польнью терпкою и солью...»** Стихи.62
Надежда ЯРЫГИНА. Школа искусств. Стихи.79
«Над Томью в золото-синей дрожи...» К 20-летию кемеровского
журнала поэзии «После 12». Стихи.94
Без лишней драмы. Поэзия участников Регионального совещания
сибирских авторов. Стихи. 101

ЛИТЕРАТУРНЫЙ АРХИВ

- Всеволод ИВАНОВ. Проспект Ильича.** Роман. Продолжение. 105

ОЧЕРК И ПУБЛИЦИСТИКА

- Александр ШЕКШЕЕВ. Неизвестный «сибирский Корнилов»
и его поход.** 160

КРИТИКА. ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ

- Владимир ЯРАНЦЕВ. Вертикальное движение.** 173

КНИЖНАЯ ПОЛКА

- Алексей ГОРШЕНИН. Ветвь большого дерева.** 186

Картинная галерея «Сибирских огней»

- Светлана БЕЛЯЕВА. Тема декабристов
в графике Н. И. Домашенко.** 189

- Авторы номера* 191

Редакция знакомится с письмами читателей, не вступая в переписку. Рукописи не рецензируются и не возвращаются. За достоверность фактов несут ответственность авторы публикаций. Их мнения могут не совпадать с точкой зрения редакции. Редакция оставляет за собой право опубликовать присланное произведение в журнальном варианте. При перепечатке материалов ссылка на «Сибирские огни» обязательна.

Главный редактор, директор-руководитель ГБУК НСО «Редакция журнала «Сибирские огни» М. Н. Щукин.

Александр ЛАПТЕВ

АРМАНЬ

Документально-художественное
повествование*

Ранним морозным утром из лагерных ворот выехал грузовик, кузов которого был затянут обшнудевшим брезентом. В кузове, среди сломанных лопат и прочего дрязга, прямо на занозистых досках, лежал притиснутый к борту человек. Этим человеком был Петров Пётр Поликарпович. Перед отправкой его одели в изорванный, в нескольких местах прожженный бушлат третьего срока носки, завернули в тряпье, какое попало под руки, на ноги натянули исковерканные валенки, а на голову нахлобучили шапку-ушанку. Начальник лагеря никак не соглашался отправить заключенного в центральную магаданскую больницу. А когда понял, что сделать ничего не может, распорядился везти его в открытом кузове — все пятьсот километров до места.

Приказание его было исполнено в точности. Фельдшер был рад и этому: это было лучше, чем оставлять умирающего заключенного на приiske. К тому же пузатый начальник никогда не ездил по колымским просторам в кузове грузовика. Он не знал, что когда машину сильно трясет (а на Колымской трассе ее трясет всегда), то едущему в кузове пассажиру никакой мороз не страшен. Удары и толчки согревают тело лучше всякой грелки, не дают ему застыть и превратиться в лед. Это наблюдение подтверждено множеством свидетельств, тысячью рассказов! Убедился в этой истине и Пётр Поликарпович: он проехал в кузове полуторатонки от Хатыннаха почти до самого Магадана. А это пятьсот пятьдесят километров постоянно петляющей трассы. Двое суток пути со множеством остановок — в Ягодном, Дебине, на Спорном, в Оротукане, на Стрелке, на Атке и в Палатке. И если бы не тряска и не ухабы, то в центральную колымскую больницу привезли бы закоченевший труп. Составили бы акт, прокололи грудь штыком, прикрепили к большому пальцу правой ноги бирку и бросили в мерзлую яму к другим доходягам и фитилям. Но Пётр Поликарпович не замерз (несмотря на сорокаградусный мороз). Когда грузовик спустился с Яблонового перевала, стало заметно теплее, а в Па-

* Окончание. Начало см. «Сибирские огни», 2016, № 9.



латке было уже совсем хорошо — каких-нибудь минус десять. С мутного неба сеялись белые пушинки, и вся местность была укутана толстым снежным одеялом.

Упрямый фельдшер добился своего — его подопечный попал-таки в благословенную больницу, где настоящие доктора и хорошо обученный персонал, где делают любые операции и ставят на ноги мертвецов. В эту больницу мечтали попасть даже вольные, они усиленно хлопотали об открытии для них двух палат при хирургическом отделении (и в конце концов добились своего).

Знаменитая на всю Колыму «инвалидка» располагалась в приболоченной безлесной низине в шести километрах от центральной Колымской трассы и в двадцати километрах от магаданской транзитки, которую Пётр Поликарпович покинул два месяца назад. Главный больничный корпус располагался в огромном четырехэтажном здании на тысячу коек. Здание не отличалось архитектурными изысками — это был громадный параллелепипед грязно-серого цвета с геометрически ровными рядами зарешеченных окон по всем четырем этажам. В пятидесяти метрах параллельно ему расположилось еще одно каменное здание — о двух этажах и в два раза короче, за ним — третье, еще ниже, а далее были разбросаны там и сям строения самого разного калибра и пошиба. Это был настоящий поселок со своей котельной, хлебопекарней, с подсобными производствами и жильем для охраны и для вольных.

В то же время это был самый настоящий лагерь, огороженный колючей проволокой и обставленный вышками с часовыми. На территории больницы действовали точно такие законы, как и во всех лагерях УСВИТЛа. Медперсонал больницы состоял в основном из заключенных, обученных в этой же больнице на ускоренных фельдшерских курсах, на которые мечтали попасть все ээки, от последнего доходяги и до мордатого повара или каптера, ибо никакая другая должность не давала заключенному столько привилегий и власти. Но матерых уголовников и блатарей в медицину не брали по причине их дремучего невежества и полной непригодности к лечебному делу (да и к любому другому делу тоже). Фельдшерами становились, как правило, люди образованные и сострадательные, тут действовал тот же закон, что и во всем остальном мире, когда все наносное и случайное безжалостно вымывается и выдувается мощными потоками, а все ценное и единственно верное — остается и становится частью общего организма, обеспечивая порядок и требуемый результат. Командовали больницей чины из НКВД. Главный врач хотя и был из вольных, но состоял на военной службе и получал двойную зарплату за свои труды. Во всем остальном это была обычная больница, где лечились все те же болезни, что и везде, использовались общепринятые методы излечения недугов. Человек везде одинаков. На всех материках и во все эпохи — у него одна и та же красная кровь со множеством эритроцитов, те же самые кости и одинаковый набор мышц и нервных волокон. Он одинаково чувствует боль и противится смерти, даже когда смерть для него — благо.

Процедура приема больных в центральной колымской больнице была весьма своеобразной. Первичный осмотр всех поступающих больных проводил заведующий приемным покоем — фельдшер из числа заключенных. Фельдшер этот был мрачен, высок и чрезвычайно худ. Потемневшая кожа туго обтягивала череп, а ввалившиеся щеки свидетельствовали о полном отсутствии коренных зубов. Взгляд его был чрезвычайно тяжелый и пронзительный. Этим взглядом он смотрел на пациента, а правильнее сказать — сквозь него, и что-то про себя решал. Главный вопрос был всегда один: заслуживает ли больной госпитализации? Попадет ли он на больничную койку, получит ли спасительный отдых от убийственного труда, от мучительных морозов, от ежедневных избиений? Хотя, конечно, были среди привезенных в больницу и симулянты, были и бытовики с липовыми диагнозами, полученными от насмерть запуганных лагерных лепил, — но всех их ждало разочарование. Долговязый фельдшер со злым лицом сразу видел фальшь и — твердо отказывал всей этой шатии-братии. Но все те, кто нуждался во врачебной помощи, — получали ее. Обостренная интуиция бывшего доходяги, многолетнего обитателя золотых забоев и профессионала по части тачки и кайла, непосредственное знание самого дна жизни и ее обитателей помогали ему безошибочно отличать истинно страдающих от симулянтов и паразитов всех мастей.

Когда в приемный покой втащили Петра Поликарповича, фельдшер все понял с одного взгляда. Заплывшее потемневшее лицо со следами обморожений, отсутствующий взгляд, заторможенность и полная раскоординация всех физиологических отправлений — все это он видел бесчисленное число раз и в своей прошлой жизни обычного ээка, и в теперешней, когда он обманул смерть и сам стал вершителем судеб.

— Откуда? — задал он единственный вопрос сопровождающему.

— С Ягодного. Из Хатыннаха, — был ответ.

Фельдшер согласно кивнул:

— Понятно. — И, обернувшись к своему помощнику, коротко распорядился: — Этого оформляй в терапию, в триста пятнадцатую.

Он произнес это скупно, нисколько не изменившись в лице, не сделав лишнего движения, а перед глазами промелькнула целая череда видений. Хатыннах он знал слишком хорошо, был там на доследовании в тридцать восьмом, когда ему клепали второе дело, а потом возили в Магадан и чудом там не расстреляли. Очень ему запомнился шестидесятиградусный мороз, прыгающие звезды в черной бездне над головой и как его везли под этими звездами от «Партизана» до Хатыннаха, а потом по всей Колымской трассе — в открытом кузове полуторки под продувающим насквозь ветром.

Такое не забывается. И не прощается.

И вот перед ним человек, повторивший его смертный путь, так же как и он, чудом вырвавшийся из когтистых лап смерти. Мог ли он ему отказать? Такой вопрос не стоял перед ним. Два года назад, стоя глубокой ночью в ледяном забое, он впервые в жизни плакал от бессилия, от нестерпимого холода, от страшного унижения, от смертного ужаса. Тогда

он со всей остротой впервые ощутил то главное, что есть в этом мире, что движет миром и не дает ему распасться на атомы. Сила эта — сострадание всему живому, глубокое сочувствие видимому и незримому, стремление помочь всему сущему, сохранить его целостность и соразмерность, но не крушить, не уничтожать и не глумиться! Разрушение окружающего тебя мира — вот самый страшный грех, какой только есть на свете! Тогда он дал себе страшную клятву: если только он останется в живых — все силы без остатка употребит на помощь другим людям. Потому что нет и не может быть другой цели в жизни человека. В этом оправдание его существования, в этом смысл и высшая награда.

Клятву эту он ни разу не нарушил. И теперь он решил сделать все возможное для спасения Петра Поликарповича Петрова. Изучив его документы и внимательно осмотрев иссушенное голодом тело, он назначил ему усиленное питание, горячие уколы хлористого кальция, внутривенные вливания глюкозы, скипидарные растирания и полнейший покой. С Петра Поликарповича сняли завшивевшую одежду, самого его тщательно вымыли горячей водой с мылом, наново остригли волосы на голове, а потом уложили в кровать на чистую простыню, укрыв двумя стегаными одеялами.

Все это можно было почесть за чудо, но Пётр Поликарпович не чувствовал радости. Он был в таком состоянии, когда окружающий мир отдаляется и становится нереальным, будто видишь его в сновидении. Вокруг что-то происходит, но тебя это не касается, тебе это глубоко безразлично. Даже если с тебя будут сдирать кожу — ты не воспротивишься и, уж конечно, не испугаешься. Про таких знающие люди говорят: «Этот не жилец». И это справедливо, потому что почти все таковые умирают. И Пётр Поликарпович должен был умереть на больничной койке, тихо отойти в мир иной. Это было бы для него наилучшим выходом, разрешением всех проблем, избавлением от мучений.

Однако, вопреки логике и всем расчетам, Пётр Поликарпович не умер. Три недели он находился между жизнью и смертью. Каждое утро санитар ожидал увидеть окостеневшее тело и гримасу смерти на перекошенном лице. Вместо этого он видел шевеленье под одеялом, улавливал слабое дыхание и чувствовал тепло, когда трогал бритую голову. Пётр Поликарпович никак не хотел умирать. Изношенное сердце продолжало биться — днем и ночью, вечером и утром — без остановки. Кровь упрямо бежала по венам, мертвые клетки заменялись живыми, и силы, кажется, утраченные навсегда, постепенно возвращались. Это было подлинное чудо воскрешения из мертвых. Еще одна демонстрация великого инстинкта жизни, преодолевающего любые преграды, опровергающего всякую логику, сохраняющего гармонию среди всеобщего хаоса и разрушения.

На двадцать пятые сутки пребывания в больничной палате Пётр Поликарпович впервые осмысленно посмотрел вокруг себя. До этого он словно находился в полусне, слышал звуки как через вату, чувствовал смутное неудобство, видел непонятное мельтешение вокруг. И вдруг словно бы лопнула невидимая мембрана: звуки плотным потоком хлынули

ему в голову, глаза словно бы раскрылись, и он ясно увидел окружающее, почувствовал свое тело, понял, что он все еще жив!

Он лежал на кровати возле стены, окрашенной зеленой краской с наплывами. В ногах была белая дверь, а слева стояли еще восемь кроватей — четыре ряда по две, а одна кровать была сзади, за головой; там же были два окна, в которые лился мутно-серый свет. С грязно-белого потолка свисала лампочка на изогнутом проводе с торчащими волосками. Все это Пётр Поликарпович разом увидел и все это осознал. Он понял, что находится в больнице, что он жив и что ему ничто не угрожает. Осторожно поднял голову и посмотрел на свое тело, укрытое ворсистым одеялом неопределенного бурого цвета. Пошевелил ступнями, слегка согнул колени. Высвободил из-под одеяла одну руку, потом другую. Глубоко вздохнул и опустил голову на подушку, закрыл глаза. Было чувство оглушенности, будто его выбросило на берег после кораблекрушения и вот он лежит на теплом песке, а в голове какие-то обрывки воспоминаний — что-то жуткое, тяжелое и пугающее... Нет, лучше не вспоминать. Пётр Поликарпович снова открыл глаза и увидел раскрывающуюся дверь. В палату вошел какой-то мужик в белом халате и в мятом колпаке. Он скользнул взглядом по Петру Поликарповичу, сделал два шага и вдруг остановился.

— О-о, привет семье! Жмурик наш очнулся! — И поглядел с торжествующей ухмылкой на Петра Поликарповича.

И все больные обернулись и тоже посмотрели в его сторону. Лица их были угрюмы, никто особо не радовался. Да и было бы чему! Кого тут удивишь внезапными воскрешениями и смертями? Каждый из них видел десятки и сотни смертей — самых неожиданных и несуразных, а большей частью тихих и незаметных; и каждый был углублен в свою собственную болезнь, в свою неповторимую судьбу. Каждый знал, что после больницы его ждет лагерь со всеми его престелами. Знание это тяжким грузом лежало на душе. День выписки неумолимо приближался, и душа заранее ныла, предчувствуя беду. В этой палате не было увечных, тут лежали больные пневмонией, аневризмой аорты, ревматизмом, гипертонией и чем угодно, но не инвалиды и не калеки, не кандидаты для отправки на материк. Таким же был и Пётр Поликарпович. Как только он очнулся от своей летаргии, так сразу же начался для него обратный отсчет времени пребывания в этих стенах.

Санитар шагнул к нему, потрогал лоб, заглянул в глаза и удовлетворенно кивнул.

— Пойду скажу доктору, — объявил он и вышел из палаты.

Доктор явился через пять минут. Это был тот самый фельдшер, который три недели назад встретил его в приемном покое. Внимательный оценивающий взгляд, секундная пауза — и фельдшер опустился на краешек кровати.

— Как вы себя чувствуете? — спросил бесцветным голосом, всматриваясь в заросшее щетиной лицо.

Пётр Поликарпович изобразил улыбку и слабо кивнул.

— Спасибо, хорошо, — прошелестел, почти не двигая губами.



— Грудь болит? — последовал новый вопрос.

— Не знаю, нет как будто.

— Ну-ка... — Фельдшер откинул одеяло и стал сильно давить пальцами на ребра. — Так больно? А так? А здесь?

Пётр Поликарпович морщился и кивал. Больно было везде. А фельдшер не унимался. Заставил перевернуться на живот и снова тыкал в ребра и вдоль позвоночника. Потом слушал сердце стетоскопом, измерил давление и неторопливо записал показания в тетрадь. Пётр Поликарпович с беспокойством ждал, что он скажет.

— Теперь все будет хорошо, — объявил фельдшер, закрывая тетрадь. — Вы поправитесь. Кризис преодолен.

Пётр Поликарпович без видимых эмоций воспринял эту информацию, подумал несколько секунд и спросил:

— А что со мной?

— У вас сильное истощение. Ослаблена сердечная мышца. Признаки аритмии. Ревматоидный артрит, авитаминоз, пеллагра в начальной стадии. Обычный набор.

Пётр Поликарпович облизал пересохшие губы:

— И я поправлюсь?

— Конечно. Теперь уже в этом нет сомнений.

— А потом... что? Обратно в лагерь?

Фельдшер некоторое время смотрел на него, потом отвел взгляд.

— Этого я не знаю. Моя задача — поставить вас на ноги. Вас привезли сюда едва живого. Думали, не выкарабкаетесь. Но вы молодец, справились. Организм сильный. Еще поживете.

Фельдшер лукавил, а сказать точнее — щадил больного. Конечно, он знал, что сразу после выписки из больницы все заключенные этапируются обратно в лагерь. (Хотя и не в тот, откуда они прибыли; по существующим правилам заключенные после больницы или нового следствия никогда не возвращались на прежнее место.) Но самим заключенным было от этого не легче. Новый лагерь ничуть не лучше прежнего. Те же общие работы, тот же двенадцатичасовой рабочий день, то же кайло, та же пайка черного слипшегося хлеба и те же побои, когда бьют от души, нисколько не думая о последствиях. Все это фельдшер отлично знал, но у него язык не повернулся так сразу сказать об этом человеку, только что вернувшемуся с того света.

Чуть подумав, он добавил к сказанному:

— У нас в больнице работает врачебная аттестационная комиссия. Я не исключаю, что вы получите инвалидность. Это вполне возможно. Я нахожу у вас острую сердечную недостаточность. Если даже вас и не отправят на материк, то вам могут сделать ограничение на легкий физический труд. А это уже совсем другое дело. Вас уже не пошлют в забой наравне с другими.

— И меня не отправят обратно в лагерь?

Фельдшер хотел ответить, но глянул по сторонам и сдержался. Он уже досадовал, что дал втянуть себя в этот разговор, да еще при свидетелях. Он решительно поднялся, одернул халат.

— Давайте не будем торопиться. — Обвел строгим взглядом разом притихшую палату и вышел в коридор, застучал каблуками по деревянному полу.

С этого дня началось медленное возвращение Петра Поликарповича к жизни. Трижды в день он получал жидкую пищу — на завтрак, обед и ужин — какую-то размазную в алюминиевой миске, пайку хлеба и прозрачный, чуть теплый чай. Порции были крошечные, но ему и этого хватало. Ведь он ничего не делал, лежал целый день на железной кровати, лишь изредка вставая и прохаживаясь по коридору.

Понемногу он познакомился с обитателями палаты. Все они были недоверчивы, в разговор вступали крайне неохотно. Больше молчали и слушали. Ближе всех Пётр Поликарпович сошелся с соседом слева, койка которого стояла на расстоянии вытянутой руки. Полноватый, большеголовый, с красным одутловатым лицом и внимательным взглядом больших коричневых глаз. Он долго не шел на контакт, но постепенно недоверие растаяло и они разговорились. Звали соседа Александром Ивановичем, он был родом из Минска, работал инженером-конструктором в проектно-изыскательском институте. В Минске у него остались жена и дочь. Когда Пётр Поликарпович сообщил, что у него тоже осталась на воле жена с малолетней дочерью, Александр Иванович дрогнул, по лицу его прошла судорога и он уже другими глазами посмотрел на собеседника.

Придвинулся ближе и спросил:

— За что вас взяли?

Пётр Поликарпович пожал плечами.

— Я и сам не знаю. — Заметил недоверчивый взгляд и прибавил: — Официально — за участие в террористической организации бывших партизан Восточной Сибири. Я ведь в партизанах был, воевал с Колчаком, входил в руководящие органы Центросибири. У нас там в девятнадцатом году целая война была, почти два года воевали, ведь территория-то какая! Всю Европу в наших лесах можно разместить, и еще место останется. Дрочка была отчаянная, никто никого не жалел, бились с белыми насмерть. Теперь об этом не хотят вспоминать, будто и не было никакой войны, а советская власть сама собой установилась во всей Сибири. И ладно бы просто забыли! В тридцать седьмом всех бывших руководителей партизанского движения разом арестовали. И почти всех расстреляли.

— А вы как уцелели?

— Я не подписал ни одного протокола, ни в чем не признался. Стоял на своем — не виновен, и точка. Да и в чем мне было признаваться? Я чист перед советской властью, даже и в мыслях не было... Да и с какой стати мне с ней бороться, если я сам же ее устанавливал, по лесам шастал, спал на снегу и чудом не погиб. А эти все, которые теперь руководят, где они тогда были?.. — Он испытующе посмотрел на собеседника, но тот ничего не ответил. — Три года меня муржили на следствии, — продолжил Пётр Поликарпович. — Три следователя сменилось за это время. Начальника областного НКВД сняли, затем второго — обоих расстреляли. А я все сидел, никак не могли решить, что со мною делать. Потом дали по ОСО восемь лет и отправили сюда.

Александр Иванович вздохнул, лицо приняло глубокомысленное выражение. Он медленно кивнул, думая о своем:

— Не признались, значит. Понимаю. Только, видите ли в чем дело, у нас в Минске в тридцать седьмом расстреливали всех подряд — и признавшихся, и ничего не подписавших. Я тогда сидел в минскойнутринке на Комаровке. Там каждую ночь расстреливали — внизу, в подвале, — а трупы увозили утром на грузовиках. Помню, двадцать девятого октября взяли из камер сразу человек двести и всех тогда же и кончили, никто назад не вернулся. И на этап никто из них не ушел, мы бы знали. Я тоже готовился к смерти, но меня почему-то не тронули. Я многих знал из тех, кого забрали в ту ночь. Там писатели были, журналисты, ученые: Валера Моряков, Михась Зарецкий, Миша Камыш, Алесь Дудар... Всех убили в ту ночь. До сих пор о них нет никаких известий! Уж я знаю. Да и все мы знали там, на Комаровке, что внизу по ночам расстреливают нашего брата. Такое ведь не скроешь. Надзиратели нас постоянно пугали расстрелом. Да мы и сами слышали, как стреляют, и крики тоже было слышать. В тюрьме ничего не скроешь.

Пётр Поликарпович молча выслушал этот рассказ.

— Да-а, — протянул он раздумчиво. — У нас в Иркутске то же самое было. И тоже все шито-крыто. Постреляли людей, и концы в землю. А ведь ответить за это все равно придется. Как вы думаете?

Собеседник замер на секунду, потом слабо улыбнулся:

— Да, ответить придется. Сколько веревочке ни виться, а конец будет. Только вот доживем ли мы с вами до этого конца, увидим ли, как всех этих гадов поведут на эшафот...

Последнее уже не было вопросом, а скорее констатацией факта. Дожить до того дня, когда «темницы рухнут, и свобода...» — никто и не надеялся. На Колыме были свои масштабы, своя шкала мер и ценностей. Планировать свою жизнь на год вперед? Это и в голову никому не приходило. Дожить до будущей весны, до тепла — вот о чем грезили все заключенные — все, кроме ничтожного меньшинства, пригревшегося на теплых местах вроде бань, каптерок и складов. Остальные знали: жить им отмерено ровно столько, насколько хватит их стремительно убывающих сил. В золотых забоях сил хватало ровно на три недели — это было точно установлено, многократно подтверждено множеством примеров. Через три недели работы на износ здоровый, крепкий мужчина неизбежно превращался в доходягу — в полусумасшедшего, вконец обессиленного человека, грязного и вонючего, больше похожего на зверя. Оба они — Пётр Поликарпович и Александр Иванович — видели таких людей и оба в любой момент могли примерить на себя эту роль. Оба понимали, что им несказанно повезло, что они находятся теперь в больнице, лежат в теплой палате, а не валяются среди мерзлых камней у подножия какой-нибудь сопки, слегка присыпанные песком и снегом, закиданные ветками стланика.

Разговор на этом прервался.

Другим соседом Петра Поликарповича был невзрачный старичок — маленький, сухонький, с изможденным лицом и гноящимися глазами.

К изумлению Петра Поликарповича, старичок оказался профессором какого-то московского института. Лицо его подергивалось, глазки бегали, сам он был постоянно возбужден и все время чего-то боялся. Вздрагивал, когда резко открывалась дверь. Испуганно оглядывался на окно, когда в стекло ударяла снежная крупа. Со страхом глядел на любого, обратившегося к нему с вопросом. Точно так же он опасался Петра Поликарповича, пока не узнал его поближе. Природу его испуга Пётр Поликарпович так и не смог понять — профессор не сказал о себе ни слова. А на все расспросы лишь мрачнел и опускал голову, поросшую жиденькими, наполовину седыми волосами. Можно было догадаться, что в прошлом его было что-то тяжелое, темное, такое, о чем не хочется вспоминать. Пётр Поликарпович и не спрашивал. В конце концов, какое ему дело до этого старичка?

Кровать у окна занимал совсем еще молодой парень с наполовину отрубленной правой кистью. Он часто куда-то уходил, потом возвращался с куском хлеба или селедочным хвостом, а то приносил недокурную папироску и долго с ней возился, сооружая из нее две других, поменьше. Все это он проделывал левой рукой, вовсе не замечая своего увечья. Лицо его было сосредоточено, но без печати горести или несчастья. Пётр Поликарпович очень хотел с ним познакомиться, но все как-то не удавалось. Узнал только, что парня звали Ваней, а руку ему отрубили блатные — топором наискось — за какую-то провинность. Следователи клеили ему членовредительство, но потом догадались, что самому себе отрубить правую кисть левой рукой под таким неестественным углом никак не получится, и поверили, что не сам он это с собой содеял. Ну отрубили и отрубили, и пес с ним. Соседи этому нисколько не удивлялись.

Пётр Поликарпович видел одного старика, которому уголовники выкололи оба глаза, сделав ему «две ночи», по ихнему блатному наречию; другому отстрелили кисти обеих рук, привязав к ним капсюль-детонатор и запалив шнур; третьему перебили позвоночник ломом; четвертому переломали все ребра, прыгая на него с верхних нар... Много чего случалось в лагере такого, что и не снилось всем тем, кто спит в своих постелях и пьет по утрам кофий с булочками.

А в больницу Ваня попал из-за высокой температуры и заражения крови. Все в палате знали, что Ваня по ночам подмешивает кровь в баночку со своей мочой. Утром баночку уносили на анализ, а довольный Ваня снова куда-то уходил, приносил что-нибудь съестное, переполовинивал и уносил в другие палаты. Это было что-то вроде коммерции, когда из одной папироски получается две, а пайка хлеба выменивается на селедку, которая затем выменивается на полный обед — и так далее, все таким же макаром. Заниматься этим было намного интереснее, чем весь день махать кайлом под зорким взглядом конвоира. Да его и не пошлют теперь в забой с одной-то рукой. Найдут, быть может, что-нибудь другое, например снег топтать под будущие разработки или крутить огромный конный ворот, налегая на него грудью, — для этого руки и вовсе не нужны.

Однажды Ваня сам подошел к Петру Поликарповичу:

— Сменяем горячие уколы на пайку, а? За каждый укол — тебе четырехсотка и мне сто. Идет?

Пётр Поликарпович не сразу понял, о чем речь. Но потом догадался и отрицательно помотал головой.

— А чего не хочешь? — удивился Ваня. — Ты уже поправился, тебе не надо. А там, в драматическом, — он ткнул пальцем в потолок, — там хороший человек умирает. Ему нужней. Давай, старик, соглашайся!

Но Пётр Поликарпович снова помотал головой. Такой обмен показался ему сомнительным. Если кто-то там и умирает, так врачи сами разберутся, что делать, назначат нужные лекарства. А его это дело вовсе не касается.

— Ну смотри, тебе жить, — со скрытой угрозой молвил Ваня, глядя сверху вниз.

Петру Поликарповичу потом растолковали, что продажа горячих уколов — обычное дело. Уколы эти очень любили блатные, вспоминая волю, когда они кололи себе морфий или нюхали кокаин, рассыпанный по бумажке. Глюконат кальция — это далеко не морфий. Но что-то в нем было такое, за что блатные с легкостью отдавали свою пайку. В радостном предвкушении они шли в процедурную и назывались ложным именем, подставляли руку для вливания живительного раствора. А пайку съедал тот, кто должен был получить укол в свою вену. Ну и, конечно, что-то перепадало Ване, взявшему на себя обязанности посредника.

В общем, больница жила своей ни на что не похожей жизнью. Впрочем, все на Колыме было своеобразное, ни на что не похожее, ни с чем не сообразное.

Пётр Поликарпович постепенно восстанавливал силы, неотвратно выздоравливал. С каждым днем мрачнел и замыкался в себе. Зима проходила, наступил январь сорок первого. Еще немного — и весна! Первая колымская весна, которую он никогда не видел, но зато слышал о ней много чудного. Хотел ли он увидеть эту весну, этот выжженный солнцем снег, эти выдуваемые безжалостным ветром сопки? Нет, конечно, страшился будущего. Хотя и понимал, что это будущее неизбежно настанет и рано или поздно придется предстать перед врачебной комиссией. Что тогда? Обрато в лагерь? От одной мысли об этом внутри у него каменило, сердце становилось тяжелым, а в душу заползал страх. Как уклониться от лагеря? Что он должен сделать, чтобы не попасть в золотые заботы, в «пески», в штурмовую бригаду, где его будут морить голодом и бить смертным боем? Думал об этом день и ночь, но в голову ничего не приходило. Это потому, что решения столь сложной задачи попросту не существовало. Спасти его могло только чудо. Случится ли оно?

Там, на Большой земле, чудеса иногда случались. Таким чудом была сама революция, в которую никто по-настоящему не верил и которая грянула как гром среди ясного неба. Другим чудом — со знаком минус — были аресты лучших людей страны. И вот теперь должно было произойти что-то еще, что опровергнет совершенную ошибку, чудовищную несправедливость. И если есть Бог на небе, то он спасет Петра Поликарповича, не даст

ему погибнуть от непосильной работы, от кулака нарядчика или бригадира, от нестерпимого холода и тоски. Оставалось уповать лишь на чудо. Ничего другого он не мог придумать. В стране воинствующих безбожников миллионы униженных людей могли надеяться только на высшую силу. От земных властителей такой справедливости не ждали.

В конце марта, когда Пётр Поликарпович уже свободно гулял по коридору и все чаще выглядывал в окно, где по-весеннему светило солнце, к нему подошел фельдшер. Они встали в сторонке, у окна. Фельдшер был, как всегда, угрюм и задумчив. Как-то по-особенному взглядывал на Петра Поликарповича, словно не знал, с чего начать. Потом лицо его обмякло и он проговорил:

— Завтра в десять утра врачебная комиссия. Вас будут комиссовать. Я буду настаивать на инвалидности. Если сойдет гладко, получите третью группу. Это все, что я могу для вас сделать.

Пётр Поликарпович с нарастающим волнением слушал эту речь, смысл сказанного доходил до него не сразу, а как бы с запозданием. Он чувствовал, что происходит что-то чрезвычайно важное и — нехорошее. Это нехорошее было во взгляде фельдшера, в его тоне. Взгляд какой-то виноватый, словно он провожает его на казнь, готовит к смерти. Сердце вдруг застучало, во рту пересохло. Пётр Поликарпович непроизвольно напрягся. Вот сейчас он должен сказать что-то такое, что спасет его. Нужно только найти верные слова.

— А остаться мне здесь нельзя? Пока потеплеет...

Фельдшер с минуту смотрел на него, потом ответил:

— Это невозможно. Я и так передержал вас лишний месяц. С меня ведь тоже спрашивают за каждое койко-место. Тут много желающих отдохнуть. Одна больница на всю Кольму. Сами должны понимать.

Пётр Поликарпович торопливо закивал:

— Да, я понимаю и благодарен вам. Но я просто так спросил, ведь можно же как-нибудь устроить, санитаром там, кем угодно? — И он с мольбой посмотрел в изможденное лицо собеседника.

Тот снова помотал головой:

— Это совершенно исключено. Тут все с медицинским образованием. Просто так сюда никого не берут.

Пётр Поликарпович подумал секунду.

— Так, значит, меня снова отправят в лагерь?

— Да, отправят. Но есть разница — попасть на рудник или на какую-нибудь лесную командировку. Скоро уже весна, лето наступит. Тепло будет. Если попадете на сельхозработы, тогда для вас все будет хорошо. Но для этого нужно получить третью группу. Я постараюсь... Если на комиссии будут спрашивать жалобы, упирайте на сердце. Жалуйтесь на аритмию, на острую боль в груди, скажите, что если резко наклонитесь, то можете потерять сознание, что так уже случилось... Ну, что мне вас учить? Сердце у вас и в самом деле больное. На воле вас бы из больницы не выпустили, прописали бы постельный режим, а потом отправили на воды, куда-нибудь в Ессентуки. А здесь свои порядки, не нам их менять.

Пётр Поликарпович опустил голову, ему стало мутно. Снова возникли мысли о побеге. Взять и прямо сейчас убежать, пока еще не поздно. Он посмотрел украдкой на заиндевевшее окно. За стеклом была стужа. Наступила календарная весна, а морозы все еще держались под сорок.

— А вторую группу мне получить нельзя? — спросил на всякий случай.

Фельдшер отрицательно покачал головой:

— Это исключено. Могут и третью не дать. Тут все очень зыбко. И вы на комиссии сами не говорите об инвалидности, что хотите получить группу. Они этого не любят. Жалуйтесь на сердце, говорите о болячках. Но не пережимайте! — И он предостерегающе поднял палец.

— Да, я понимаю, — кивнул Пётр Поликарпович. — Это как в книге: читатель сам должен сделать нужный вывод. А если автор будет ему навязывать свое мнение, то читатель обидится и не станет дальше читать.

Фельдшер слабо улыбнулся:

— Я сразу понял, что вы умный человек. Жаль будет, если погибнете.

Сказав столь сомнительный комплимент, фельдшер повернулся и быстро пошел по коридору. Он даже не попрощался и через минуту уже забыл про Петра Поликарповича. Но эти мелочи ничего не значили. Главное, что фельдшер обещал помочь.

Ночью Пётр Поликарпович почти не спал. Ворочался, скрипел провисшей сеткой. Потом забылся в полусне, как вдруг раздался грохот в коридоре, хриплые голоса, звуки ударов, ругань и возня — кого-то проволокли мимо двери, бухая каблуками в пол, потом шум стал удаляться и постепенно стих. Пётр Поликарпович потихоньку поднялся и прошел на цыпочках, осторожно открыл дверь и выглянул в коридор. Там ярко горели все лампочки и было пусто и тихо, лишь в самом конце виднелся пост часового — за ободренным столом сидел вооруженный охранник. Он поднял голову, и Пётр Поликарпович отпрянул. Тихонько лег на кровать. Укрылся одеялом с головой. Хотелось спрятаться, слиться с темнотой, уснуть — и никогда уже не просыпаться. Но, к досаде его, уснуть никак не удавалось. И он все ворочался, все скрипел железной сеткой, ерзал по жесткому матрасу. А за окном стояла черная ночь. Был мороз, и была тишина — мертвящая тишина северной глуши. Взошла луна — яркая, желтая, в ореоле мельчайших блесков. Встала перед окном — и на бледно-желтой стене, прямо против Петра Поликарповича, отчетливо отобразился мрачный крест. В первую секунду Петра Поликарповича обуял ужас, он увидел в этом смертный знак, словно бы лежал в могиле, а в ногах у него возвышался крест. Но потом оглянулся на окно и понял, что это оконная рама отбрасывает на стену такую жуткую тень. Ему стало чуть легче, но ужас не прошел, сердце тяжело стучало, на лбу выступил холодный пот. Ежась от озноба, плотнее укутался в одеяло, крепко зажмурился, весь сжался и постарался забыть, утратить рассудок. Некоторое время лежал, сжавшись в комок, потом почувствовал, как по телу побежало тепло, он стал тяжелеть и словно бы проваливаться в зыбучий песок; в ушах зашумело, его закачало, и он наконец уснул.

Утром пробудился с тяжелой головой и почти без сил. Чувствовал себя совершенно разбитым. С недобрим предчувствием ждал врачебную комиссию. Мелькала мысль, что, если бы он вдруг упал и сломал ногу, тогда бы комиссию отменили, а его снова стали бы лечить, наложили гипс и заставили лежать на кровати несколько месяцев. Вот была бы красота, вот было бы чудо!.. И он пожалел, что не подумал об этом раньше. А теперь уже поздно. Просто так ногу себе не сломаешь, на это время нужно.

С такими мыслями он перешагнул порог кабинета, в котором сидели за длинным узким столом шесть человек — все в белых халатах, лишь один в военном кителе и в фуражке. На столе перед каждым лежали бумаги, у всех был усталый вид, на лицах явственно проступало недовольство. Пётр Поликарпович глянул мельком на склоненные головы и быстро отвел взгляд, боясь показаться дерзким.

— Ну что с ним? Быстро докладывайте! — повелительно произнес тот, что был в кителе.

Вперед выступил долговязый фельдшер. В руках у него была история болезни Петра Поликарповича. Он перевернул первый лист и стал читать глухим голосом. Пётр Поликарпович от волнения почти ничего не понимал. Фельдшер сыпал латинскими терминами: «анамнез» и «акинезия», «тахикардия» и «олигурия». Пётр Поликарпович отчего-то чувствовал себя виноватым и хотел, чтобы все поскорее закончилось.

Наконец фельдшер перестал читать и опустил бумаги, посмотрел на членов комиссии. Те молчали. По лицам их нельзя было ничего понять.

— Какие будут предложения? — задал вопрос военный, обводя тяжелым взглядом присутствующих.

Никто не пошевелился.

Фельдшер выдержал паузу, потом заявил:

— Считаю нужным определить заключенному Петрову третью группу инвалидности, учитывая его болезни, а также возраст и общее крайне ослабленное состояние организма. Общих работ он не выдержит, это совершенно очевидно. Если его сейчас послать на общие, то через месяц он снова будет здесь, и это в лучшем случае. А в худшем...

Он не договорил, но все и так поняли его мысль. И все были в душе согласны с фельдшером. Но молчали, ждали, что скажет суровый человек в кителе. Пётр Поликарпович догадался, что все здесь решает именно он.

Военный поднял голову, посмотрел на Петра Поликарповича таким взглядом, что тот поежился.

— А ну-ка, пройди по комнате!

Пётр Поликарпович сделал два шага и остановился.

— Присядь... Встань... Подними руки... Голову поверни налево, теперь направо...

Пётр Поликарпович послушно исполнял приказания.

— Понятно, — молвил китель. — Вон какой здоровый лоб. Ему работать и работать. Если таким давать инвалидность, как же мы тогда выполним наказ товарища Сталина?

И он грозно посмотрел на фельдшера, который все это время неподвижно стоял возле стола. Фельдшер спокойно встретил этот взгляд, лицо его оставалось бесстрастным.

— У Петрова порок сердца, ревматоидный артрит, пеллагра. Он не выдержит общих работ. Это не только мое мнение. Его осматривал профессор Никитинский.

— Никитинский его осматривал, — проворчал военный. — Все вы тут заодно. Разогнать вас надо к едрене матери, чтоб не мutilи воду. Устроили богадельню. Отправлю всех на штрафняк, узнаете тогда и артрит, и гидропирит, и пирог с перцем.

Пётр Поликарпович стоял ни жив ни мертв. В эту секунду он был готов ко всему. Если бы его прямо из кабинета повели на расстрел, он бы не протестовал. Но расстреливать его пока было не за что. Да и не с руки. Не для того везли на Колыму длинным этапом, чтобы здесь так просто убить. Прикончить его можно было и в Иркутске без хлопот. Но раз уж привезли, надо было выжать из него все соки, получить максимальную отдачу, а уж потом пусть поддыхает — не жалко!

— Все, свободен! — кивнул на дверь китель. — Иди отсюда, мы подумаем.

Пётр Поликарпович вышел на негнущихся ногах. Потом стоял возле стены, рассматривал потеки бурой краски. Его бил мелкий озноб.

Наконец появился фельдшер. Приблизился с мрачным видом и произнес, глядя мимо Петра Поликарповича:

— Все нормально. Третью группу вам дали. Поздравляю.

Последнее слово он произнес таким тоном, будто отдавал приказание или сообщал суровую весть. Наклонил голову и пошел по коридору. Пётр Поликарпович хотел что-нибудь ответить, но так ничего и не придумал, лишь проводил взглядом долговязую фигуру. Он чувствовал подспудную радость, если можно так выразиться, но все равно продолжал тревожиться, будто обманул высокую комиссию и сейчас обман выяснится, а его накажут. Но никто не обращал на него внимания. В страшный кабинет проникали все новые больные, без рук и без ног. Безногих затаскивали на носилках, одноногие прыгали сами. Были и такие, как Пётр Поликарпович, без видимых изъянов. Из-за двери слышались голоса, то требовательные и громкие, то тихие и слезливые, с просящими нотками. Высокая комиссия быстро управлялась. Приближалась весна, вот-вот должен начаться промысловый сезон. Сотни приисков настойчиво требовали рабочие руки — взамен тех, кто ушел под сопки, потерял здоровье и уже не мог выдавать на-гора «кубики». Все увечные и обессиленные, способные держать лопату хотя бы одной рукой и прыгать на одной ноге, должны вернуться туда, откуда они были выброшены как шлак, как отработанный материал.

Пётр Поликарпович вернулся в свою палату. К нему сразу подступил Александр Иванович. Узнав про инвалидность, он просиял. Лицо расплылось в счастливой улыбке.

— Поздравляю! — произнес с чувством. — Признаться, не думал, что вам дадут инвалидность. Раньше такого не было. Значит, что-то меняется. Появляется надежда.

Пётр Поликарпович пожал плечами:

— Не знаю, что и сказать. Не сегодня-завтра меня отправят в лагерь. А что там будет — одному Богу известно. Или черту.

— Ну уж, скажете тоже! Зачем так мрачно? У вас в деле теперь будет стоять штамп — «ЛФТ». Где бы вы ни были, вас уже не заставят катать тачку целый день. На этот счет есть строгие инструкции.

Пётр Поликарпович протяжно вздохнул:

— Не знаю. Там, где я был, нет никаких правил. Инвалид не инвалид — все едино. Начальник прикажет — и все идут на работу. А за отказ — карцер. Я три дня в ледяном карцере просидел. Едва жив остался. Суставы с тех пор ломит. Ревматизм заработал.

Александр Иванович кивнул:

— Ну да, конечно, бывает и такое. Но теперь весна, скоро станет совсем тепло. Не думаю, что вас снова отправят на дальние прииски. Возле Магадана полно лагерей. Тут где-нибудь и оставят. Здесь и зима не такая холодная. На побережье так вообще морозов почти не бывает. Вот бы нам с вами тут где-нибудь пристроиться!

Пётр Поликарпович улыбнулся против воли:

— Да, было бы неплохо. Хотя и в обычном лагере могут все жилы вытянуть. Попадешь к злему бригадиру или десятник тебя невзлюбит — и все, хана. Никакая инвалидность не поможет. Последнюю шкуру спустят.

Александр Иванович тяжело вздохнул:

— Это тоже верно.

И оба они погрузились в невеселые размышления.

Но грустить на Колыме некогда. Все движется и меняется каждую секунду. Не успел заключенный сомкнуть глаза, как его уже будят на работу. Только-только присел передохнуть, как следует грозный окрик, а то и подзатыльник: нечего сидеть без дела, надо вкалывать, кругом империалисты, нужно трудиться не покладая рук, а то задавят вас, сволочей, другие сволочи! Вот и Петру Поликарповичу не оставили времени на сомнения и сожаления. Уже на следующее утро ему выдали на складе зимнюю одежду и повели к больничным воротам, где собирался очередной этап. В кузов грузовика набилось больше двадцати человек. Быстрая переключка — и машина выехала из ворот. Заключенные с тоскливыми лицами смотрели на удаляющиеся ворота, видели, как боец в белом тулупе смыкает створки, а потом заходит в будку-проходную. Дверь закрылась, и все замерло. Этот оазис милосердия среди ледяной пустыни остался в прошлом, пути назад не было.

Теперь все внимание было обращено на дорогу. Пётр Поликарпович уже знал, что до основной трассы шесть километров. И если они свернут налево, тогда будет хорошо, потому что слева — Магадан и бухта Нагае-

ва, пароходы и неоглядная морская даль. А если повернут направо, тогда очень плохо. Направо — страшная Колымская трасса со всеми ее лагерями, штрафняками, спецзонами, ОЛП и командировками — две тысячи километров аж до самого Якутска. В эту сторону лучше не сворачивать, была б граната — бросил бы под колесо! И Пётр Поликарпович стал следить за дорогой. Грузовик ЗИС-6, с квадратной кабиной и сдвоенным задним мостом, быстро ехал по зимней трассе, оставляя за собой снежную взвесь. Окрестный пейзаж не отличался разнообразием: во все стороны расстилалась равнина, укрытая толстым слоем снега. Кое-где торчали черные кусты, а деревьев не было вовсе. Вдали, за десятки километров, виднелись едва различимые горы с округлыми вершинами. И ни дымка, ни намек на жизнь. Равнина казалась вымершей.

Грузовик наконец подъехал к основной трассе. Все замерли в ожидании, кажется, даже сердца перестали стучать! И как только передние колеса въехали на утрамбованный наст главной Колымской трассы, так сразу машину повело вправо, и еще, и еще... Послышался вздох разочарования.

— Сволочи, — отчетливо произнес кто-то, — не могли на местную отправить!

Никто больше не проронил ни слова. Пётр Поликарпович крепко стиснул зубы. Опустил голову и несколько минут просидел в согнутом положении, стараясь успокоиться, внушая себе, что еще ничего страшного не случилось, до Яблонового перевала далеко. Тут поблизости полно лагерей, не может быть, чтобы их отправили за пятьсот километров, когда и здесь полно работы. А машина уже мчалась по трассе, прибавляя ход. Замелькали прямоугольные столбики по обочинам, засверкал снег. Некоторое время Пётр Поликарпович внимательно следил за дорогой, потом перестал смотреть — слишком муторно.

Летели минуты, оставались позади километры. Все дальше от больницы, от Магадана, от бухты Нагаева. Ступит ли он когда-нибудь на побелевшие от соли бревна причала? Взойдет ли на корабль, идущий на материк?

— Уптар проехали, сорок седьмой километр, — услышал Пётр Поликарпович.

Поднял и тут же опустил голову. Машина ревела, в ушах свистел ветер. Было страшно, холодно, жутко.

Проехали еще с полчаса, и вновь кто-то всезнающий крикнул:

— Палатка! Палатку проезжаем! Вон она!

Все подняли головы. И точно — с левой стороны виднелись деревянные строения. Пётр Поликарпович смутно помнил, что был здесь осенью, они тогда делали остановку. Но теперь он не мог узнать это место. Да оно и ни к чему было — машина промчалась мимо, даже не притормозив. Теперь всякие сомнения отпали: их везут куда-то очень далеко — умирать.

Но прогнозы на Колыме — штука ненадежная. Скоро Пётр Поликарпович в этом убедился. Грузовик отъехал от Палатки несколько километров и вдруг стал поворачивать влево. Основная трасса осталась по-

зади, а впереди показалась какая-то речка и деревянный мост. Вот и мост остался позади, машина свернула еще раз влево и поехала в обратную сторону, параллельно основной трассе. Но через минуту — резкая петля вправо, и помчались вглубь материка.

— Куда это мы едем? — крикнул парень от борта.

Некоторое время все всматривались в быстро меняющийся пейзаж, словно не веря себе. Потом кто-то уверенно сказал:

— Это мы на Теньку свернули. Я тут бывал. Трассу тянут аж до самого Сусумана, года три уже. Тоже не сахар. Гиблые места.

Все разом обернулись:

— А что тут?

Заклученный махнул рукой:

— Да все то же. Золото есть. Оловянные рудники. Дорожные участки. Хрен редьки не слаще. Но есть тут, ребята, особый лагерь — Бутугычаг называется. Тысяч пятьдесят народу в нем сидит! Во как! Не приведи господь попасть туда. Если только нас туда везут, тогда нам всем крышка, верно говорю. Полгода повкальываешь — и каюк.

Повисла тягостная пауза. Потом кто-то спросил:

— А далеко до этого гутугычага?

— Да уж не близко, километров двести будет.

Машина тем временем мчалась точно на север. Трасса была ровная, прямая, с небольшими плавными извивами. По обеим сторонам стояли стеной кусты, а впереди виднелись горы. И чем дальше ехали, тем горы становились выше, мрачнее.

На семьдесят втором километре Тенькинской трассы машина свернула на боковой проселок, резко накренилась на левый борт и медленно поехала по заснеженной извилистой дороге. Все разом встрепенулись, закрутили головами.

— Никак свернули?

— Точно!

— Куда ж это мы?

Но никто ничего не знал. Между тем грузовик с заключенными приближался к Мадауну — небольшому поселку, укрепившемуся на берегу речушки Магдавен. Здесь расположилось дорожно-строительное управление, отсюда были пробиты зимники к целому вееру лагерей, добывающих касситерит в долине реки Армани. К одному из этих лагерей и направлялся грузовик с заключенными. До лагеря было не так уж далеко — двадцать семь километров. Но в иные месяцы эти километры легче было пройти пешком, нежели проехать на грузовике. Дорога сворачивала на восток и тянулась берегом Армани — довольно крупной речки. Летом, когда вода поднималась, дорога становилась непроходимой. Весной, в ледоход, тут и вовсе не пробраться. Лишь поздней осенью, когда вода спадала, грузовики могли проехать по обнажившемуся руслу, по камням и песку. Зимой ездили по льду, предварительно очистив трассу от снега. Недостатка в рабочей силе не было: пять больших лагерей расположилось по берегам Армани в глубоких распадках.



Двадцать семь километров — не великое расстояние. Но двухосный ЗИС одолевал его целых три часа. Редко удавалось проехать строго по прямой хотя бы двадцать метров. Дорога петляла как змея, иногда вздыбливаясь, иногда пропадая вовсе. То она шла по замерзшему руслу, то поднималась на заснеженный берег, чтобы тут же спуститься обратно; ни одной секунды из этих трех часов заключенные не сидели в кузове спокойно. Их клонило то на один бок, то на другой, то все дружно валились назад, цепляясь за борта и скамейки, а то всем скопом наваливались на кабину, так что та трещала и гнулась. Слышались проклятия и стоны, а машина урчала, переваливалась на ледяных торосах, ехала по ложбине между мрачных нависающих склонов. Уже стемнело, окрестные горы скрылись в густой черноте. Солнце опускалось позади машины, а та устремлялась в надвигающуюся тьму, словно в преисподнюю. Становилось холоднее, глуше. Пётр Поликарпович поминутно тер ладонями щеки и нос и тут же хватался за борта, чтоб не расшибиться от резкого толчка. Кто-то уже плевался кровью, кто-то стонал, и все желали одного — чтобы проклятая дорога поскорей закончилась. Всем было ясно, что не может такой путь длиться долго. Ведь ехали они не на страшный север, а на восток — по направлению к Колымской трассе, огибающей весь этот участок справа и уводящей на северо-запад.

Наконец жуткий рейс был окончен. Машина последний раз взревела и встала, мотор дернулся и затих. С минуту заключенные сидели не двигаясь. Мертвая тишина. С обеих сторон высились мрачные громады гор. Белая лента реки убегала вдаль, теряясь во тьме. Казалось, что очутились на другой планете, где нет жизни, нет тепла и нет света. Однако жизнь тут все-таки была. На берегу, скрытый невысокими раскидистыми деревьями, расположился довольно большой лагерь, официально именуемый так: «Обогащительная фабрика № 6 Тенькинского горнопромышленного управления».

Лагерь этот был поистине гиблым местом. Оловянные рудники ничем не лучше рудников золотых. Там и здесь — неподатливый камень, впрессованный в недра гор. Там и здесь — тачка и кайло, сделанные по одному шаблону. Там и здесь взрывные работы, двенадцатичасовой рабочий день, скудное питание и непосильные нормы, придуманные в тиши кабинетов людьми, которым никогда не приходилось целый день махать кайлом и катать стокилограммовые тачки.

Заключенные вылазили из кузова, спускались на заснеженный лед реки и подавленно озирались. Никто не ожидал увидеть столь мрачную картину. Если бы они приехали днем, впечатление было бы не столь удручающим — светило бы солнце, снег блестел... Но теперь, в непроглядной тьме, после тряской изматывающей дороги на тридцатиградусном морозе, все чувствовали себя вконец вымотанными — ноги не гнулись, спины одеревенели. Но конвой не дал им времени одуматься, прийти в себя. Последовала команда на построение, и колонна из двадцати человек медленно двинулась в лагерь.

Задыхаясь в разреженном морозном воздухе, с трудом переставляя ноги в снегу, Пётр Поликарпович брел за своими товарищами. У лагерных ворот заключенных пересчитали, сверились со списком, а потом запустили внутрь. Всем хотелось поскорей попасть в тепло, получить ужин и упасть на нары. О завтрашнем дне никто не думал, все жили настоящей минутой, хотели пережить лишь ее, невольно исполняя завет Иисуса: «Итак, не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний сам будет заботиться о своем: довольно для каждого дня своей заботы». Заключенные и хотели бы озаботиться о ближайшем будущем, но это было невозможно.

На ночь всех прибывших загнали в темный холодный барак. Ни ужина, ни куска хлеба, ни ободряющего слова. Захлопнули тяжелую дверь и закрыли на замок. Возиться с ними никому не хотелось, да и чего беспокоиться? Лагерное начальство рассуждало, конечно, очень здраво: ко всему привычные эски дотерпят до утра без воды и без хлеба — не подохнут. И холод как-нибудь переживут. Все это было многократно проверено и не вызывало вопросов.

Утром их подняли как и всех — в шесть часов. Пришел хмурый нарядчик в бушлате и валенках и, глядя в список, быстро распорядился — кого и куда определить. Пётр Поликарпович опять попал на общие работы. Его и еще двоих заключенных забрал бригадир. Скептически оглядел пополнение, криво усмехнулся и распорядился:

— Топайте за мной.

Они вчетвером вышли из барака и сразу погрузились в морозную мглу, от которой прихватывало дыхание. Пётр Поликарпович закашлялся. Морозный воздух резал легкие так, что нельзя было глубоко вздохнуть. Над головой стояло звездное небо, и не верилось, что уже утро. Темно, глухо. Но лагерь не спал. Из бараков выходили на улицу черные фигуры, резко скрипел снег под ногами, слышался надрывный кашель, кто-то ругался, кто-то кричал, тут же шастал конвой с винтовками — обычное утро обычного колымского лагеря.

Вслед за бригадиром Пётр Поликарпович вошел в свое новое жилище — барак, ничем не отличающийся от других. Бригадир показал новичкам их места на нарах и объявил, что прямо сейчас они должны идти в столовую, а затем на работу.

Пётр Поликарпович решил сразу же объяснить.

— Мы только что из больницы, — сказал он по возможности мягко.

— Ну и что? — спокойно ответил бригадир — молодой мужчина с круглым лицом и равнодушными глазами.

— Ну как... — растерялся Пётр Поликарпович. — Мне инвалидность дали, третью группу. Сказали, что на общие работы меня больше не пошлют, будет легкий физический труд. И в деле записано...

Бригадир усмехнулся:

— А это и есть легкий физический труд. У меня вся бригада такая. Норма для вас — пятьдесят процентов от обычной выработки. А пайку получать будете за все сто. Понятно? — И он подмигнул.

Пётр Поликарпович хотел согласно кивнуть, но отчего-то удержался. Про половинную норму для инвалидов он уже слышал, но ведь не об этом спрашивал. Почему его отправили на общие работы — вот что его волновало! Он и по золотому забою знал, что половинная норма выработки может очень быстро загнать человека в могилу, особенно если у него большое сердце. Но как все это растолковать бригадиру?

— Ладно, хватит трепаться, — вдруг отрезал тот. — Перекантуетесь пока у меня, а там видно будет.

Все трое переглянулись и ничего не сказали.

Этот первый день в новом лагере особенно запомнился Петру Поликарповичу. Он все-таки надеялся, что будет полегче, чем на золотом приiske. Но здесь оказалось даже тяжелее, несмотря на половинную норму выработки. Кормили хуже. В бараках холоднее. А к месту работы приходилось карабкаться по засыпанному рыхлым снегом крутому склону. На гору карабкались — кто как умел. Пётр Поликарпович с непривычки несколько раз падал и скатывался, цепляясь за корявый стланик, ломая ногти, сдирая кожу с пальцев. Кое-как добрался до вершины. А там — ледяной ветер, продувающий насквозь. Сразу захотелось лечь, спрятаться в какую-нибудь нору. Бригадир показал на круглое отверстие в горе, из которого выходила узкоколейка. Заключенные уже шли к этому отверстию, скрывались в темной дыре; пошел вслед за всеми и Пётр Поликарпович.

Это был шахтный ствол, входящий в гору под крутым углом. От ствола расходились в разные стороны квершлаги — подземные выработки, где работали заключенные. Внутри горы не было пронизывающего ветра, но не было и солнца! Работать приходилось в полутьме, при свете тусклых и страшно неудобных, вонючих карбидных ламп. Ну а инструменты были все те же: выкованное из железа кривое кайло, совковая лопата с сучковатой ручкой, а еще кувалда и железные клинья для разбивания камня — все какое-то допотопное, страшное и очень неловкое. В первый день Пётр Поликарпович испробовал и кувалду, и кайло и вполне убедился, что даже половинная норма — пять кубов оловянного камня — вещь для него непосильная. Он уже имел опыт такой работы и знал, что сил хватит ненадолго. Неделя, от силы две. А потом... Потом будет что было на золотом приiske. Штрафной изолятор, побои, истощение, утрата последних сил и — смерть. До лета он здесь вряд ли дотянет. Был только конец марта, а тепло придет лишь в мае...

Чувствуя подступающее к сердцу отчаяние, Пётр Поликарпович изо всей силы бил кайлом в мерзлую стену. Стоять просто так было нельзя, да он бы и замерз, если б не работал. И он поднимал и опускал железный снаряд, высекая искры из камня, отворачиваясь от летящих в лицо осколков. Вагонетка наполнялась страшно медленно, до обеда с трудом удавалось наполнить одну и еще одну — до конца рабочего дня. Это и была половинная норма — пять кубов за смену. А целая норма — в десять кубов — казалась фантастической. Но кто-то же выполнял и эту норму, получая усиленный паек! Кому-то же давали премиальное блюдо в лагерьной столовой! Пётр Поликарпович давно понял, что никакие блюда

и никакие усиленные пайки не восполнят силы после такого «ударного» труда. Вручную нарубить в скале десять кубометров камня, потом съесть полтора килограмма хлеба и пару мисок баланды и лечь на голые нары в холодном бараке, проспаться сном животного шесть или семь часов и снова идти в ледяной забой, и так несколько месяцев подряд — все это находилось за пределами человеческих сил и за гранью выживания.

Пётр Поликарпович понимал, что из этого лагеря живым его не выпустят. Если бы он протянул хотя бы год, тогда еще была бы надежда на перевод в другой лагерь, где будет полегче. Но целый год он здесь не выдержит. До лета еще можно как-нибудь дотянуть. А что потом? Снова пятидесятиградусные морозы и убийственный труд? Сердце уже сейчас работает с перебоями и все суставы болят так, что невмочь. Нет, целый год он не сдюжит. И оставалось лишь одно — бежать. Надо лишь дожидаться тепла. Ну, и составить какой-нибудь план. Самое простое — сплавиться по реке. До Охотского моря километров двести. Можно за трое суток доплыть. А что там будет дальше, Пётр Поликарпович не загадывал. Кажалось: только бы добраться до берега, увидеть море — и все сразу образуется. Без этой веры он не смог бы дальше жить. Просыпаясь утром в бараке, думал лишь о том, как наступит тепло и как он поплывет на плоту по реке мимо высоких гор, дальше и дальше, прочь от лагерных вышек, от уродливых бетонных блоков, от грохота дробильных машин — к свету и теплу, к вольной жизни на берегу необъятного океана, за которым скрываются теплые страны и добрые люди. В глубине души он понимал — утопия это, несбыточные мечты. Но красочные видения упрямо вставали перед глазами. Ступая по скрипучему снегу под холодным светом звезд, чувствуя обжигающий холод на шее и на щеках, он видел внутренним взором синее море и желтый песок, ступал по этому песку босыми ступнями, чувствовал теплую набегающую волну, слышал крики чаек, рассекающих воздух. Лицо его расслаблялось в блаженной улыбке, товарищи косились, переглядывались и кивали друг другу с понимающим видом. Им казалось, что этот нелепый старик потихоньку сходит с ума. Ждали, что он выкинет какую-нибудь штуку: бросится с кручи вниз, или запустит кайлом в охранника, или вдруг зальется идиотским смехом, тогда придется его бить, пока не издохнет. Но Пётр Поликарпович лишь тихо улыбался и ничего не вытворял. Все так и решили, что помешательство его тихое, безобидное. Интерес к нему постепенно угас. Только бригадир все присматривался, все хмурился, глядя на Петра Поликарповича. Этот заключенный не нравился ему. Он сразу почуял в нем чужака. Внимательный взгляд, тихая речь, повадки интеллигента — все было чужое и чем-то очень неприятное. Всех этих «иван-иванычней» в лагерях не любили. Как-то еще терпели работяг, подтрунивали над деревенской простотой, в открытую смеялись над попами, но вот интеллигенты здесь находились на особом счету. Им мстили за унижения, подлинные и мнимые, которые эти умники чинили простым советским людям на воле. Там они командовали и ухмылялись, важничали и чванились; здесь же им пришлось хлебнуть всего того, что с рождения хлебали «простые советские люди» без высшего образования — пахари и

работяги, слесари и лудильщики. И это казалось всем правильным и справедливым. Не надо было гордиться на воле — не пришлось бы теперь раскаиваться и плакать горячими слезами.

Пётр Поликарпович чувствовал нарастающую враждебность товарищей. С ним не разговаривали нормальным языком, то и дело толкали при выходе из барака («ну ты, ходи да поглядывай!»), не пускали за общий стол в столовой («жри стоя, так больше войдет!»), ему доставались худшие инструменты при утренней раздаче в инструменталке — погнутые лопаты и слетающие с деревянной ручки кайла. Он терпел молча.

В середине апреля вдруг подул теплый ветер с юга. Пётр Поликарпович вышел из шахты, распрямился, расправил плечи и стал глубоко дышать; в голове приятно зашумело, почувствовалось что-то очень хорошее, хотя и бесконечно далекое.

В конце апреля его перевели в другую бригаду, и это был добрый знак. Теперь не требовалось подниматься на оледеневшую гору и весь день долбить мерзлый камень, теперь он ходил за дровами, собирал хвою стланика в большие кули, носил воду с речки в столовую и баню. Такая работа не шла ни в какое сравнение с ледяным штреком в каменном мешке. Можно было перевести дух и оглядеться. А главное — нет производственного плана, никто не стоял над душой и не требовал «кубики», не пугал карцером, не замахивался лопатой. Доброе предзнаменование! К тому же Пётр Поликарпович получил возможность осмотреть местность, пройтись по лесным тропам, лучше узнать обстановку вокруг лагеря. И хотя по утрам еще стояли морозы, уже чувствовалось всепобеждающее дыхание весны. Снега становилось все меньше, обнажались белесые мхи, и можно было найти прошлогоднюю ягоду среди травы — бруснику или голубику. Ягоды маленькие, сморщенные, бордового и фиолетового цвета. Но вкус у них потрясающий — сладко-кислый, чуть забродивший, какой-то космический. От этих ягод кружилась голова, тело становилось невесомым, хотелось упасть среди кустов и лежать так, вдыхая невероятно странные запахи оттаивающей земли. Мысли прояснились, становились четкими и почти осязаемыми. Возникло неодолимое желание слиться с оживающей от зимней спячки землей, стать частью молчаливой природы, раствориться в ней без остатка. Прошлая жизнь казалась ему одним пестрым сновидением. Книги, писательские съезды, Максим Горький, революция, бравурные марши, пятилетки, всеобщий энтузиазм... Было ли это все? Он ли писал книги о Гражданской войне, о героизме простых людей, об их подвигах во имя освобождения трудящихся от гнета помещиков и попов? Почему же теперь он здесь — на положении дикого зверя? Что случилось со страной? Быть может, власть захватили враги советской власти? Так нет же, кругом красные знамена, пятиконечные звезды и лозунги, какие были и двадцать лет назад...

Пётр Поликарпович возвращался в барак, ложился на свое место и лежал с закрытыми глазами. Перед глазами были сопки, река, бездонное небо, багровый брусничник, светло-зеленый мох, густо усыпанный рыжими иголками. Пётр Поликарпович едва заметно улыбался.

Сосед по нарам однажды спросил:

— Чего это ты лыбишься?

Пётр Поликарпович приподнялся на локте, посмотрел соседу в глаза:

— Ты тут давно?

— Давно. А что?

— Сам откуда?

— Из Воронежа.

— А я из Иркутска, — сказал Пётр Поликарпович и снова лег, устремив взгляд в потолок.

Сосед помолчал.

— Я говорю, чего ты все время улыбаешься? — уже другим голосом спросил он. — Я давно за тобой наблюдаю. О чем ты постоянно думаешь?

— Я-то? Думаю о том, как бы поскорей убраться отсюда. Мне все надоело. Домой хочу.

Сосед отстранился:

— Ты чего такое говоришь! Как это — убраться? Куда?

— Да куда глаза глядят. Просто взять и уйти! Мы каждый день ходим за лагерь. А там шагай в любую сторону, никто тебя не поймают.

Сосед задумался, взгляд его затуманился.

— Видно, правду говорят, что у тебя с головой неладно.

— Это у вас всех с головой неладно, а у меня с головой все в полном порядке! Если хочешь, загибайся тут, а я не собираюсь, — сказал Пётр Поликарпович и отвернулся.

Разговор на этом прервался. Сосед больше не приставал, а Пётр Поликарпович не напрашивался на разговор. Однако в следующие дни стал исподволь наблюдать за соседом: скажет он кому-нибудь о разговоре или нет? Вполне мог заложить Петра Поликарповича, сказать бригадиру или кому-нибудь из лагерного начальства. Тайных осведомителей в любом лагере хватает. Заключение сдают друг друга за пайку, за выказанное начальством доверие, за обещание легкой работы и прочие штуки. И если сосед из таких, тогда очень скоро Петра Поликарповича вызовут к оперу и станут мотать новый срок. Но если это случится, Пётр Поликарпович скажет, что просто пошутил. А еще лучше — ничего не помнит, был в бреду. Да и в самом деле: что это за глупости — уйти из лагеря куда глаза глядят! Так в побеги не ходят и тем более не болтают об этом направо и налево.

Однако оправдываться ему не пришлось. Сосед никому ничего не сказал, не только начальству, но даже однобригадникам. Отношение же в бригаде к Петру Поликарповичу нисколько не изменилось, его по-прежнему считали за пустое место. И это устраивало. Чем меньше обращают внимания, тем проще будет осуществить задуманное.

Через несколько дней сосед сам подошел к Петру Поликарповичу, когда они возвращались с работы и их никто не слышал.

— Слышь, ты, — буркнул он, — так ты это правда, что ли, бежать надумал?

Пётр Поликарпович остановился, опустил мешок с хвоей на землю, не спеша огляделся.

— Ну, допустим, правда, — ответил спокойно. — А ты что, тоже хочешь слинять?

Парень с готовностью кивнул.

Пётр Поликарпович улыбнулся, обнажив беззубый рот:

— Понятно... Как тебя зовут?

— Николай.

— А я Пётр Поликарпович. Будем знакомы.

Он взял куль на плечо и пошел дальше. Парень догнал его:

— Я тебя спросил, ты правда хочешь уйти из лагеря? Или попусту трепешься?

— Правда.

— А меня... меня возьмешь с собой?

— Тебя?.. — Оценивающий взгляд, секундное размышление. — А что, могу и взять. Вдвоем-то оно сподручнее. — Пётр Поликарпович снова остановился. — Ты только не делись ни с кем. Еще никому не сказал?

Парень замотал головой:

— Я че, дурак? Я же понимаю, что об этом нельзя болтать. У нас в бригаде каждый второй к куму бегаёт. Я их всех знаю.

— А я, по-твоему, не бегаю? — спросил Пётр Поликарпович.

Парень ослабилась:

— Не-е, ты не бегаешь. Я бы видел.

— Ну-ну. — Пётр Поликарпович взвалил мешок на плечо. — Ладно, пошли. Вместе думать будем, как уходить. Тут все не так просто. Кругом тайга на сотни километров. Нужно дожидаться тепла, продуктами запастись. Хорошо бы компас иметь. Хотя можно и без компаса. Я по солнцу умею ориентироваться.

— Что, приходилось уже бегать?

— Нет, не приходилось. Научился, когда в партизанах был. У нас там тайга почище этой будет. Такая глухомань, месяцами плутали. А о компасах и понятия у нас не имели. Обходились как-то. Белые — те плутали. А нам-то что? Мы ведь все местные, выросли в тайге, потому и победили белогвардейскую сволочь.

Несколько шагов прошли молча, потом парень спросил:

— Не понимаю, за что вы сюда попали. С белыми вон воевали. Ведь у вас пятьдесят восьмая?

Пётр Поликарпович кивнул:

— Пятьдесят восьмая. — Вскинул голову. — А ты чего мне выкать начал? Я не такой уж и старый.

— А сколько вам?

— Сорок девять.

Парень вдруг остановился, лицо его вытянулось.

— Вот так да! А я думал, лет семьдесят.

— Ну ты тоже скажешь — семьдесят, — недовольно буркнул Пётр Поликарпович. — Если б мне семьдесят было, меня бы сюда не привезли.

— Тут всякие есть, — возразил парень. — Я и стариков видал, и пацанов совсем, и женщин тоже...

Апрель подходил к концу, вот-вот вскроются реки и ручьи, все вокруг зазеленеет. Две-три недели — и пожалуйста, плыви куда хочешь. Однако Пётр Поликарпович стал понимать, что по реке далеко уйти не удастся. Ночи тут летом короткие, а днем сразу засекут. Вот если пройти берегом до Мадауна и уже там сделать плот или украсть лодку в поселке... Но пройти по заламам и спутавшимся кустам почти тридцать километров непросто. Да и заставы на каждом шагу, как их минуешь?

Но был и другой вариант. Про него он слышал в больнице и сначала отнесся недоверчиво, но теперь, поразмыслив, нашел его вполне пригодным. Вариант такой: надо выбраться на приток Колымы и потом плыть две тысячи километров до самого Ледовитого океана — в бухту со странным названием Амбарчик. В бухту эту, по словам одного заключенного, часто заходят американские и английские пароходы. И если попасть на такой пароход да заплатить капитану золотом, тогда тебя тайком вывезут в трюме за границу. А там — свобода, гуляй не хочу! Ни одна энкавэдэшная сволочь тебя не достанет. От этих мыслей сладко ныло внутри. Невозможное казалось возможным. Нужно только найти приток Колымы, соорудить плот и — плыви себе, лови рыбку, собирай ягоду и грибы на нетронутых берегах. О том, что по обоим берегам Колымы густо стоят лагеря, Пётр Поликарпович старался не думать. Авось как-нибудь и минуются эти капканы! Хотелось верить в чудесное спасение — и он верил, несмотря на все мыслимые и немыслимые препоны.

Соседа в свои планы не посвящал, всякий раз говорил одно и то же: уйдем в сопки, будем двигаться на юг по распадкам, пока не дойдем до моря. А там видно будет. Верил ли сосед этим обещаниям? Скорее всего, нет. Но помалкивал. Он догадывался, что Пётр Поликарпович что-то держит себе на уме, да не хочет пока говорить. Быть может, у него есть знакомый пилот, который увезет на самолете? Он слышал, что с материка на Колыму летают самолеты и гидропланы. Есть несколько аэродромов, запрятанных в тайге, а гидроплан так прямо на воду садится — еще удобней! И если только найдется такой пилот, который тайком посадит их в свою крылатую машину, тогда... Дальше воображение отказывало.

Вот и май наступил, но было еще холодно. В низинах лежал снег, река и ручей — под толстым льдом, который и не думал таять, от земли несло глубинным холодом. Пётр Поликарпович утром уходил за лагерь и каждый день ждал, что его снимут с легкой работы, вернут в бригаду и заставят кайлить оловянный камень. Сил едва хватало, чтобы вечером дотащить раздувшийся мешок с хвоей до лагерных ворот, и он со страхом думал, что будет, если снова придется подниматься на гору и брать в руки ненавистное кайло. Одежда пришла в полную негодность. Острые сучья разорвали бушлат в нескольких местах, расплзшиеся ботинки всегда мокрые и едва держались на распухших ногах. Утром со стоном поднимался с нар, не мог сразу встать на ноги. Болели все суставы, особенно колени и



лодыжки. Казалось невозможным пройти несколько метров. Но он знал, что это пройдет. Нужно заставить себя подняться и пойти в столовую, а потом на развод. Ноги понемногу разойдутся, слабость отступит, и он сможет за целый день набить свой мешок хвоей. Так оно и происходило. Но всякий раз ему становилось все труднее выполнять норму. Временами накатывало отчаяние. Со страхом думал о том, как он пойдет своими больными ногами через сопки, как будет ночевать на холодной земле и чем питаться. Но гнал от себя такие мысли, потому что остаться в лагере еще на одну зиму означало верную смерть. Это же подтвердил лагерный лепила — мрачный субъект с наколками на обеих руках и повадками уркагана. Как он попал на должность фельдшера, оставалось лишь гадать. Понятий о медицине он не имел никаких. В этом Пётр Поликарпович убедился во время так называемого «приема».

Поздно вечером он постучался в дверь медпункта и услышал хриплый голос:

— Кого там черт принес?

Пётр Поликарпович вошел. Внутри было холодно и грязно. Фельдшер сидел на деревянной тахте и, улыбаясь, смотрел на вошедшего. Пётр Поликарпович сразу понял, что фельдшер пьян. На грязном столе стояла ополовиненная мензурка со спиртом, рядом — погнутая алюминиевая кружка, тут же валялись куски хлеба и обрезки сала. На фельдшере не было ни халата, ни иных атрибутов медицинской профессии. Он густо зарос щетиной и больше походил на жуликоватого десятника.

— Чего уставился? — спросил фельдшер, продолжая улыбаться. — Жрать небось хочешь? А я не дам. Нету! Если вас, дармоедов, кормить, так самому есть нечего будет. Ну говори, чего приперся?

Пётр Поликарпович переступил с ноги на ногу. Захотелось тут же уйти. Он оглянулся на дверь и нерешительно сказал:

— Я болен. У меня сердце больное, суставы болят. Ходить тяжело.

— Ну и что?

— Дайте каких-нибудь таблеток, — упавшим голосом закончил Пётр Поликарпович. Он уже понял, что зря пришел.

— Таблеток он захотел! — протянул фельдшер, приподнимаясь. — А дрына не хочешь? Ишь какой умник — таблеток ему! Да на тебе пахать можно, а ты мне тут мозги паришь, фашист поганый. Иди отсюда, и чтоб я тебя здесь больше не видел.

Пётр Поликарпович сделал шаг к двери.

— А если я помру?

— Туда тебе и дорога. Мало вас давит товарищ Сталин. Ну ничего, я вам устрою ударный труд, узнаете у меня, что такое есть советская власть!

С таким напутствием Пётр Поликарпович вышел из медпункта, в котором не было ни таблеток, ни медицинских инструментов, ни самого медицинского работника в нормальном смысле этого слова.

Таким образом, судьба Петра Поликарповича окончательно определилась. Оставалось одно: бежать из лагеря. Как можно скорее и как можно дальше. Иначе — смерть. Но к побегу нужно подготовиться: надо

запасись продуктами, хотя бы на первое время. Нужны прочные ботинки, надо иметь с собой спички, нож, кусок брезента на случай дождя. А еще хорошо бы запасись компасом и винтовкой. Но последнее, конечно же, было несбыточно. Винтовки сразу хватятся и пошлют в погоню целую армию. А компас — вещь, конечно, очень нужная, но где же его взять? И карту местности тоже днем с огнем не сыщешь — все карты засекречены и хранятся в железных сейфах за семью печатями. Приходилось надеяться на смекалку, на природную наблюдательность и удачу. А еще — на русский авось, который иногда вывозит в трудную минуту. Или не вывозит. Это уж кому как повезет.

В последних числах мая сосед по нарам, назвавшийся Николаем, соби́л Петру Поликарповичу с заговорщицким видом:

— Все, теперь можно уходить. Я уже продуктами, считай, запасся.

Пётр Поликарпович с удивлением посмотрел на него:

— Какими продуктами? Где?

Николай мотнул головой в сторону лагеря:

— На складе. Я там договорился с одним фраерком.

— Договорился?.. Ты что, рассказал ему о побеге?

— Нет конечно. Я ему денег обещал.

— Откуда у тебя деньги?

— Да так... В карты выиграл.

— Ты еще и в карты играешь?

— Играл когда-то. Теперь вот пригодилось.

— Ну-ну... — молвил Пётр Поликарпович, с интересом разглядывая долговязого парня. — И что он тебе пообещал?

Николай приблизился, заговорил шепотом:

— У него на складе рыба есть — горбуша. Соленая, правда, падла, но ничего, сойдет на первое время. Хлеба обещал, сахару. Много не даст, но пару хвостов обещал и хлеба булок пять.

Пётр Поликарпович глотнул слюну, в глазах его вспыхнул голодный огонь.

— А сейчас нельзя у него взять? Надо бы подкормиться, чтоб силы были.

— Взять-то можно, только потом жрать нечего будет. Уж лучше с собой возьмем. Сам должен понимать.

Пётр Поликарпович кивнул:

— Я понимаю. — Подумал недолго и спросил: — А одежонку новую у него нельзя достать? У меня ботинки прохудились. Как я в них пойду? — И он кивнул на свою обувь: на одном ботинке подошва отстала и хлябала, другой был весь в дырах и едва держался на ноге.

Николай засопел, поджав губы:

— Да-а, в такой обуви ты далеко не уйдешь. Ладно, что-нибудь придумаю. В крайнем случае, я тебе свои отдам.

— А сам в чем пойдешь?

— У меня еще одни есть. Я дал тут поносить одному. Придется обратно забрать.

Пётр Поликарпович недоверчиво улыбнулся:

— А ты шустрый! Даже не знаю, что бы без тебя делал...

Николай внимательно посмотрел на Петра Поликарповича:

— Так ты уже решил? Уходим? Когда оторвемся?

Пётр Поликарпович оглянулся. Они стояли на лесной тропе. Под ногами уже зеленела травка, кусты покрылись зеленью. И хотя воздух был стылый, но солнце уже поднималось высоко и ощутимо грело. По всем признакам наступало лето.

Пётр Поликарпович вздохнул и произнес раздумчиво:

— Да, в общем-то, уходить можно хоть завтра. Чем скорее, тем лучше.

Николай встрепенулся:

— Ну так в чем дело? Завтра и пойдем! Ты сам подумай: нас могут в любой момент забрать на сопку. А там охрана и бугор смотрит в оба, от туда уже не уйдешь. Нужно пользоваться моментом. Пока тепло. Решай!

Пётр Поликарпович и сам понимал, что все может измениться в любую секунду. Прямо теперь выйдет из кустов боец с винтовкой и поведет их в лагерь, а там станут спрашивать: о чем говорили и чего так долго стояли посреди леса, когда все заняты делом? Или подойдет вечером бригадир и велит идти в другой барак, в бригаду забойщиков. И все, хана! И Николая больше не увидишь, и света белого тоже. А значит, и в самом деле, медлить нечего. Бежать нужно немедленно. Вот и погода установилась ясная. Снег уже почти везде стаял, ручей освободился ото льда. Вдоль ручья они и пойдут — на север!

За эти дни Пётр Поликарпович придумал кое-что. Сплаваться по Армани они не станут. Он уже понял, что дело это безнадежное. Да и где взять плот или лодку? Предположим, пилу еще можно раздобыть. Но как станешь пилить деревья — так сразу и застукают. Вот и получалось, что уходить нужно в сопки, где их не станут искать. Кинутся на реку, будут обшаривать берега, ставить заградительные кордоны на всем протяжении до Мадауна. А они пойдут вверх по ручью.

— Хорошо, — сказал он. — Когда вернемся в лагерь, иди к своему знакомому и бери у него все, что даст. В барак не приноси, оставь где-нибудь в кустах за оградой, утром заберем, когда пойдем на работу. И про ботинки не забудь. Если все сложится, завтра и двинем.

— Здорово! — обрадовался Николай. — А куда пойдем?

— Завтра скажу, — ответил Пётр Поликарпович. Остановился и строго глянул на парня. — Но ты гляди, еще есть время. Я тебя не неволю. Если хочешь, оставайся, я один пойду. Дело рискованное, могут и пристрелить, сам знаешь.

— Да знаю я! — отмахнулся Николай. — Решили, значит, все, уходим. Я тут не останусь. А ты что, кинуть меня решил?

— Да нет, просто предупреждаю. Шансов у нас немного. Если поймут, плохо нам будет. Так что...

Но Николай, точно так же как и Пётр Поликарпович, оставаться в лагере не мог, правда по другой причине, о чем он не рассказал. У него

имелись особые отношения с блатными (сам он был «бытовичком»). Однажды вчистую проигрался в карты, не смог отдать картежный долг и блатные без особых эмоций приговорили его к смерти. Живым он оставался лишь потому, что дал взятку нарядчику и тот немедленно перевел его в инвалидную бригаду, подальше от урок. Но все это было временно. Никакая бригада, никакая больница и никакой нарядчик не могли спасти его от расправы. Счет шел на дни. Тот же нарядчик предупредил, что к нему приходили гонцы из «индии», как назывался барак блатных, и велели немедленно отправить беглеца к ним, а не то нарядчику худо будет.

Николай знал, что в бараке блатных его ждет жестокая расправа. Хорошо, если просто зарежут. А могут ведь сделать и кое-что похуже. Защиты у него не было никакой. Жаловаться начальству — бесполезно, над ним бы только посмеялись. Сил для сопротивления тоже не было. Урки с ножами, с топориками действовали исподтишка, часто набрасывались во сне. Как тут уберешься? Оставалось лишь одно средство: побег. А еще можно было повеситься. Но повеситься он всегда успеет. Нужно быть полным дураком, чтобы не сбежать из лагеря, имея возможность каждый день выходить за его территорию. Да еще здесь, в диких сопках, где нет ни души и где ни одна сволочь его не достанет! А насчет того, что могут поймать, так он не очень-то боялся, не политический же, значит, будет ему поблажка. Даже если и поймают — ну, избыют для порядка, будет следствие и будет новый срок. Но в этот лагерь он уже не попадет и обидчиков своих никогда не увидит. Останется жить, а это — главное.

В общем и целом выбора у него не имелось, и он не колебался ни секунды. Узнав о решении Петра Поликарповича бежать на следующий день, Николай обрадовался, хотя и не показывал вида. Как всякий бывалый зэк, умел скрывать свои эмоции. Вечером сразу пошел в дальний конец лагеря, где располагался продуктовый склад, где отирался его кореш, которого он однажды крепко выручил. Кореш о выручке помнил и согласился дать Николаю продукты просто так, в знак благодарности, потому что никаких денег у Николая не было, это он просто сболтнул Петру Поликарповичу, чтобы долго не объясняться.

И все у них пошло как по маслу. Вечером Николай принес в барак ботинки. Пётр Поликарпович примерил — ботинки были великоваты, но с двумя портянками сидели на ноге хорошо. Главное, они были крепкими и почти целыми. В таких ботинках можно было идти хоть на Северный полюс! С продуктами тоже в ажуре: три рыбины горбуши, две килограммовые буханки черного хлеба и килограмм сахара — все это Николай сложил в холщовый мешок и спрятал за территорией лагеря. Сказал охраннику, что послали за дровами в лес; тот его спокойно выпустил, потому что за дровами зэки ходили каждый день после работы.

Карты местности, конечно, не было. И компаса не было. Но зато у них имелся топор и большой тесак, которыми они рубили сучья стланика. А еще два больших брезентовых мешка: их можно использовать вместо палаток. В крайнем случае, мешки можно разодрать на портянки или на



одежду. В тайге все сгодится! Но главным приобретением был большой коробок спичек на пятьсот штук. На лицевой стороне картинка — желто-синий молодец, нарисованный в старинно-лубочном духе; снизу шла надпись: «Фабрика “Красная Звезда”. г. Киров». Пётр Поликарпович взял в руки коробок и грустно улыбнулся. В душе поднялась целая буря чувств. Первый раз за последние четыре года он держал в руках спички. Это были посланцы внешнего мира — мира живых людей.

Тридцать первого мая сорок первого года была суббота. В шесть часов утра прозвучала команда на подъем. Ээки, проклиная судьбу, скидывали с себя обовшивевшие одеяла, поднимались с грязных нар и, покачиваясь, выходили из бараков. Однако не все в это раннее утро хмурились и матерились. Пётр Поликарпович почти не спал в эту ночь. Лишь перед самым подъемом задремал и почти сразу услышал металлические звуки ударов железякой о рельс. И сразу же поднялся. Вот оно! Пришла долгожданная минута! Сердце забилось, руки задрожали. Стал торопливо застегивать пуговицы на рубаше, опустил ноги на пол, а тут неожиданная радость — новые ботинки! Наклонившись, долго приноравливался, затягивал шнурки, поворачивал ногу так и эдак. И всяко получалось хорошо.

Дальше как обычно: столовая, утренний развод, вывод бригад на работы. Пётр Поликарпович боялся, что в последний момент их не выпустят из лагеря, завернут на сопку. От этой мысли он холодел, всматривался в каждого, кто шел в его сторону, молил Бога и черта, чтобы ничего не случилось в это солнечное утро. Только бы выйти из лагеря, только бы выйти!..

Сосед его чувствовал нечто похожее. Был сосредоточен, внимательно зыркал глазами из-под нависших бровей. На Петра Поликарповича старался не смотреть. Но когда их построили в колонну, встал рядом и, быстро обернувшись, коротко кивнул: все нормально.

Колонна уже шла к воротам. Еще минута, проверка списка на вахте, и они вышли за ворота. В бригаде восемнадцать человек. У всех большие мешки и самодельные тесаки. Каждый обязан набрать до обеда сто килограммов хвой и после обеда — столько же. Метров пятьсот шли все вместе по широкой тропе. Потом стали рассредоточиваться, уходить влево и вправо. Пётр Поликарпович с напарником тянули до последнего, стараясь уйти как можно дальше. И это им удалось. Уже на границе леса, там, где начинались каменные россыпи, они наконец остановились. Бригадир показал на чахлые деревья, растущие по обоим берегам ручья, и пошел обратно. Ему и в голову не могло прийти, что эти двое задумали побег. Он прекрасно видел, что у них нет ни провизии, ни всего того, что потребуется в тайге. Но провизия была надежно спрятана недалеко от лагеря, под густым мхом. А все остальное при них: спички, мешковина, одежда и тесак с топором.

Они спокойно проработали до обеда. Набрали по полному мешку хвой и вернулись к месту сбора. Сдали свою добычу, съели обед, сидя за сколоченным из неоструганных досок столом, полежали в сторонке на травке, а потом поднялись и пошли по тропе в лес. Зайдя за деревья,

Николай огляделся и шагнул в чащу. Через минуту вышел с холщовым мешком в руке, быстро спрятал в свой куль, и они двинулись дальше.

— Ну все, теперь можно уходить, — проговорил он вполголоса. — До вечера нас не хватятся. Нужно уйти как можно дальше. Давай-ка поднажмем!

И они поднажали. За полчаса добрались до каменной россыпи. Тропа тут змеилась по открытому месту, но они пошли смело, держа кули за плечами, как бы спеша по делу. Пётр Поликарпович стал уставать. Тропа неровная, вся в камнях и в кочках. Приходилось прыгать и петлять. Но он не отставал. А Николай шел не оглядываясь, будто сто раз тут ходил. Добрались до развилки. Справа был мостик через ручей, а слева крутой подъем по камням в гору.

Николай остановился, снял мешок с плеча:

— Ну что, куда пойдём?

Пётр Поликарпович подумал с минуту. Потом уверенно произнес:

— Нужно идти в горы. Нас станут искать по ручью. А тут, — он поднял голову и посмотрел вверх, — тут такое раздолье! Тут мы затеряемся, пойдй сыщи!

Николай согласно кивнул:

— Хорошо.

Поднял мешок и полез по камням вверх.

Подъем оказался тяжелым. С непривычки ноги тряслись, в глазах темнело. Но останавливаться нельзя — на голом крутом склоне они будут хорошо видны за несколько километров. Надо перевалить через сопку и побыстрей уходить как можно дальше. Но горы, издали казавшиеся не очень высокими, на поверку оказались настоящими громадами. Склон все время осыпался, идти прямо невозможно, приходилось петлять, а это страшно замедляло движение. Наверху стало полегче, но там пошли заросли стланика, да такого густого, что невозможно продрасться. Но беглецы продирались, не давая себе поблажки и отдыха.

Уже темнело. В это время они обычно возвращались с работы. Их вот-вот хватятся. Пошлют погоню. Далеко ли они ушли?

Пётр Поликарпович и так считал, и эдак, но всякий раз выходило, что недалеко. Километров десять, не больше. По тропе они прошли километров семь. В гору поднимались еще километр. На горе километр и к озеру спускались столько же. Всего-то и прошли десять километров. А сил потратили уйму. Как же они дальше пойдут такими темпами?

Но думать об этом уже не было сил. Хотелось лишь одного — опуститься на землю, вытянуть усталые ноги и лежать, закрыв глаза.

Они нашли укромное место среди кустов. Николай вытащил из мешка припасы — рыбу и хлеб. Быстро порезал горбушу, разломил буханку хлеба. Вода имелась рядом, в нескольких метрах.

Ели молча, торопливо. Хотя торопиться было некуда — до утра они уже не двинутся с этого места. Стали устраиваться на ночлег. Костер не разводили — дым могли заметить. Решили перетерпеть одну ночь. С наступлением темноты температура резко упала, от воды несло промозглым



холодом, да и земля была проморожена до самой глубины. Быстро нарубили зеленых веток и настлали на землю. Растянули сверху один мешок, а другим укрылись. Плотно прижались друг к другу и почти сразу уснули.

Ночь прошла спокойно. Это казалось странным, неправдоподобным, но вокруг стояла тишина. От воды поднимался туман, а за горой по небу разливался розовый свет: где-то там, на востоке, всходило солнце.

Живо поднялись, собрали мешки и пошли дальше по берегу.

Однако движение снова замедлилось. Идти по открытому берегу было опасно, и они с трудом продирались сквозь кусты проклятого стланика; вместо тридцати минут потратили часа три, пока обходили озеро. Дальше нужно подниматься на сопку, переваливать через нее, и так далее, и так далее...

— А куда мы идем? — вдруг спросил Николай, когда они поднялись на гору и остановились перевести дух.

— Пойдем на северо-запад. Тут где-то проходит Тенькинская трасса. Будем держаться возле нее, чтобы не запутаться. Сам видишь, какая глушь. Надо поближе к людям.

— К людям поближе? — Николай недоверчиво посмотрел на него. — Где ты тут людей нашел? Тут одни лагеря кругом. А по трассе только военные ездят. Мигом скрутят. Нет, я не согласен!

— Да я же не предлагаю прямо на дорогу выходить! Будем продвигаться повдоль. Если повезет, машину захватим, продуктами разживемся. Мало ли тут ротозеев. Ты водить-то хоть умеешь?

Николай подумал чуть, потом сказал:

— Если понадобится, смогу. Да только бесполезно все это. По трассе нам не уйти. Нужно аэродром искать, в Америку лететь.

Пётр Поликарпович улыбнулся:

— В Америку, говоришь? Что ж, мысль неплохая. Да только нет здесь аэродромов. Ближайший — в Магадане. А там полно охраны. Сразу же пристрелят.

— Ну, тогда на север пойдем, до Усть-Омчуга. Там большой поселок. Вольные живут. Дома большие. Можно на чердаках прятаться. Или еще чего придумаем.

Пётр Поликарпович кивнул:

— А что, тоже дело. Мне говорили, там река широкая, впадает прямо в Колыму. Построим плот или лодку украдем и поплывем по Колыме до самого Ледовитого океана. Будем рыбу ловить. За месяц доплывем. Все-таки не ногами идти.

— А чего там делать? — спросил Николай.

— Есть бухта одна, Амбарчик называется. Туда заграничные суда заходят. Если попасть на такое судно, то можно уйти за границу. Смекаешь?

Николай несколько раз моргнул.

— За границу, говоришь... — Протяжно вздохнул. — Да я-то не против. Только вряд ли мы туда доберемся. Это ж какая даль! Не доплывем. — И он решительно помотал головой.

— Ну, об этом пока рано говорить, — ответил Пётр Поликарпович. — Для начала отойдем от лагеря подальше. А там видно будет.

И они стали спускаться по безлесному склону, осторожно ступая меж камней и скрытых ямок.

За этот день они прошли пятнадцать километров. Оба выбились из сил и едва не падали от усталости. Каждую секунду ждали катастрофу: вот-вот появится на склоне отряд красноармейцев! И уже не хватит сил уйти от них. Или налетят собаки, станут рвать живое мясо клочьями. Но не было собак и не появлялись красноармейцы. Расчет Петра Поликарповича оказался верен. Их искали вдоль ручья, проскочив мимо едва заметного отворота к озеру. И по берегам Армани тоже отправили погоню. И там и здесь преследователи дошли до последнего предела: первые прошагали до истока ручья, но не нашли никаких следов; вторые доперлись до Мадауна, и там их встретили смешочками и язвительными советами не считать ворон, а бдительнее смотреть за «контингентом». Стало ясно, что ни в верховьях ключа, ни в Мадауне беглецов не было, проскочить мимо поселка они никак бы не смогли. Тогда стали проверять весь лагерь, решив, что заключенные могли спрятаться в промзоне или в горной выработке — такие случаи уже бывали.

Все это сыграло на руку беглецам. Они смогли за несколько дней уйти так далеко, что никакая погоня из лагеря им была уже не страшна. Теперь их могли поймать лишь случайно, в силу того непреложного факта, что вся местность была испещрена лагерями, ОЛП и командировками, что день и ночь по Тенькинской трассе сновали ЗИСы всех модификаций и что местное население — простодушные эвены, юкагиры и тунгусы — имело обыкновение вылавливать беглецов и передавать их властям — за пуд муки, за ведро сахара и просто за спасибо.

Тенькинская трасса оказалась даже ближе, чем они думали. Вышли на нее в районе сто первого километра. Здесь, на ручье Правый Итрикан, была дорожная командировка: стоял барак и рядом небольшой квадратный домик. В бараке жили заключенные, работавшие на трассе. Домик предназначался для охраны. Пётр Поликарпович и его спутник довольно долго рассматривали трассу и снующие по ней машины и решили, что высовываться им нет никакого смысла. И хотя продуктов у них почти не осталось и на подножный корм рассчитывать нельзя — ни грибов, ни ягод в эту пору еще не было, — они решили идти дальше на север в надежде на какой-нибудь случай.

Однако передвигаться становилось все трудней. У Петра Поликарповича обострился ревматизм, распухли и болели суставы. Каждое утро он со страхом думал, что не сможет подняться и сделать хотя бы шаг. Но поднимался и шел, думая лишь о том, как бы не упасть. Николай поглядывал на него с тревогой. Он видел его мучения и понимал, что далеко они не уйдут. До Усть-Омчуга почти сто километров, если идти по прямой. А они передвигались по сопкам, по бурелому, по камням и ямам. По-всякому выходило, что в поселок они придут недели через две.

От рыбы оставались одни лишь головы, немного хлеба и сахару — на пару дней. Что они будут делать, когда и хлеба не будет? Но упрямо шли вперед, пробирались по осыпающимся склонам, шагали по камням и глине, лакали, словно звери, ледяную воду из ручьев, спали на земле, даже не разводя огня на ночь.

Так прошло еще три дня. Они сумели добраться до следующей дорожной командировки — на сто сорок третьем километре. Здесь стояло несколько барачков и заключенных было погуще. Николай решил идти на разведку. Оставив Петра Поликарповича среди зарослей стланика, он двинулся к барачкам. Пётр Поликарпович остался ждать. Решил, что, если его товарища схватят, пусть берут и его. Один он дальше не пойдет.

Но Николая не схватили. Через несколько часов он вернулся. В каждой руке у него было по буханке ржаного хлеба.

Пётр Поликарпович ахнул:

— Да как же ты?

Николай довольно усмехнулся:

— Да так вот. Захожу в барак. Там дневальный. Уставился на меня: «Чего надо?» Я ему: «Дай пожрать чего-нибудь. Седьмой день не жрамыши!» Ну и рассказал все как было.

— Да ты что? — изумился Пётр Поликарпович. — Зачем же ты?

— Да он никому не скажет. Да и зачем ему? Если бы хотел, он бы меня прямо там и повязал. А он хлеба мне дал, махорки насыпал. И до сих пор все тихо. — И он показал на барачки, где не было заметно никакого движения.

Пётр Поликарпович подумал секунду, потом спросил:

— А он про наш побег ничего не говорил? Ловят нас, не слышно?

— Ну как же. Были у них бойцы с собаками, в барачках шмонали. Наказали сообщить, если чего заметят. Пока мы в сопках бродили, тут на трассе каждый день машины с солдатами ездили. Только вчера и успокоилось. Видно, не ждут нас уже тут.

— Это хорошо, — со вздохом произнес Пётр Поликарпович. — А до Усть-Омчуга далеко, ты не спрашивал?

— Нет. Спросишь, а он потом сболтнет кому-нибудь. Я сказал, что мы обратно в сопки уйдем, подальше от трассы.

Пётр Поликарпович кивнул:

— Это правильно.

Они поели хлеба с сахаром, запили водой и пошли дальше. Это был уже десятый день побега. Их искали и в сопках, и на трассе, и в окрестностях лагеря. Впрочем, большого ажиотажа не наблюдалось. С наступлением лета заключенные бежали изо всех лагерей, и почти всех ловили, кроме тех, которые умирали сами — от холода, от бескормицы или от медведей — их здесь водилось множество. Солдаты, про которых говорил дневальный, искали и других беглецов. Для охранников такие поиски — своего рода развлечение: прокатиться по трассе, пробежаться по сопкам, стрельнуть по кустам, если померещится. Они понимали, что беглецы ни-

куда не денутся. Рано или поздно их найдут или они найдутся сами — чумазые, вконец истощенные, оборванные, обовшивевшие. Их даже бить не станут — кому захочется марать о них руки? Их или сразу пристрелят, или бросят в ледяной карцер, из которого они не выйдут. Редко кто доживал до следствия.

Это начинал понимать и Пётр Поликарпович. Силы его слабели, неизбежно слабела и воля. Сопки казались бесконечными. Дух захватывало, когда с какой-нибудь горы открывался марсианский пейзаж — волнообразный, пропадающий в темнеющих далях. Там, за далями, раскинулся Ледовитый океан, вобравший в себя весь холод мира. Станным казалось, что именно туда и нужно им идти, что спасение в царстве холода, а не среди живых людей, не там, где светит солнце и дует теплый ветер. Все труднее становилось бороться с искушением выбраться на трассу и сдаться первому же патрулю — пусть делают, что хотят. Но он понимал: тогда — смерть. Пока есть силы, нужно двигаться. И они продолжали свой путь на север.

Хлеба хватило еще на три дня. Сахар кончился. Рыбные головы ели с особым тщанием: подолгу сосали жабры, перемалывали остатками зубов кости и хрящи. Потом и вовсе не стало никакой пищи и они шли, пошатываясь, по извилистой тропе, ни на что не надеясь, ничего хорошего не ожидая для себя. А когда уже сил не осталось, набрали на прошлогодний брусничник — зеленый ковер с красными бусинками сплошь покрывал оттаявшую землю. Несколько часов с жадностью ели прошлогоднюю ягоду — крупную, темно-красную и такую кислую, что сводило челюсти и резало живот. На время удалось перебить сосущий голод. Но по-настоящему насытиться ягодой невозможно. Петру Поликарповичу уже не хотелось никуда идти, неудержимо тянуло свалиться на землю. Все помыслы и все мечты остались в прошлом, растворились в каменистой почве, в невесомом воздухе, в безбрежных далях. Чтобы мечтать и строить планы, нужны силы и отменное здоровье. А когда ни того ни другого уже не остается, тогда жизнь не мила и человеку вообще ничего не нужно.

Как бы там ни было, они продолжали свой путь на север вдоль извилистой Тенькинской трассы. На двадцать первый день вышли на довольно широкую каменистую речку Нерючи, на левом берегу которой строился новый поселок со странным названием Усть-Хениканджа — все те же бараки, те же сопки вокруг, та же дичь и глушь. Перед самым поселком была развилка: основная трасса стремилась на север, а налево уходила грунтовая дорога — к прииску имени Марины Расковой. В той же стороне был и рудник Хениканджа, и множество мелких командировок и лагпунктов. Это было тупиковое направление — во всех смыслах этого слова. Все дороги и тропы упирались или в лагерные ворота, или в горные выработки, или просто сходили на нет, незаметно растворяясь в голых сопках, среди чахлого кустарника, в каменных россыпях. Оба беглеца смутно почувствовали это, как зверь чувствует западню. Молча перегля-

нулись и кивнули друг другу. Понятно и без слов: нужно идти дальше, на север. Но тут возникло затруднение: Пётр Поликарпович уже не мог передвигаться. Он стер ноги в кровь, и каждый шаг был для него сущей пыткой. К тому же он застудился на холодной земле и сильно кашлял. Подскочила температура, и сознание уплывало; временами терял ощущение действительности, не понимал, что с ним и где он находится. Нужно было остановиться хотя бы на день, подлечить ноги, одуматься, осмотреться как следует. Спутник его тоже понимал, что далеко они не уйдут в таком состоянии.

Делать нечего, пришлось остановиться. Устроили нечто вроде шалаша в густом кустарнике в полутора километрах от трассы. На землю бросили заляпанный грязью брезентовый куль, и Пётр Поликарпович без сил повалился на него, вытянул ноги и закрыл глаза. Сверху пригревало солнце, ветерок навевал острые запахи оттаявшей земли, и было так тихо, так тихо, что звенело в ушах, а в теле возникла странная легкость. Казалось, что земля плывет под ним и он несется, падает вместе с ней в бездонную пустоту. Николай посмотрел сверху на Петра Поликарповича, на его искажившееся в блаженной гримасе лицо с глубоко запавшими глазами, заросшее густой щетиной и почерневшее от грязи, и молча отвернулся. Он понимал, что сам выглядит не лучше. И еще понимал, что любой ценой должен достать хлеба. Если хлеба не будет — хана. Шумно выдохнул и решительно двинулся в сторону чернеющих вдали барakov.

Вернулся уже ночью, при свете звезд. Пётр Поликарпович с беспокойством вглядывался во тьму, кутаясь в тряпки и дрожа всем телом. Послышался звук осыпающихся шагов, треск сучьев, и вдруг на фоне звезд возник силуэт человека.

— Что, заждался? Думал, не приду?

Пётр Поликарпович перевел дух:

— Ну... слава тебе господи. Принес что-нибудь пожрать?

— Принес. На вот, пожуй. — И он протянул горбушку хлеба. — Это я на кухне тяпнул. Чуть не попался. Больше туда идти нельзя.

Пётр Поликарпович жадно жевал черствый хлеб, кровавая десны и чувствуя солоноватый привкус собственной крови.

— Да ты не торопись, — заметил Николай. — Спешить нам теперь некуда. Все равно до утра будем сидеть.

— А утром что? — спросил Пётр Поликарпович.

— Придется уходить. Здесь опасно оставаться. Я там сильно наследил. Будут искать, это как пить дать.

Пётр Поликарпович задумчиво жевал хлеб.

— Сейчас бы чаю горячего да в теплую постель, — проговорил, глядя в темноту. — Кажется, лежал бы так целую неделю, пальцем бы не пошевелил.

— Належишься еще, — мрачно пообещал Николай. — Ладно, спать будем. Утро, говорят, вечера мудренее.

Он опустил на землю, запахнулся брезентом и сразу же затих.

Пётр Поликарпович доел хлеб, высыпал в рот крошки и повернулся набок, запахнулся краем брезента. Стало чуть теплей, спокойней на душе. До утра все равно уже ничего не случится. Засыпая, он думал о том, что лучше бы ему вообще не просыпаться. Жизнь прожита. Что мог, уже совершил. А будущее — что в нем? Ничего хорошего уже не будет.

Да, это было бы лучшим вариантом — уснуть и больше не просыпаться. Пусть другие работают не покладая рук, верят в светлые идеалы, добиваются поставленной цели. У него больше нет идеалов — ни светлых, ни темных. Никаких.

Светало, скрюченные, перекореженные деревья закачались, зашумели... Наступил новый день — двадцать второе июня одна тысяча девятьсот сорок первого года. Там, далеко на западе, за десять тысяч километров от Тенькинской трассы, уже поднялись в воздух самолеты с черными крестами на крыльях, уже двинулись к советской границе армады танков, пошли колонны новоявленных «арийцев». Там, на западных границах СССР, начиналась грандиозная битва вселенского масштаба.

А здесь, на безжизненном Колымском нагорье, стояла все та же тишина. Никакой самолет не смог бы сюда долететь. И никакая «арийская» харя сюда бы не сунулась. И все же начавшаяся война оказала на весь этот край самое непосредственное воздействие, потому что все в этом мире взаимосвязано, переплетено тысячью незримых нитей, дерни за одну — и все остальное закачается, придет в движение. На Колыме не было войны, не рвались снаряды, и танки не утюжили эту землю. Но люди гибли здесь массово — от непосильного труда и от усилившегося голода. И без того скудное снабжение Дальстроя было резко сокращено, и одновременно были сняты последние ограничения на продолжительность рабочего дня. Теперь можно было заставлять обессиленных заключенных работать по 16 часов в сутки, вовсе не предоставляя выходных. Не выполнявших норму обвиняли в саботаже и расстреливали. На Колыме действовали законы военного времени — со всеми вытекающими отсюда последствиями.

В этот день Пётр Поликарпович и его спутник прошли по сопкам еще пять километров. Двигались очень медленно, часто останавливаясь. Пётр Поликарпович несколько раз оступался и падал, после не сразу мог подняться. Спутник помогал ему, но и он ослабел и сам едва держался на ногах. Наконец они остановились на проплешине между кустов стланика. Место сухое, закрытое со всех сторон. Тут же оказался брусничник. Николай набрал ягоды в жестяную банку. Налил воды и поставил на костерок греться. Потом они по очереди пили из банки вскипевшую воду с ягодами и мелкими листочками. Ничего другого у них не было. И не было надежды раздобыть съестное.

Когда укладывались спать, Пётр Поликарпович произнес ровным голосом:

— Я дальше не пойду. Здесь останусь. А ты иди. Не смотри на меня. У тебя еще есть силы, ты сможешь дойти.

Николай обернулся, глянул в темноте на товарища:

— Как же это? Ведь мы вместе решили идти!

— Ну... решили. Что ж с того? Если ноги не идут, что тут поделаешь? Нечего и мучиться.

— А я как же?

— А ты действуй по плану. Дойдешь до Усть-Омчуга, а там смотри сам — или лодку раздобудь, или плот сооруди. И плыви себе по реке. Не ошибешься, прямо в Колыму и приплывешь. Удочку себе сделай из ивы, в общем, разберешься, не маленький. А моя песенка спета. Отвоёвался. Все. Баста.

Николай подумал, потом спросил:

— А что ты тут будешь делать?

— Я-то... буду лежать. Отсыпь мне спичек немного. Буду ягоду собирать, ночью костерок сварганю. Протяну какое-то время.

— А потом?

— Ну что ты заладил? Откуда я знаю, что потом? Что-нибудь да будет. В крайнем случае, подохну. Подумаешь, какое дело. Лучше уж здесь помереть, чем в карцере загнуться. Так-то, браток.

— Не-е, я без тебя никуда не пойду, — произнес Николай. — Это у тебя от голода такие мысли. Завтра я раздобуду жратвы, тогда и порешим. Ладно?

— Ладно, — ответил Пётр Поликарпович. Спорить он не хотел, поскольку все уже решил для себя.

Утром спозаранку Николай ушел на поиски пищи. Пётр Поликарпович остался лежать среди кустов.

Днем Николай не вернулся. Не пришел и ночью. Наступило следующее утро, а его все не было. Пётр Поликарпович уже смирился с мыслью, что он не придет, как вдруг тот вышел из колючих кустов, встал по стойке смирно и выкрикнул, пуча глаза:

— Война началась!

Пётр Поликарпович вздрогнул от неожиданности. С трудом приподнялся на локтях:

— Какая война? Ты чего мелешь?

— Гитлер на нас напал, уже второй день бомбят западные границы. Я в поселке узнал. Там черт-те что творится!

— Погоди! Ты ничего не перепутал? Немцы на нас напали?

— Ну да, я же тебе говорю! В Магадан по телеграфу сообщили, теперь во все лагеря депешки шлют. Вчера вечером и здесь получили. Боятся, что Япония высадит десант, они ведь с Гитлером заодно. Там теперь такая кутерьма, никто не знает, что делать.

— Как это не знает? — востропнулся Пётр Поликарпович. — Воевать надо! Чего тут думать?

Николай усмехнулся:

— Скажешь тоже, воевать. Кто будет воевать? Здесь одни доходяги. Ты сам вон на ладан дышишь. А туда же — воевать!

Пётр Поликарпович решительно поднялся, выражение лица его вмиг переменилось.

— А ты мне дай винтовку — и увидишь, как я буду воевать. Это ничего, что я малость прихворнул. Я еще поправлюсь, еще пригожусь своей родине! — Он постоял с минуту, разглядывая поселок, потом уверенно произнес: — Все, надо идти.

— Куда идти? — опешил Николай.

Пётр Поликарпович махнул рукой вперед:

— Туда.

— Да ты что? Нас же там повяжут!

— Ну и пусть! А мы скажем, что сами пришли, хотим на фронт, в передовые части. Пусть нас отправят на передовую. Не посмеют отказать.

Николай задумался. Такая перспектива была ему явно не по душе. Не потому, что не хотел идти на фронт, а просто не верил, что побег так легко сойдет с рук и им доверят оружие. С другой стороны, если случилась война, то ведь должно же что-нибудь измениться? Если Гитлер буром попреет, а тут еще Япония вступит и если наступит всеобщий хаос — что тогда? А тогда придется выпустить из лагерей всех заключенных, дать им винтовки и отправить на фронт — защищать Родину. Но до этого пока далеко. Пока еще ничего не ясно. Значит, торопиться не следует.

— Ты вот что, — сказал он, опустив голову, — ты не очень-то спеши. Нужно погодить какое-то время.

— Да чего годить-то? — волновался Пётр Поликарпович. — Чего тут сидеть в кустах? Там люди кровь проливают, а мы тут отсиживаться будем? Нет, я к этому не привык. Никогда не прятался за спины товарищей. И сейчас не буду.

— Ну хорошо, хорошо, я согласен, — сказал Николай, поморщившись. — Но сдаваться тоже надо с умом. Ты что, так прямо в поселок и придешь? И что ты скажешь?

— Да так и скажу: на фронт хочу, Родину защищать... — начал было Пётр Поликарпович и остановился.

В самом деле, все не так просто. Смотря на кого нарвешься. Попадется какой-нибудь обалдуй, еще неизвестно, как оно обернется.

— В Усть-Омчуг надо пробираться, — быстро заговорил Николай. — Там комендатура, начальство разное. Нужно к самому главному начальнику попасть, чтоб он знал, что мы сами пришли. А то эти дуболомы так дело обставят, будто они нас поймали. Им за это отпуск дают и пайку добавляют. Уж я знаю.

Пётр Поликарпович призадумался. Николай был прав. Но как попасть в Усть-Омчуг? До него еще километров тридцать, а то и все пятьдесят. Ему столько не пройти. А что, если?..

Он поднял голову и с надеждой посмотрел на товарища:

— Слушай, мы вот что сделаем. Выйдем на трассу и остановим эмку. В эмках завсегда начальство ездит. Вот они нас и довезут прямо до ко-

мендатуры. А уж там мы все и расскажем. Только чур не врать. Мы ведь ничего такого не сделали. Никого не убили и ничего не украли из лагеря. Побег — да, был, с этим спорить нечего. А про все остальное будем говорить как оно есть. И главное, нужно им втолковать, чтоб на фронт нас отправили. В любое, самое опасное место. Не может быть, чтобы нас не послушали.

Николай стиснул зубы и некоторое время стоял раздумывая. Потом сказал:

— Ладно, черт с тобой. Уговорил. Пошли!

Пётр Поликарпович поднял с земли мешковину, стряхнул с нее иголки и аккуратно свернул. Пошарил глазами по поляне: возле потухшего костерка стояла жестяная банка с остатками брусничного отвара. Поднял банку и выплеснул остатки в траву. Больше брать нечего.

Они выбрались из кустов и двинулись к трассе; шли так, чтобы их не заметили раньше времени из проходящих машин. Машин было немного, и все были грузовые. Рядом с водителем всегда сидел вооруженный солдат.

— Надо поближе подойти, — сказал Николай, присматриваясь.

Пётр Поликарпович посмотрел на дорогу. До нее было метров сто открытого пространства. Укрыться негде.

И в этот момент вдали показалась черная точка в облаке пыли.

— Никак легковушка едет? — воскликнул Николай, вытягивая шею. — Точно! С километр будет. — Вопросительно глянул на Петра Поликарповича. — Ну что, идем?

Тот быстро кивнул:

— Пошли.

Они выдрались из кустов и быстрым шагом двинулись напрямик к трассе: Николай впереди, Пётр Поликарпович ковылял за ним. Через минуту были уже на обочине, смотрели, как приближается черный автомобиль. Да, это эмка, машина начальников и чинов. Простые солдаты на ней не ездят.

Николай решительно шагнул на середину дороги, поднял руку.

Его заметили. Машина стала притормаживать, взяла влево и остановилась на обочине в клубах пыли. Распахнулась передняя правая дверца, из салона вышел военный — в хромовых сапогах и гимнастерке, перепоясанный ремнями с кобурой и с командирским планшетом. В петлицах — по два красных кубаря.

Он ловко вытащил наган из кобуры и громко крикнул:

— Кто такие? Чего шляется тут?

Николай быстро оглянулся на Петра Поликарповича и уверенно ответил:

— Беглые мы. Сдаваться идем в Усть-Омчуг. Добровольно. На фронт желаем попасть, Родину защищать.

— Беглые, говорите? — Военный оглядел обоих с ног до головы. — А откуда вы? Из какого лагеря?

— С обогатительной фабрики, на Армани были.

— Ах вон вы откуда, голубчики. Ну-ну. Давненько вас ищут. — И он сделал знак сидевшим в машине. Оттуда сразу же вылез еще один военный, тоже в гимнастерке и с наганом в руке.

— А ну-ка, подняли оба руки! — скомандовал тот, приближаясь.

Пётр Поликарпович и Николай исполнили приказание.

Военный подошел сзади, обхлопал их с боков, обошел кругом и объявил:

— Нет у них ничего. А провоняли-то оба, фу, дышать нечем! Я их в машину не пушу. Еще чего не хватало.

Пётр Поликарпович с укором глянул на него:

— Мы не дойдем до Усть-Омчуга. Пожалуйста, возьмите нас.

Военный решительно помотал головой:

— Ждите здесь. Я за вами конвой отправлю.

— Зачем конвой, мы же сами вышли!

— Так положено! — отрезал военный. — Вы вон лагерь без разрешения покинули. А за это знаете что бывает?

— Знаем.

— То-то и оно. Благодарите Бога, что не попались своей вохре. Они бы из вас отбивную сделали и собакам кинули. Две недели по сопкам их искали, чертей. А они вон где, оказывается, бродят. Вот архаровцы!

Пётр Поликарпович смотрел на военного, словно пытался взглядом передать то, чего не мог объяснить на словах.

— Товарищ капитан... — начал было он.

— Какой я тебе товарищ? — вскинулся тот.

— Ну хорошо, гражданин... Вы же видели, мы сами на трассу вышли. Мы про войну узнали, немцы на нас напали. Мы на фронт хотим попроситься. Кровью своим свою вину!

Военный усмехнулся. Обернулся к товарищу:

— Ишь, чего захотели. На фронт они хотят. Тоже мне, вояки. — Бросил быстрый взгляд на беглецов и заключил: — Ладно, разберемся. В машину я вас посадить не могу, да и места там нет. Оставить просто так тоже не имею права. Сделаем так: сейчас тут кто-нибудь поедет мимо, вот он вас и доставит куда следует.

— Только не обратно в лагерь! — подал голос Николай.

— Это уж мы сами разберемся, в лагерь или еще куда.

Пётр Поликарпович промолчал. Он понимал, что обратно на фабрику их уже не вернут. Оба военных были не из лагерной администрации. Или из Магадана, или из местного управления.

Он не ошибся: военные служили в Усть-Омчуге, где располагалось Тенькинское горнопромышленное управление. Здесь, в долинах рек Омчак, Детрин, Иганджа, Дусканья и Кулу, были открыты в 1938 году богатейшие россыпи золота. Теперь, три года спустя, весь этот край был покрыт лагерями, изрезан дорогами, заставлен военными постами. Это

была золотая лихорадка по-сталински. Тут не было джеклондоновских героев с упряжками северных лаек и с мужественным сердцем в груди. Не было взаимовыручки, смелости, благородства. Золото здесь добывали (и в огромных количествах) полуживые люди, вовсе не помышлявшие о золоте и не мечтавшие о Севере, не желавшие этого золота, ненавидевшие его всей душой. Оба чекиста тоже не помышляли о золоте, но они были тут по велению долга, по приказу высокого начальства, распоряжения которого не обсуждались. Они получали двойную зарплату и усиленный северный паек, пользовались всеми возможными благами и осуществляли полноту власти, какая только возможна в далеком и диком краю. Вот и на этот раз все разрешилось предельно просто: один из военных остановил проезжавший мимо грузовик и приказал шоферу посадить в кузов обоих беглецов. Сопровождавшему грузовик бойцу дал записку и велел ему ехать вместе с заключенными в кузове, не спуская с них глаз. Тот воспринял приказ как и подобает советскому воину. Глаза его грозно сверкнули, он снял с плеча винтовку и передернул затвор. Чекисты остались довольны и посчитали дело решенным.

Петра Поликарповича и его товарища усадили спиной к кабине, а лицом к охраннику, который с винтовкой наперевес сел у заднего борта; машина поехала по направлению к Усть-Омчугу. Все это происходило двадцать пятого июня сорок первого года. Шел четвертый день Великой Отечественной войны.

Ехать пришлось недолго — через сорок минут оказались в поселке. Шофер заглушил мотор и хлопнул дверцей.

Охранник встал, разминая ноги. Навел винтовку на заключенных и скомандовал:

— Сойти на землю! При попытке к бегству стреляю без предупреждения.

Николай взялся за борт и, оттолкнувшись двумя ногами, ловко спрыгнул. Пётр Поликарпович поднял голову и увидел деревянный забор и лагерные ворота, над которыми висела надпись, сделанная крупными буквами: «ОЛП Комендантский». Хотелось спросить, зачем их сюда привезли, но он знал, что ответа не получит. Все ответы были в той бумажке, которую вручил бойцу чекист. Пётр Поликарпович не без труда спустился на землю и стал рядом с товарищем. Тот затравленно озирался. Пётр Поликарпович понял, что Николай уже жалеет, что поддался на его уговоры. Сил у него еще было достаточно, он мог далеко уйти. Но теперь поздно раскаиваться: сделанного не воротишь.

Боец передал беглецов местному конвою и тут же забыл про них. Начальник караула долго изучал записку с предписанием, потом поднял взгляд на стоявших перед ним заключенных:

— Фамилия, срок, статья, откуда бежали?..

Пётр Поликарпович и его спутник объяснили как могли.

— А сюда зачем шли?

Пётр Поликарпович переступил с ноги на ногу:

— Гражданин начальник, я болен, не могу работать. Думал, что тут есть больница.

— Понятно. А второй что, тоже больной?

Николай поднял голову, губы его дрогнули, но он сдержался и ничего не сказал.

— Так, — начальник караула поджал губы, — в изолятор обоих. — Повернулся к стоявшему поодаль конвоиру: — Кузнецов, веди их. Скажешь Лоншакову, что я распорядился.

Снова Пётр Поликарпович и Николай шли под конвоем. Им было уже все равно, хотелось поскорей куда-нибудь прийти и больше уже не двигаться.

Конвоир завел их в длинный барак и сдал дежурившему там бойцу. Тот, ничего не спрашивая, взял ключи и отпер одну из пустовавших камер по левой стороне длинного узкого коридора.

— Идите!

Пётр Поликарпович и Николай зашли. Дверь за ними захлопнулась, стало тихо. Они осмотрелись. Камера вполне приличная, хотя и маленькая. Справа стояла полувагонка на два места, слева такая же. Против двери у окна — маленький столик и табуреточка. В углу возле двери — параша в виде деревянного ведра с крышкой. Окно небольшое, забранное решеткой. За окном виднелся двухметровый забор с колючей проволокой. Перед забором колыхалась от ветра трава. По-домашнему тихо и спокойно. Они переглянулись.

— Что дальше? — спросил Николай.

— Увидим, — ответил Пётр Поликарпович. Шагнул к вагонке и сел на нижний лежак. — Спать хочу, — сказал он, опуская отяжелевшую голову.

— А я бы пожрал чего-нибудь, — отозвался Николай. — До завтра ведь ничего не дадут. Знаю я их порядки.

— Это точно, — кивнул Пётр Поликарпович и осторожно лег на тощий матрас, подсовывая под голову небольшую подушечку.

— А неплохо тут, — сказал Николай. — Я и не знал, что бывают такие лагеря. Это ж надо так назвать — «Комендантский». Что-то вроде комендантской роты? — И он с усмешкой посмотрел на товарища.

Но тот уже закрыл глаза и не слушал. Николай постоял несколько секунд, потом сел на койку напротив.

— Да-а, — протянул, — набегались!

Пётр Поликарпович уже спал. Лицо его подергивалось, щеки обвисли, из глотки вырывалось прерывистое дыхание. Николаю вдруг стало жаль его. Он вспомнил, как этот уже немолодой и больной человек шел по камням и крутым склонам, как блестели в лихорадке его глаза и тряслись от слабости руки, как он стучал зубами от холода ночь напролет, но ни разу не пожаловался на трудности, ни разу не выругался и не сказал ему ни одного обидного слова. И он понял, что все эти дни рядом с ним был необыкновенный человек — мужественный, мудрый и непреклонный. Это ниче-

го, что он весь зарос щетиной и больше похож на зверя, чем на человека. На самом деле, он больше человек, чем все те, кого Николай знал до сих пор. Если бы их доставить сюда да прогнать по всем этим кругам ада — что бы тогда с ними стало? На кого бы они теперь были похожи?

С этими мыслями он стащил с себя грязные ботинки и лег на плоский лежак, вытянул усталые ноги. Радовался, что все еще жив, что его не пристрелили во время побега, что не избили и теперь они сидят в нормальной камере, а не в ледяном погребе, как это обычно бывает с беглецами. А что там будет дальше, он не загадывал, потому что давно понял: ничего заранее знать нельзя. Колыма — это такое место, где не действует обычная логика и где не писаны человеческие законы. Засыпая, видел перед собой серо-зеленые сопки и синее небо над ними, видел лесную тропу среди мхов и камней, густой кустарник, изогнутые стволы лиственниц и свои ноги, идущие по тропе. И он все шел и шел — непонятно куда, неизвестно зачем...

Утром им выдали завтрак — по миске баланды и по трехсотке хлеба. Вмиг съели. Затем повели в баню под конвоем. Там они задержались на два часа. Местный парикмахер плевался и матерился, состригая с них грязные спутавшиеся волосы. Сама баня показалась каким-то чудом: горячей воды вдоволь, есть мыло и мочалка; и банщик их особо не торопил. Все уже знали, что в лагерь привезли беглецов, и оказывали им соответствующее уважение. На выходе из моечной им выдали новые кальсоны и нательное белье, ватные штаны, гимнастерки и бушлаты, ботинки с портянками и шапки. Все это, конечно, было уже ношеное, но чистое, без вшей.

И вот в таком обновленном виде они предстали пред светлые очи следователя из Усть-Омчуга — лейтенанта Попова. Это был молодой человек среднего роста, с худощавым лицом, с зачесанными назад волосами и высоким лбом, нос почему-то смотрел на сторону, а глаза были пристальные, немигающие. Увидев его, Пётр Поликарпович подумал, что в другой обстановке он бы подружился с этим человеком, особенно ему понравился взгляд — внимательный, испытующий и как будто не злой. Таилась надежда, что это не садист, не служака, а вполне нормальный человек, честно исполняющий свой служебный долг.

Но на поверку все оказалось не так благостно.

После обычных вопросов и заполнения формуляра лейтенант оторвал взгляд от бумаг и спросил ровным голосом:

— Ну а теперь расскажите, с какой целью вы хотели проникнуть в ряды Красной армии. Советую говорить правду. Мы все равно узнаем.

Пётр Поликарпович в первую секунду не нашелся, что сказать. Вопрос показался ему настолько нелепым, что он растерялся.

— Мы хотим воевать с фашистами, — пробормотал неуверенно.

— Так-так. — Следователь неприязненно посмотрел на него. — Если бы вы хотели воевать, так не бегали бы от советской власти. Целый месяц за вами гонялись, столько людей от дела оторвали.

— Но ведь мы же сами пришли. Как только узнали, что война началась, так сразу и вышли на трассу.

Лейтенант посмотрел в бумаги:

— А у меня в деле записано, что вас задержали на сто шестьдесят первом километре Тенькинской трассы в составе группы из двух человек. И докладная есть за подписью капитана Ахметшина. Тут сказано, что вы скрытно передвигались вдоль трассы, но благодаря проявленной бдительности были замечены и задержаны. Что вы на это скажете?

— Да не так все было! — заволновался Пётр Поликарпович. — Спросите у моего товарища. Мы еще накануне, когда узнали, что началась война, решили идти сдаваться, а потом проситься на фронт. Зачем бы мы тогда выходили на дорогу?

Лейтенант криво улыбнулся:

— По-вашему выходит, что капитан Ахметшин все это придумал? А ведь он не один в машине ехал. С ним был лейтенант Черниговский и еще водитель — рядовой Кулик. Все они подтверждают факт поимки. Кому мне верить — военнослужащим Красной армии или беглому ээку, контрику, уже не раз обманывавшему советскую власть?

Пётр Поликарпович устало опустил голову:

— Делайте что хотите, но я говорю правду.

В таком духе допрос продолжался несколько часов. Лейтенант все допытывался: с какой целью два врага советской власти хотели попасть на передовую? Он упорно подводил к логичному для него выводу: оба беглеца хотели перейти на сторону врага и довершить таким образом свое черное дело. Все сводилось к одному: враги советской власти никак не угомонятся, упорно ищут средства для ее свержения. Представился удобный случай — и они решили перейти на сторону врага, предать свою Родину и все, что дорого и свято.

Пётр Поликарпович сначала спорил и оправдывался, но потом увидел, что его слова не оказывают никакого действия, и замолчал. А когда следователь предложил ему подписать протокол допроса, в котором он отвечал утвердительно на все провокационные вопросы, решительно отказался, заявив, что не станет подписывать себе смертный приговор. Следователь согласно кивнул, словно ожидал такого ответа, и приказал увести заключенного.

Вечером с допроса привели Николая. Выглядел тот удрученным.

— Зря я тебя послушал, — сказал он с досадой. — Говорил ведь, не надо сдаваться. Поверил тебе.

Пётр Поликарпович и хотел бы утешить товарища, но как утешить...

— Ничего, разберутся, — произнес со вздохом.

— Разберутся... — подхватил Николай, — пустят пулю в лоб, и все дела. Мне следак сразу так и сказал, что по законам военного времени нас обоих пустят в расход, если только мы не признаемся.

— В чем признаемся?

— Что хотели устроить диверсию, а потом перейти на сторону врага, выдать секреты.

— Какие еще секреты? Ведь мы ничего не знаем. — И Пётр Поликарпович обвел взглядом унылые стены.

— Следователь так сказал. Ему виднее.

Пётр Поликарпович улыбнулся:

— Ну ты сам подумай, если мы признаемся, что хотели перейти на сторону врага — так нас еще вернее расстреляют! Им дело нужно раздуть, а на нас им наплевать. Ведь их самих могут на фронт отправить. А так они докажут, что заняты важным делом. Раскрыли заговор, предотвратили диверсию. Ну? Чего ты? Ведь все же ясно. Нам надо стоять на своем, говорить как было. Нам нечего скрывать. Побег был, спорить нечего. Ну и что? Из лагеря многие бегут. А мы-то ведь сами сдались. Вот и пусть решают. Я не собираюсь наговаривать на себя всякий вздор.

На следующий день Николай с допроса не вернулся. Следуя инструкциям, следователь развел их по разным камерам. Однако это не принесло желаемого результата. Оба подследственных стояли на своем: ничего плохого не замыслили, на сторону врага переходить и не думали, а на трассу вышли сами. Следователь с удовольствием бы применил к ним меры физического воздействия, но с некоторых пор все эти дела не поощрялись, и он ограничился простым запугиванием, тем более что тут все было очевидно и особо стараться не было нужды. Об этом он и сказал на очередном допросе Петру Поликарповичу.

— Ты пойми, дурия башка, — говорил он человеку, годящемуся ему в отцы, — семь грамм тебе уже обеспечены! По законам военного времени побег приравнивается к саботажу. Ты самовольно покинул лагерь, причинив ущерб и поставив под угрозу выполнение производственного плана. За такие дела и в мирное время ставили к стенке, а сейчас тем более. — И он сокрушенно вздыхал, всем видом показывая неизбежность кровавой развязки.

— Да ведь я не на основном производстве был, — возражал Пётр Поликарпович. — Я работал в инвалидной бригаде, на сборе хвои. У меня инвалидность есть — третья группа. Как же я мог поставить под угрозу выполнение плана?

— Вот видишь! — подхватывал следователь, нимало не смутившись. — Тебе поверили, сняли тебя с прииска и отправили в больницу, там тебя поставили на ноги и предложили исполнять самую легкую работу, разрешили тебе бесконвойно выходить за лагерь, а ты не оправдал доверия, подло всех обманул, заставил бегать за тобой. И товарища своего совратил с пути истинного. Он ведь необразованный, университетов, как ты не кончал. А ты запудрил ему мозги, внушил ложные идеалы, несовместимые с нашей советской действительностью. А теперь не хочешь признаваться. Плохо! Очень плохо. — Он смотрел на Петра Поликарповича немигающим взглядом, лицо его суровело и темнело, и он добавлял уже тверже, напористее: — Для тебя плохо в первую очередь! — И тыкал пальцем в грудь подследственного.

В первых числах июля следователь зачитал Петру Поликарповичу обвинительное заключение. Там было сказано среди прочего: «Работая на обогатительной фабрике № 6 ТГПУ, откуда в целях сознательного уклонения от исполнения установленного режима в ИТЛ НКВД и с целью отказов от работ для умышленного ослабления деятельности Дальстроя 31 мая 1941 года с места работы совершил групповой побег. Принятыми мерами розыска 26 июня 1941 года на 161 километре Тенькинской трассы задержан». Также там было сказано, что он «работал плохо, от работы укрывался под видом болезни, настроен антисоветски».

Пётр Поликарпович снова попытался объяснить. Он говорил, что и в мыслях не держал «умышленное ослабление Дальстроя» и что он никогда не был настроен антисоветски, наоборот, он желает принести своей Родине пользу, согласен отдать жизнь за нее, пусть его отправят на фронт, и он тогда покажет, как он умеет воевать с врагами советской власти и как он любит свой народ! Лучше геройская смерть в окопах, чем позорный расстрел здесь, в лагере, с клеймом предателя и врага народа, которым он никогда не был.

Пётр Поликарпович говорил так искренно, как только мог, понимая, что речь идет о его жизни. Он был очень убедителен и в высшей степени красноречив. Но для следователя это ничего не значило.

— Я основываюсь на фактах, — говорил тот равнодушно. — А факты, как вам должно быть известно, упрямая вещь! — И он снисходительно улыбался, словно хотел сказать: я тоже образованный, умею ввернуть умное словцо. — Так вот, согласно неопровержимым фактам, имеет место групповой побег, повлекший за собой отвлечение значительных сил личного состава спецвойск. Вы с подельником не вернулись обратно в лагерь, из которого бежали, а направлялись в противоположную сторону. Ваши словесные утверждения о намерении попасть на фронт не вызывают никакого доверия. К тому же да будет тебе известно: пятьдесят восьмую статью в действующую армию не принимают. Даже если бы и не было побега, все равно с тобой никто бы и говорить не стал. Ну ты сам посуди: какой тебе фронт? Сам же сказал, что у тебя инвалидность, вон еле на ногах стоишь. А все туда же — воевать собрался! В общем, дело ясное. Саботаж в чистом виде. Будешь теперь на суде рассказывать свои сказки. Там тебе объяснят права и обязанности. Ну так что, будешь расписываться в ознакомлении?

Пётр Поликарпович взял перьевую ручку, обмакнул ее в чернильницу-непроливашку и размашисто написал внизу листа: «С обвинением не согласен. Прошу немедленно отправить меня на фронт рядовым. Обещаю кровью искупить свою вину перед родной советской властью!» Поставил подпись и расписался.

Следователь взял лист и, прищурившись, стал читать. Целую минуту он глядывался в неровно выведенные буквы, потом отстранил бумагу и произнес с сарказмом:

— Вон как ты запел. Ну-ну.

Спрятал бумагу в папку и завязал тесемки. Сел за стол и положил руки перед собой.

Пётр Поликарпович выждал некоторое время, потом спросил:

— Куда нас теперь, в Магадан повезут?

Следователь пожал плечами:

— Это вряд ли. Здесь будете дожидаться выездного трибунала.

Пётр Поликарпович вздрогнул:

— Какого трибунала? Ведь мы же не военные!

— Вы-то не военные, да время нынче военное. Думать надо, прежде чем в бега подаваться.

— Так ведь не было войны, когда мы в побег ушли. Война только недавно началась. Мы же не знали, что война начнется!

— Знали не знали... это уже не важно. Двадцать второго июня на всей территории Советского Союза введено военное положение, указ номер двадцать девять. Этим же указом военным трибуналам на всей территории передаются на рассмотрение дела о государственных преступлениях. А у вас с подельником статья пятьдесят восемь пункт четырнадцатый — саботаж. Приравнивается к преступлению против государства. Ничего не поделаешь. Придется отвечать по всей строгости.

— Да какой же это саботаж? Ведь у нас побег. Мы ведь не повредили ничего на производстве и с собой ничего не взяли.

— Как же не взяли? А нож и топор — это разве не хищение государственного имущества?

— Ну хорошо, пусть будет хищение, но при чем здесь саботаж? Ведь мы знаем, что это совсем другое.

— Другое или нет, это вы будете военному прокурору втолковывать. А я следствие закончил и передаю его в канцелярию. — Вышел из-за стола и открыл дверь в коридор. — Малышев, забирай.

Пётр Поликарпович завел руки за спину и, опустив голову, пошел из кабинета.

Его вернули в ту же камеру, где он провел последнюю неделю. Туда же через полчаса завели и Николая. Следствие закончилось, все протоколы подписаны, обвинительное заключение утверждено. Теперь нет нужды держать подследственных поврозь. Судьба их уже была решена, хоть они и не догадывались об этом.

В этой камере они прожили целый месяц. Их кормили три раза в день — все той же баландой и черным хлебом. Раз в десять дней водили в баню. А на работу не водили вовсе. Рабочих рук в лагере хватало и без них. К тому же лагерное начальство опасалось нарушить инструкцию, которая запрещала использовать подследственных на любых работах, предписывая им безвылазно сидеть под бдительной охраной. Обычно на эти запреты не обращали внимания и распоряжались подследственными всяк по своему усмотрению, насколько хватало фантазии. Но теперь была война, действовало военное положение и лагерное начальство решило не рисковать. Мало ли что! В любую минуту придет трибунал и потребует

подследственных. А их нету! Как бы и самому под трибунал не угодить. Каждый день следовали все новые указы, распоряжения, инструкции — одна грознее другой.

Вот и сидели в душной камере Пётр Поликарпович и его товарищ. И досидели они до того момента, когда в лагерь прибыли на черной эмке члены военного трибунала — председатель с непроницаемым лицом и молоденькая секретарша. Оба в военной форме, оба важные и полные ощущения собственной значимости. Кроме них должны были быть заседатели, но этих каждый раз добирали на месте: обычно это был начальник лагеря и его заместитель по оперативной работе. Суд состоялся двадцать шестого августа и занял немного времени. Всего было десять подследственных, на рассмотрение дела каждого уходило не более пяти минут. Когда вызвали Петра Поликарповича, он спокойно вошел в кабинет, где за обычным столом, накрытым красным сукном, сидели трое военных. Чуть в стороне, за отдельным столиком — секретарша. Она что-то писала в бумагах и даже не посмотрела на вошедшего.

Председательствующий взял со стола следственное дело и стал листать с равнодушным видом. Дело было тоненькое, не больше десяти страниц. Дойдя до последней и прочитав обвинительное заключение следователя, председатель поднял голову и спросил равнодушно:

— Петров Пётр Поликарпович, девяносто второго года рождения?

— Да, это я.

— Признаете себя виновным в инкриминируемых вам деяниях?

— Никак нет, не признаю. — Пётр Поликарпович глухо кашлянул. — Я там написал свою просьбу. Прошу отправить меня на передовую, буду защищать социалистическую родину от фашистов.

Председатель внимательно посмотрел ему в лицо, и оба военных тоже посмотрели. Даже секретарша оторвалась от своих бумаг и как-то сбоку глянула на подсудимого.

Председатель повел головой вправо-влево, потом сказал деревянным голосом:

— Как же мы можем вам верить, если вы уже совершили побег с места заключения? Вы и с передовой точно так же убежите. Красной армии не нужны перебежчики.

— Я не перебежчик! — тут же возразил Пётр Поликарпович. — Я воевал за советскую власть в Гражданскую, имею наградное оружие. Я и теперь могу принести пользу. Прошу поверить мне. Клянусь всем, что мне дорого, я оправдаю ваше доверие, кровью смою позор и заслужу прощение!

На лицах военных показались кривые улыбочки, только секретарша не улыбалась, уткнулась в свои бумаги.

— Вы нам вот что скажите, — снова спросил председатель. — Вы не отрицаете сам факт побега?

— Нет, не отрицаю. Но это было еще до объявления войны...

— Хорошо-хорошо, — перебил председатель. — А факт хищения орудий производства признаете?

— Ну, не знаю... Я взял с собой нож, которым работал, а товарищ — топор. Нельзя же в тайге... Там медведи ходят. И вообще...

— Понятно, — кивнул председатель. — А зачем вы направлялись в Усть-Омчуг? Если следовать вашей логике, вы должны были направиться в Магадан, поближе к порту.

Пётр Поликарпович задумался. Он не совсем понял, почему они должны были идти в Магадан за двести километров, но переспрашивать не стал.

— Мы как узнали, что война началась, так сразу решили сдать. Увидели машину и вышли на трассу. Ведь мы сами сдались.

— Вот как? А в деле сказано, что вы были задержаны на сто шестьдесят первом километре Тенькинской трассы. Вот, страница восьмая, тут и докладная есть за подписью капитана Ахметшина и лейтенанта Черниговского. Кому же я должен верить?

Пётр Поликарпович понурил голову:

— Я вам правду говорю.

Председатель поочередно посмотрел на заседателей, сидевших слева и справа от него.

— Какие будут вопросы?

— Да какие там вопросы, — отмахнулся один.

— Все ясно, — отозвался второй.

Председатель снова посмотрел на Петра Поликарповича:

— Можете идти. Решение вам объявят.

Пётр Поликарпович с беспокойством оглянулся:

— Но как же? Почему не сейчас?

— Мы после рассмотрим. Таков порядок.

К нему уже приближался конвоир. Не дожидаясь, когда он возьмет его за плечо, Пётр Поликарпович повернулся и пошел к двери.

Когда он вышел в коридор, заметил сбоку Николая, его подняли со скамьи и повели в зал заседания. Пётр Поликарпович кивнул ему, желая приободрить. Но тот вряд ли его понял. Лицо его было нахмурено, взгляд сосредоточен. Как видно, он не ждал от трибунала ничего хорошего.

Два часа спустя, когда Пётр Поликарпович и Николай были уже в своей камере, дверь распахнулась и на пороге показался конвоир, в руках у него были две бумажки.

— Вот, держите, — произнес с угрюмым видом.

Пётр Поликарпович и Николай одновременно поднялись.

— Это что там у тебя? — спросил Пётр Поликарпович прерывающимся голосом.

— Выписки из приговора. Велели вам передать. Ну что, берете?

Николай опомнился первым, шагнул к конвоиру и взял у него две выписки, каждая из которых была размером в пол-листа ученической тетради. Подал одну бумажку Петру Поликарповичу, вторую стал жадно читать.

Пётр Поликарпович поднес листок к глазам.

На желтоватой бумаге в синюю клетку был отпечатан текст — едва различимая третья копия, отпечатанная через копирку. Текст гласил:

«Выписка из приговора выездной сессии
Военного Трибунала войск НКВД ИТЛ Дальстроя
от 26 августа 1941 г. по делу № 059

Материалами предварительного и судебного следствия установлено, что подсудимый Петров Пётр Поликарпович, будучи враждебно настроенным к советской власти, работая на обогатительной фабрике № 6 ТГПУ, откуда в целях сознательного уклонения от исполнения установленного режима в ИТЛ НКВД и с целью отказов от работ для умышленного ослабления деятельности Дальстроя совершил групповой побег 31 мая 1941 года. Во время пребывания на обогатительной фабрике работал плохо, настроен антисоветски. Принятыми мерами розыска 26 июня 1941 года на 161 километре Тенькинской трассы задержан. Руководствуясь Указом Президиума ВС СССР «О военном положении» № 29 от 22.06.1941 г., выездная сессия Военного Трибунала ПРИГОВОРИЛА: Петрова Петра Поликарповича на основании ст. 58-14 «б» УК СССР приговорить к высшей мере наказания — расстрелу.

Приговор может быть обжалован в кассационном порядке в Военном Трибунале ИТЛ Дальстроя в течение 72 часов с момента вручения копии приговора осужденному.

Выписка верна.

Секретарь Военного Трибунала войск НКВД

Антонова»

Пётр Поликарпович опустил руку, листок дрожал в заскорузлых пальцах. Он силился что-нибудь сказать, но горло перехватила судорога. По телу разливалась предательская слабость, он чувствовал, что вот-вот упадет.

— Вот сволочи, десятку накинули! — услышал он возглас Николая. Тот со злостью смотрел в бумагу, по лицу ходили желваки. — Говорил я тебе, не надо было сдаваться, а ты меня не послушал.

Пётр Поликарпович лишь жалко улыбнулся.

— А у тебя что, тоже десятка? — спросил Николай, оборачиваясь. — Ну-ка, дай глянуть!

Он взял из бесчувственных пальцев выписку и стал читать. По мере чтения лицо его напрягалось, каменело, наливалось кровью.

— Да что ж они, сволочи, делают, а? — воскликнул он. — Они что, совсем ополоумели?

— Ну, ты это, потише тут ори, — внушительно произнес конвоир. — Будешь буянить, доложу куда следует. Давайте сюда выписки.

— Ну вот еще, — запротестовал Николай. — Я ее себе оставляю, я законы знаю!

— Да зачем она тебе? — нахмурился конвоир. — Следовательно велел забрать их у вас и принести ему.

— Вот пусть сюда идет и сам забирает, — отрезал Николай и посмотрел на Петра Поликарповича: — Верно я говорю?

Но тот остался безучастным. Приговор оглушил его, лишил воли к сопротивлению. Горячность Николая казалась ему нелепой, ненужной. Он уже не хотел ничего — ни спорить, ни доказывать свою правоту. Все ему стало глубоко безразлично.



Он сделал шаг и медленно опустился на нары, повернулся набок лицом к стене. Николай что-то говорил ему — Пётр Поликарпович не слушал. Тело вдруг стало невесомым, он смежил веки и словно бы поплыл в теплых волнах. Николай взял его за руку, потянул легонько, потом отпустил. Глянул вопросительно на конвоира, тот только пожал плечами.

— Вот до чего человека довели, — произнес с укоризной.

Конвоир лишь хмыкнул.

— Ну что, отдашь выписку или начальника звать?

Николай протянул ему свой листок:

— На, бери. А его выписку не получишь. Скажи лейтенанту, пусть сам придет. И пусть бумагу прихватит. Мы будем жалобу писать. Так и передай.

Конвоир ушел, Николай сел на нары и стал пристально смотреть на Петра Поликарповича. Тот лежал не шевелясь, даже дыхание было неразличимо. Показалось, что он уже умер. Николаю стало жутко. Наклонившись, прислушался. Различив слабое дыхание, выпрямился и глубоко вздохнул. О себе в эту минуту не думал. Добавку срока предвидел и внутренне с ней соглашался, возмущался больше для вида, по привычке, а еще — от избытка чувств. Ведь он тоже рисковал. Следовательно сразу дал ему понять, что если бы у него была пятьдесят восьмая статья, то не сносить ему головы. Но он рискнул и выиграл. Добился главного — ушел из лагеря, где дни его были сочтены. А все эти добавочные сроки Николай воспринимал почти философски, будто не ему предстояло горбатиться все эти годы, а кто-то другой будет восемнадцать лет тянуть лямку и жрать пустую баланду.

Следователь пришел на следующее утро, сразу после завтрака. Он по-хозяйски вошел в камеру и глянул на лежащего на нарах Петра Поликарповича. Он хотел сделать замечание, но посмотрел на Николая и промолчал.

— Чего звали? — спросил недовольно.

Николай выдержал его взгляд.

— Поговорить надобно, — ответил с вызовом.

— А этот чего разлегся?

— А вы думали, он плясать будет от радости, что вы ему вышку дали?

— Я ему ничего не давал, — ответил следователь, нахмурившись. — Все сделано по закону. Трибунал так решил.

Николай поднялся:

— Да какой же это закон? Ведь мы сами сдались! И вы об этом хорошо знаете.

— Ничего я не знаю. В деле есть докладная, я должен руководствоваться фактами, а не голословными утверждениями.

— Это у них голословные утверждения, а мы вам правду сказали. Да и как бы они нас поймали, ведь они мимо ехали по трассе. Если бы мы не вышли на дорогу, они бы нас ни за что не увидели.

— Ладно, хватит трепаться, — отрезал следователь. — Теперь уже ничего не поправишь. Где выписка? Мне нужно в дело подшить.

Николай подал ему бумагу. Следователь глянул и спрятал ее в планшетку, висевшую на боку. Вопросительно посмотрел на Николая:

— Кассационную жалобу будете подавать?

— Я — нет. А он будет, — без колебаний ответил Николай.

Следователь снова посмотрел на лежащего без движения Петра Поликарповича:

— Что-то не похоже.

— Я сам за него напишу, а он подпишет, — вступился Николай.

Следователь подвигал бровями и милостиво разрешил:

— Ладно, валяй. Пять минут тебе на все про все.

— Бумагу принесли?

Следователь вынул из планшета половинку листа и карандаш.

Николай пристроился за столиком. Поднял голову:

— На чье имя писать?

— Значит, так, пиши в правом верхнем углу: начальнику Дальстроя, комиссару госбезопасности третьего ранга Никишову И. Ф. от заключенного Петрова П. П., осужденного выездной сессией военного трибунала от 26.08.1941 г. Написал? Ниже пиши по центру большими буквами: кассационная жалоба. Ну и дальше сам сформулируй.

Николай быстро покрывал лист корявыми буквами и вдруг остановился:

— А что дальше писать, я не знаю. Вы уж подскажите.

Следователь крякнул с досады.

— Все вам подсказывать надо. Короче, пиши так: прошу пересмотреть мое дело и отменить вынесенный приговор, в скобках — расстрел. Обязуюсь искупить свою вину ударным трудом. Ниже поставь дату, а этот пусть распишется своей рукой.

Через минуту Николай поднялся с листком в руке, шагнул к товарищу, тронул за плечо:

— Пётр Поликарпович, ты, это, поднимись-ка на минутку, подпись твоя нужна, жалобу подать.

Ответа не последовало.

Николай потянул его за руку:

— Ну встань, не упрямься. Гражданин следователь ждет, нельзя задерживать.

— Ничего я не буду подписывать, — глухо произнес Пётр Поликарпович. — Пусть стреляют. Не хочу жить.

— Вот те раз! — Николай озадаченно почесал затылок. — Зачем же так? От тебя ведь ничего не требуется, только расписаться, а уж они сами решат, что делать.

— Не буду я ничего подписывать, отвяжись.

Следователь шумно вздохнул и покачал головой:

— Вот видишь. Сам не знает, чего хочет, а я же еще и виноват. Вот и пусти такого на фронт. Он там навоюет...

Не успел он договорить эту фразу, как Пётр Поликарпович дернулся всем телом, вскочил на ноги. Он был страшен в эту минуту. Стоял, по-

шатываясь, и смотрел на следователя. Лицо его подергивалось, челюсти ходили ходуном, глаза налились кровью.

— А ты почему не на фронте?! Чем ты тут занимаешься? Невинных людей на смерть отправляешь? А пусти тебя под пули — как ты там запоешь? Не знаешь? А я знаю. Я был под пулями, я жизнью своей доказал преданность революции. А такие, как ты, в тылу отсиживаются. Мрази, мерзавцы, холуи!

— Ты что, ты что, замолчи, дурак! — Николай обхватил его руками, прижал к себе. — Молчи, я сказал! — И, повернувшись к следователю, быстро заговорил: — Не слушайте его. Он с ума сошел от переживаний, вы же видите. Пожалуйста, уходите. Я заявление потом передам, он подпишет, вот увидите.

— Ничего я не подпишу, — рвался из рук Пётр Поликарпович, — пусть убивают, я их не боюсь!

Следователь наконец опомнился. С лица сошла бледность, он попятился к дверям. Видно было, что он порядком струхнул. Выйдя в коридор, крикнул со злостью:

— Никаких заявлений! Больше меня не зовите. Надо было вас обоих шлепнуть, тогда бы узнали у меня...

Он что-то еще бормотал и грозился — было уже не разобрать. Николай прислушивался с минуту, потом сел на нары, покачал головой:

— Да-а, брат, наделал ты делов!

Пётр Поликарпович стоял посреди камеры, руки его сжимались в бессильной ярости. Но постепенно стал успокаиваться. Эта вспышка придала ему сил, вернула к жизни. Он сделал два шага и опустился на нары. Сидел, крепко сжав руками доски. Лицо его было сосредоточено, взгляд устремлен в пустоту.

— Так вот, Коля, бывает в жизни, — проговорил задумчиво.

— Да уж вижу, — ответил тот. — Только зря ты на него набросился. Не виноват он. Не в нем дело.

— Да? — Пётр Поликарпович поднял на него тяжелый взгляд. — А кто же виноват? Почему я должен бегать по сопкам словно дикий зверь? Зачем нас тут держат?

Николай отвернулся. Сказать ему было нечего. Пальцы его теребили заявление, которое он так и не отдал следователю. Рассеянно глянул на бумажку и задумчиво произнес:

— А ведь и в самом деле расстреляют. Хватит духу.

— Да уж скорей бы, — в сердцах сказал Пётр Поликарпович. — Надоело бояться, бегать, просить. Ничего не хочу.

Остаток дня прошел в тягостном молчании. Николай ждал, что следователь как-нибудь накажет их за выходку. Но ничего не последовало. В обычное время им принесли ужин — чуть теплую кашу из магары и по горбушке хлеба. Николай съел свою порцию, а Пётр Поликарпович не притронулся к пище.

— Бери мою, я не буду, — только и сказал.

Николай хотел было отказаться, но потом рассудил, что через минуту миски унесут со всем содержимым и каша пропадет. Опыт старого лагер-

ника протестовал против такой глупости. И когда надзиратель через пару минут приказал вернуть миски, те были уже отменно пусты и блестели так, что и мыть не нужно.

Остаток дня Пётр Поликарпович пролежал лицом к стене. Подолгу глядел на темную стену перед собой и все пытался представить: как это будет? Его поведут на расстрел, поставят лицом к стене, подойдут сзади и выстрелят в затылок. Он почувствует сильный толчок, пуля пробьет кость и застрянет в мозгу, а может быть, пройдет насквозь — разорвет лицо, раздробит зубы, выбьет глаз. По лицу потечет горячая липкая кровь, и он упадет, захлебываясь этой кровью, на землю, пальцы судорожно сожмутся и разожмутся, он дернется всем телом и затихнет... А что дальше? Вечная тьма? Или новая жизнь? Что-то там церковники болтали про райские кущи. А что, если все это действительно существует — где-то там, в заоблачных высях? Попадет ли он на небо, удостоится ли такой чести? Ведь он не верит в Бога и всю жизнь презирал церковников. А если Бог все-таки есть? Если Он спросит Петра Поликарповича: «Зачем ты жил? Что ты сделал хорошего для людей? За что я должен тебя прощать?»

О-о, если бы только Он спросил! Тогда бы Пётр Поликарпович ответил, что воевал за счастье людей, боролся против несправедливости и угнетения, думал о благе обездоленных и обманутых, все свои силы отдал этому! И тогда Господь скажет ему ласково: «Да, я все это знаю. У тебя доброе сердце и правильные мысли. Ты умер за правое дело, тебя не в чем упрекнуть...»

Господь представлялся ему в виде благообразного старичка с большой белой бородой, у него были маленькие смеющиеся глаза и тихий голос, и он был совсем не страшный, а очень добрый, все понимающий, снисходительный. Он смутно напоминал кого-то. Пётр Поликарпович стал припоминать, долго мучился, крутил головой и вдруг вспомнил: был такой старичок — еще до революции. Он жил на заимке в глухой тайге верстах в двадцати от села. Держал пасеку, пас коз, обрабатывал немудреный огород с морковкой и луком. Жил с дочерью — такой же тихой и пугливой. Сколько он его помнил, старик всегда улыбался, смотрел ласково, щури свои маленькие глазки и показывая недостаток передних зубов. Видно было, что это очень добрый, бесхитростный человек. Никогда ни о ком он не говорил плохо, а жизнью своей был всегда доволен — так, по крайней мере, казалось со стороны. Да так оно и было. Хотя односельчане подсмеивались над стариком, считали его блаженным, дурачком. Уже после революции Пётр Поликарпович узнал, что старика этого убили вместе с дочерью. С дочерью перед смертью сотворили непотребство. Кто их убил — белые или красные — он так и не понял. Говорили всякое. Кто-то громко обвинял в их смерти каппелевцев, другие вполголоса и как бы стыдясь указывали на красных. Теперь Пётр Поликарпович подумал, что, действительно, это могли сделать и красные. В Гражданскую всякое случалось. Зверствовали и те и эти. И село их поделилось поровну, кто-то был за новую власть, а кто-то ненавидел большевиков. Но убивали все они одинаково — до смерти, нередко зверствуя. И если раньше Пётр По-



ликарович думал об этом как-то отстраненно, как о чем-то неизбежном, без чего нельзя обойтись, то теперь ему вдруг сделалось страшно. Зачем погибло столько народу? Почему брат пошел на брата, а сосед на соседа? Зачем они разрушили весь этот уклад, складывавшийся веками? Так ли уж плохо они жили? И что получили взамен?

Ответов на эти вопросы не было. Как не было и спокойствия. В последние дни своей жизни Пётр Поликарпович мучился от осознания какой-то страшной ошибки, которую он совершил. Но никак не мог понять: что он сделал не так? Мысли его все время возвращались к одному: скоро он должен умереть. Даже если расстрел отменят, жизнь все равно кончена. Зачем же тогда жить? Нет уж, лучше сгинуть теперь. Разом поставить точку — и дело с концом.

Да, он приготовился к смерти, признал ее правоту и подспудную логику. Но каждый раз вздрагивал, когда в замке скрежетал замок и дверь распахивалась. Ждал, что ему скажут «на выход без вещей». Особенно томителен был третий день. Он уже знал, что на рассмотрение жалобы отводится трое суток; если за это время не приходит приказ об отмене казни, то приговор приводится в исполнение. А он даже не подал свою жалобу. Следовательно, расстрелять его могли в любой момент. Но дни шли за днями, а его все не расстреливали.

Через две недели лагерное начальство решило, что нечего приговоренному сидеть без дела. Петра Поликарповича стали выводить на работы. Стоял уже конец сентября, заметно похолодало, по утрам на траве блестела изморозь. Ежась от легкого морозца, Пётр Поликарпович шагал за конвоиром по лагерю, оглядывая черные бараки, и недавний суд и приговор казались ему каким-то сном. Вот он, как и все, идет на работу, сейчас ему дадут лопату и он будет нагружать землю на носилки, а потом носить куда скажут. Ему хотелось оказаться в обычном бараке среди «нормальных» заключенных. Он уже согласен был вставать в шесть часов, а потом работать весь день без роздыха, — только бы не убивали! Но в обычный барак его не переводили, на то не было права у местного начальства. И расстрелять Петра Поликарповича тоже не могли. Местному лагерю он уже не принадлежал. Судьба его решалась в более высоких инстанциях.

Двадцать третьего октября, глубокой ночью, Петра Поликарповича разбудили. В камере он был один.

Пётр Поликарпович сперва ничего не понял. Подумал, что его забирают на этап, стал торопливо собирать свои вещи.

— С собой ничего не брать, — произнес строгим голосом военный в белом полушубке и мохнатых якутских торбасах.

Пётр Поликарпович приостановился:

— Но это мои вещи!

— Они тебе уже ни к чему.

Пётр Поликарпович резко выпрямился, вытянул руки по швам:

— Что ж, я готов.

Его вывели из барака и повели к воротам — военный с пистолетом в кобуре на поясе и два бойца с винтовками, все трое в белых полушубках и валенках. Лишь Пётр Поликарпович был одет не по-зимнему — в телогрейке, в черных стеганых штанах, на ногах ботинки, на голове убогая шапчонка.

У ворот была минутная остановка. Потом створки раскрылись, и они вышли наружу.

Сразу от ворот они пошли влево, вдоль трехметрового забора из черных покореженных досок. Пётр Поликарпович вдруг подумал, что его ведут в другой лагерь или куда-нибудь в поселок по казенной надобности, а он просто неправильно понял военного. Но когда они свернули вправо и пошли вниз к реке, сомневаться перестал. Надежда, вспыхнув, как искорка в непроглядном мраке, тут же и погасла.

В эти последние минуты он чувствовал необычайную легкость. Грудь дышала глубоко, жадно и покойно. Морозный воздух свободно вливался в легкие, отчего кружилась голова, и все вокруг казалось сказочным, таинственным: и черное небо, на котором остро блестели синие, розовые и белые звезды, и черные горы вдали, и шумевшая под берегом за раскидистыми кустами речка. Земля была укутана толстым пушистым снегом, мороз стоял изрядный, но Пётр Поликарпович не чувствовал его.

В последнюю минуту, стоя на заснеженном бруствере, спиной к реке, а лицом к расстрельной команде, Пётр Поликарпович пытался понять, в какой стороне находится его дом.

Военный вынул из-за пазухи лист бумаги и стал зачитывать приговор:

— Именем Союза Советских Социалистических Республик...

Слова вырывались из глотки вместе с морозным паром и без остатка растворялись в черной пустоте, сами становились пустотой. Пётр Поликарпович не слушал, словно это не имело к нему ни малейшего отношения.

Военный возвысил голос и смолк, спрятал бумагу обратно за пазуху.

— Отделение, гтовьсь!

Щелкнули затворы, поднялись стволы.

— Целься! Пли!

Выстрелов Пётр Поликарпович не услышал. Его с силой ударило в грудь. Он хотел глянуть, что это такое, и в ту же секунду темное небо со звездами и заснеженный берег завертелись у него в глазах и он полетел куда-то назад и вбок, уже не чувствуя ничего, не понимая, не помня себя.

Военный спустился в неглубокую ямку к лежащему на спине телу, наклонившись, заглянул в лицо, потом поднес ко лбу заранее приготовленный наган, приблизил вплотную и выстрелил. Голова дернулась и застыла на снегу, пальцы крепко стиснули горсть снега. В полуприкрытых глазах искрились звезды, от лица шел густой пар.

Военный выпрямился, помедлил чуток, потом спрятал наган в кобуру и молвил удовлетворенно:

— Готов.

Вылез на бруствер, и все трое быстро зашагали обратно в лагерь.

Вместо послесловия

Пётр Поликарпович Петров родился 25 января 1892 г. в селе Петровском Канского округа Енисейской губернии в бедной крестьянской семье. Окончил двухклассную школу. В октябре 1915 г. мобилизован в царскую армию. Службу проходил в Канске, занимая должность младшего писаря в полковой канцелярии. В марте 1917-го, после Февральской революции, его избирают в первый Канский Совет рабочих, крестьянских и солдатских депутатов. 14 октября того же года он избирается делегатом Первого Всесибирского съезда Советов. Петров принимал активное участие и в работе Второго Всесибирского съезда Советов. Он дважды избирался в состав ЦИК Советов Сибири (Центросибирь).

В декабре 1917 г. в Иркутске вспыхнуло восстание юнкеров. П. П. Петров был среди защитников Белого дома, в котором располагался ревком, штаб красной гвардии и Центросибирь. Во время Гражданской войны он воевал в партизанской армии Кравченко и Щетинкина. В марте 1919 г. избран председателем Объединенного Совета Степно-Баджейской партизанской республики, был также членом агитотдела 5-й Красной армии.

В 1920 г. по распоряжению командования армии Петров был направлен в Томский университет. Вскоре он переводится в Красноярск и поступает в Институт народного образования. После окончания института в мае 1923 г. Петров несколько лет работал инструктором Енисейского союза кооператоров в Красноярске, завучем красноярского детдома водников.

В 1925 г. вместе с супругой Петров отправился в поездку по местам партизанских боев. В этот период начинающий писатель работает над небольшой историко-документальной повестью «Лесные ветры». Это был первый его опыт литературного творчества. Одновременно с поэмой «Партизаны» Петров работает над очерками о Степно-Баджейской республике. Поэма «Партизаны», напечатанная в новосибирском журнале «Сибирские огни» (1927, № 6), была восторженно встречена участниками партизанского движения. Отдельным изданием она вышла в Новосибирском книжном издательстве (1928). В этом же году в «Сибирских огнях» опубликован роман «Борель», принесший писателю широкую известность.

В 1929 г. семья Петровых переезжает в Иркутск. В 1931 г. в первом номере только что созданного журнала «Будущая Сибирь» публикуется его небольшая повесть о декабрьских боях 1917 г. в Иркутске «Кровь на мостовых», затем повесть «Саяны шумят». Отдельной книгой издан роман «Крутые перевалы».

В 1934 г. в печати появляется роман П. П. Петрова «Золото». В том же году он участвует в работе I Всесоюзного съезда советских писателей, где лично знакомится с А. М. Горьким. По совету последнего Пётр Поликарпович остается в Москве, сотрудничает с журналом «Колхозник», где в то время работал также В. Зазубрин. Через некоторое время

Петровы возвращаются в Иркутск, где писатель начинает работать над романом «Половодье». Это последнее крупное произведение Петрова, увидевшее свет при жизни автора.

За десять лет литературной деятельности П. П. Петров опубликовал поэму, 4 крупных романа, 5 повестей, рассказы, очерки, статьи и воспоминания. В архиве остались неопубликованные романы «Ветошь» и «Подсада», повесть о партизанском движении «Памятная скала», начальные главы второй книги «Половодья».

9 апреля 1937 г. П. П. Петров неожиданно был арестован. Последовали нелепые обвинения, чудовищные допросы, избиения и угрозы подвергнуть пыткам молодую жену. В заявлении на имя начальника УНКВД по Иркутской области Пётр Поликарпович недоумевает: «Психология следствия, как можно тяжелее меня обвинить, навязать вещи, о которых я ничего не знаю... Ни одного оправдывающего меня мотива в протокол не занесено... А силы все слабеют, память меркнет, воля к жизни иссякает. Сейчас от меня добиваются раскрытия контрреволюционной организации, а я ее не знаю. И отуманенный мой мозг доходит до чудовищных вещей: я пытаюсь сфантазировать эту организацию, но приходит реальное мышление, и я проклинаю свою большую фантазию, день своего рождения... И это я, ровно семь лет таскавший винтовку для укрепления Советской власти, написавший для той же цели несколько книг, о которых не раз хорошо говорил М. Горький».

В августе 1939 г. он пишет очередное письмо начальнику УНКВД: «Нахожусь под арестом 29-й месяц, содержусь по первой категории, в одиночной камере... Просто удивляюсь крепости моего мозга. Не понимаю, зачем и кому нужно держать меня почти три года в этих непосильных человеку условиях, жестоком бездействии, обрекая на медленное тление, толкая на последний роковой шаг?»

17 апреля 1940 г. Особое Совецание при НКВД СССР заочно приговорило Петрова П. П. к восьми годам исправительно-трудовых лагерей. Он был отправлен на Колыму, где провел 15 месяцев — с июля 1940 г. по октябрь 1941 г.

31 мая 1941 г. совершает побег из лагеря. Но бежать на Колыме некуда. На 26-й день беглецов задержали на 161-м километре Тенькинской трассы. По приговору военного трибунала 23 октября 1941 г. писателя расстреляли.

Супруга Петрова — Александра Антоновна вместе с дочерью Светланой долгие годы продолжала ждать мужа, не зная о его гибели.

1 марта 1957 г. постановление Особого Совецания от 17.04.1940 г. было отменено военным трибуналом Забайкальского военного округа. Дело на П. П. Петрова прекращено за отсутствием состава преступления. Писатель был полностью реабилитирован.

В 1978 г. иркутскому Дому литераторов присвоено имя Петра Поликарповича Петрова.

Виктор САЙДАКОВ

«ПОЛЫНЬЮ ТЕРПКОЮ И СОЛЮ...»

* * *

Это лето с рассыпными и короткими дождями,
Что утрами бьют по стеклам, будят древнюю тревогу,
И воды холодной горечь пью я жадными горстями,
Ухожу за край поселка на раскисшую дорогу.
В кисее дождя июльской разглядеть пытаюсь садик,
Где печально доцветают мамой брошенные мальвы.
Каждый год цветут, кивая, хотя их никто не сажит —
По другим садам гуляет много лет уж моя мама...
Доберусь до дальней гривы, где у озера стояла
Батей сложенная крепко одинокая скирда.
Здесь мы с ним косили сено и рыбачили, бывало,
И охотники съезжались на ночной костер сюда.
Дождь закончится, над яром разливают перламутры
Сотни тысяч разных радуг, отраженные в воде,
Над травой туман белесый, словно кто-то дунул пудрой,
И она как пыль над стадом в старой русской слободе.
Я дождусь, когда стемнеет и зажжет огни поселок,
И на шум его невнятный буду медленно идти,
То услышу лай собаки, то отдельный крик веселый,
И покажется, что вечность к дому я уже в пути.
Мне навстречу попадутся овцы, кони и коровы.
Как они живут ночами на родной степной траве?
Пастухи, наверно, знают — они тоже древней крови,
Зыбко дремлют на телеге, сны читая в голове.
И тревожно и отрадно в мировом кочевье вечном
Видеть горсть огней призывных, их родительский привет,
Как они для нас желанны в наших гнездах человеческих,
Как живителен для сердца всепрощающий их свет...

* * *

Не грусти — это просто предзимье,
Есть в России такая пора,
По оврагам, логам и низинам
Волглый ветер кочует с утра.
Лес осыпался, берег стал ниже,
И печалью подернут пейзаж,
Даже пес приблудившийся рыжий
Растерял свой веселый кураж:
Все скулит, и не ест, и вздыхает,
Вопрошающе-грустно глядит.
Неужели и он понимает,
Как душа перед снегом болит?
Как томится и немочи множит
И, пытаясь сбежать от обид,
Еще больше запутаться может
Среди русских осенних раки.
А под вечер... О, как осторожен...
Опускается сверху снежок,
Укрывая предзимье осторожное
И спасая от долгих тревог.
И я рад, что другую работу
Для души приготовил мне снег,
А мой пес, убежав за ворота,
И ликует, и лает на всех...

В жару

Здесь пшеничный покой за домами
Крепко пахнет травой сухой
И степной настоявшийся зной
На село наплывает волнами.
Он качает горячую синь
И знакомый с рожденья мираж,
То озер добавляет в пейзаж,
То лесов из берез и осин.
Выгорает июльский зенит,
Завтра бросится осень в погоню,
А пока в раскаленном пригоне
Тонкой мушкой лето звенит...
Ходишь-бродишь и спать не уснешь,
Сердце плавится в знойной усладе,
И под ночь, с маетою не сладив,
За пригорок на речку уйдешь...





Будешь долго сидеть у плотины,
 Наблюдая, как с темного дна
 Добывает прохладу луна,
 Поднимая себя над равниной.
 Там костер разведя меж полян,
 Стерегут ее желтую убыль
 Молодой и застенчивый Врубель
 И косматый стареющий Пан.

* * *

Озолоти меня, сентябрь,
 Накрой летучею листвою,
 Расправь оранжевые стяги
 Над листопадною страной!
 Тут каждый шорох, каждый шаг
 Теперь так звучен и понятен,
 И, зажимая грусть в кулак,
 Ты бродишь среди рыжих пятен.
 Рассыпь червонцы простакам
 Под ноги прямо — не жалеи!
 Поэтам в радостный стакан
 Дождей задумчивых налей —
 Хмельных и отдающих прелью,
 Где в каждой капле по державе,
 И есть дежурный по апрелю,
 И хвалит Пушкина Державин.
 Ветрами желтыми спаси,
 С кочующей в полях листвою
 В родные степи унеси
 Меня с печальной головою!
 Там в сердце выстрелит простор
 Полынью терпкою и солью,
 Там травы живы до сих пор
 И скачет перекати-поле...

В детстве

Июльский ветер отдувает штору,
 Цветет шиповник нежно и свежо,
 Илья-пророк катает бочки в гору,
 Отец под яром завершил стожок.
 А гром гремит то далеко, то близко,
 Макушка лета — сенокосный рай,



Мы землянике кланяемся низко
 И жжем костер у леса до утра.
 И с легким дымом отлетает детство,
 А нас несет восторженной волной,
 О господи, как бьется мое сердце
 И как не хочется домой...
 И разговоры, споры, ликованье,
 Как будем жить в волшебных городах,
 Подумаешь, с деревней расставанье,
 Где ползимы в сарае да в пимах!
 Нам тех чудес потом по горло хватит...
 Но так хотелось город победить,
 Не сдав слова, оброненные батей:
 «Ты только нас, сынок, не подведи...»
 У сердца непреложные законы:
 Я тоже бегал ночью на вокзал
 И, земляков завидев у вагонов,
 Был счастлив, словно дома побывал...
 Но всё потом, теперь — зарницы, звезды,
 Цикады воздух звоном шевелят,
 И перепелки сетуют, что поздно,
 Что спать пора, нам хором говорят.
 Рассвет пробьет березовые листья,
 И мы на солнце новое бежим,
 Спешим... И не остановиться...
 Куда же вынесет нас жизнь?

* * *

Всё метели да ветры в лицо,
 Повторяю заснеженный путь,
 А назад не могу повернуть —
 Держит сердце родное крыльцо.
 Память колет сильнее, чем снег,
 Возвращая к забытым лесам,
 Через душу мою к небесам
 Белоствольный дрейфует ковчег.
 Он уносит с собой, чтоб сберечь,
 И прощение в птичьих очах,
 И дорогу в бордовых лучах,
 И берез торопливую речь
 На осеннем прощальном ветру,
 И тот горький пастушеский дым,
 Что кружил над оврагом степным
 И до них долетал поутру...

Не попросишь аванс у судьбы,
Истлевают стволы без следа,
А ведь мама ходила сюда
И по ягоды, и по грибы.
Угасает последний привет,
И в сомненьях подводишь черту:
Разве можно любить пустоту,
Отраженный березовый свет?
Так зачем в бесконечный буран,
Не мигая, сквозь слезы идешь,
Среди прошлых загубленных рощ
И пургой растревоженных ран?

* * *

*Я бестолковую жизнь,
как мулла свой коран, замусолил...*
О. Мандельштам

Как марты эти гибельны и сини,
Листаю годы, а везде одно:
Исход зимы, истаявшие силы
Да стук звезды в закрытое окно...

Куда же делся этот звонкий, гулкий
Хруст-звень-ледок по мартовским ночам,
Звучащий в каждом нашем переулке,
Где было столько призрачных начал?
Я пропадаю, к рамам припадая,
И жизнь свою не ставлю ни во что,
Мне снова снится мама молодая
И мой отец в заношенном пальто.
Я жизнь свою, как малую пылинку,
Затер в руках — не стало ничего,
Я растворюсь в коричневом суглинке,
Никто не вспомнит взгляда моего.
Я так смотрел...



Виктор СТАСЕВИЧ

КАРТОЧНЫЙ ДОМИК

Р а с с к а з

Жизнь — как карточный домик: складываешь, строишь, боишься дохнуть на него, такой он хрупкий и красивый, и ладно все, но вдруг вываливается одна карта, от одного неловкого прикосновения, от легкого дрожания в кончиках пальцев, и вот он рушится, как все твои мечты, построенные на иллюзиях. И уж не знаешь, как дальше жить, остается уповать на веру, что есть опора надежде.

Видимо, благодаря такой надежде и смог он сохранить свою жизнь, смог после каждого краха снова строить дом, новый, карточный, хрупкий, может, уже не столь красивый, но как же без него.

В юности, переполненный романтикой путешествий и пропитанный патриотизмом, кинулся в военкомат, где с остервенением требовал, чтобы его записали в десант и обязательно отправили в Афганистан. Военком, полковник с грустными глазами, поседевшими висками, двумя глубокими складками вдоль рта и красноватым шрамом на щеке, долго смотрел на него и, шумно вздыхая, почему-то именно ему говорил об опасностях и риске, а у него ведь одна мать... Но он ничего не слушал, громко говорил, размахивая руками, говорил вещи, неожиданные для самого себя, призывая военкома к патриотизму и партийной ответственности. Потом не мог понять, почему его так понесло, почему он, робеющий перед каждым пристальным взглядом взрослого, вдруг сорвался на такой пустой пафос.

После таких слов военком побагровел, не поворачиваясь, сквозь зубы сказал стоящему у него за плечом молодому лейтенанту:

— Обеспечим мы ему место для подвига, — и, развернувшись, сунул папку с его документами растерявшемуся офицеру.

Так он, Семён Михайлович Росомахин, попал в учебку недалеко от Ташкента, а через полгода уже высаживался на бетонку под палящим кабульским солнцем.

Резкий запах выхлопов от гудящих двигателей самолета, громкие команды, рев двигателей подъезжающих тяжелых грузовиков, толкотня у бортов и мелькающие афганки, еще не выжженные солнцем. Запрыгивая в машину, он чувствовал свое пружинистое тело, его радовала эта сумато-

ха погрузки. Себя он уже видел героем, шагающим по деревенской улице с медалями на груди, отливающими ярким светом. Девки заглядываются на него, мужики степенно здороваются, предлагают папиросы, неспешно, с подчеркнутым почтением ведут разговор, выпуская густые струи дыма... Ехал он в тряском грузовике и строил, мысленно строил свой карточный домик; тепло было в груди, а запахи чужой земли пьянили.

На первом же боевом задании они попали в засаду; его машина наскочила на фугас, кто-то погиб, кто-то был тяжело ранен, прятался за камни, поливал из автомата... все это слилось у него в единый комок событий. Он лежал у переднего колеса оглушенный и сквозь какую-то пелену видел выщербленную резину, погнутый бампер, горящий кусок бесформенного тела, ощущал запах сладковатого, но едкого дыма и соллярки. Голова наполовину была погружена в мягкую, немного упругую пыль, взбитую колесами проходящих машин. Верхний слой ее прогрелся, и эта горячая пыль забивала уши, ноздри, глаза.

Неожиданно из-за камней появились чужие люди в странных одеждах. Они, пригибаясь, шли к нему. Один, бородатый, с густыми бровями, на которых осела густая пыль, ослабилась, увидев его открытые глаза, и с размаху ударил прикладом автомата. Все растворилось во тьме, остались лишь прикосновения, странная тряска и тепло под спиной. Очнулся ночью; перед глазами раскачивалось звездное небо. Почувствовав жесткие веревки, понял, что его привязали к какому-то животному и везут непонятно куда. С этой тяжелой мыслью вновь ушел в темноту. Когда пришел в себя, то первое, что увидел — резкие солнечные лучи, пробивающиеся через забитое досками небольшое окно в кривой саманной стене. Он лежал на земляном полу, ныла голова, горели руки и ноги, губы пересохли, хотелось пить. Попросил. Кто-то в углу зашевелился и по-русски сказал, что, слава богу, очнулся, а то местные не будут долго возиться с ним, выбросят в пропасть или в яму, где закидают камнями. Говоривший пододвинулся, и он увидел человека в изорванной гимнастерке, с плоским лицом, бесцветными глазами и потрескавшимися губами. Неизвестный взял кувшин, налил воду себе в руку и плеснул ему в лицо. Семён резко вздохнул и снова попросил попить. Ему помогли сесть и протянули глиняный кувшин, предупредив, чтобы не торопился.

— А то заблудёшь все, а нам тут жить — придется дышать твоей гадостью, а своей хватает, куда уж больше-то...

— Где я? — тяжело дыша, спросил Семён.

— В кишлаке, у пуштунов... Название я сам еще не знаю, сижу здесь всего неделю. А до этого наш тут был, повесили уже два дня как... не хотел работать, все норовил сбежать... вывели — и с концами. За ним и меня выволокли, бросили к его ногам под виселицей и что-то громко говорили. Слов не понял, а смысл дошел: мол, рванешь в горы, все равно поймает, наши это места, каждый камень знаем, так что не рыпайся. Вот я и не рыпаюсь. Работаю за кусок лепешки и кувшин воды.

Понял Семён, что рухнул его карточный домик, рухнул с грохотом, оглушившим похлеще фугасного взрыва.

Больше года он таскал в кишлаке камни, месил глину с навозом и сеном, формовал глиняные кирпичи, строил кошары, дома, заборы. Трудно было первое время, но через пару месяцев стал немного понимать чужую речь. Тогда высокий пуштун с седой бородой предложил им с напарником принять веру, а потом жениться и жить правоверной жизнью мусульманина. Сосед по несчастьям после недолгих раздумий согласился, а Семён отказался: веру не приучен менять, не портянки. Пуштун усмехнулся и увел соседа, а он лег на сено в углу сарая и задумался, какая же у него вера, комсомольская или та, бабушкина.

Так и жил, отупело проводя долгие вечера, разминая ноющие мышцы, перевязывая тряпьем мозоли. Несколько раз к нему приходил бывший сосед. Он уже был в пуштунской одежде, грубой шерсти, но добротной. Уговаривал, даже принес мяса и козьего молока. Последний раз пришел с юной женщиной, похвастался, что женился, механиком у них в кишлаке, в почете. Опять стал уговаривать, но Семён молчал, отвернувшись. Женщина, пряча лицо за платком, робко поставила у его ног чашку с рисом, кувшин молока и положила несколько свежих лепешек. Больше он эту пару не видел, но запах лепешек долго преследовал его в беспокойных снах. Вот тогда он стал строить свой новый карточный домик, переключая его робкими мечтами о возвращении с запахом лепешек и их теплом.

Однажды его погрузили в выдавший виды грузовичок, прежде завязав глаза и сковав руки и ноги. Он подумал, что его хотят утопить за строптивость, но потом понял, что не резон пуштунам пускать его в расход, повезут на работы в ущелье. Как-то раз было такое — тогда он дня три таскал камни на источник, обкладывая его и укрепляя. Но в этот раз ехали слишком долго, пока не остановились у небольшого речного порога, за которым был протянут навесной мост. На мост его и повели. Сняли повязку, и на другой стороне реки он увидел других пуштунов и своих, в выцветших гимнастерках, в брониках и с автоматами. Семён решил, что это новые пленники, но удивился, почему они при оружии. А когда его вытолкали вперед, он увидел, как наши развязывают других пуштунов, и понял: обмен пленными.

Не сразу осознав происходящее, невольно потянулся за выходящими с моста пленными пуштунами, но его остановила сильная рука и спокойный голос:

— Не спеши, сынок. На сегодня хватит.

Есть он не мог, мял хлеб в руках и вдыхал его запах. Потом была теплая броня бэтээра, раскачивающаяся антенна, дружеское похлопывание по спине...

И вот вновь рухнул его карточный домик. Он был потерян, ходил по части и чужими глазами смотрел на окружающих. После спецпроверки и санчасти его отправили в Ташкент, где через пару месяцев комиссовали.

В поезде он ощутил, что новый карточный домик, теперь уже большой, с новой жизнью, стал расти на глазах. Ехал и радовался каждому встречному, слушал забытую речь, наслаждался суетой вокзалов, пропахших кисловатыми запахами, подходил к редким киоскам, ларькам,



останавливался в небольших кафе и смотрел, как люди разговаривали, спорили, поглощали пищу, приправляя ее хорошей стопкой водки. Иногда ему наливали, но он всегда отказывался, боясь, что расплачется, как тогда в части, когда ему во время обеда плеснули спирту.

Потом снова ехал, стоя в тамбуре у открытого окна, и все не мог надышаться родным воздухом. А как вышел из автобуса на деревенской остановке, испугался, сел на лавку, задумался, куда же он приехал, и тут ощутил забытый запах свежих лепешек и услышал блеянье овец. Отгоняя странные мысли, он снова взял свой убогий чемоданчик и зашагал к дому, но чувство, что он вернулся куда-то не туда, не покидало его.

Встречные, узнавая, шарахались от него, а выпивший сосед почему-то спросил, странно кося глазом:

— Снова помирать пришел?

Дома мать, увидев его, осела, стала креститься и плакать. У него защемило в груди, он бросился к ней, попытался поднять, но так и сел рядом с ней, гладил по морщинистому лицу, вытирал слезы и смотрел в родные глаза.

Мама только и повторяла:

— Вымолила, вымолила тебя, роднучечка...

Потом ему рассказали: полтора года назад в деревню пришел «цинк» с «его» телом, как раз через пару недель после того, как он попал в плен. Похоронили с почестями, даже из соседней части приезжали солдаты с офицером, дали залп. Колхозный парторг организовал. А тут — живой и даже не раненый. Родные смотрели на него как на воскресшего покойника, а мать говорила, что сразу поняла — не он лежал в этом железном гробу, чувствовала.

На следующий день повели его на кладбище. И там, как только он увидел памятник со своей фамилией и фотографией, понял, что вновь все рухнуло, сломалось. Табличку менять запретил, сказав, что если не выяснит, кто там лежит, то пусть будет по-прежнему: недостойно солдату лежать без имени, даже если оно и не его, оскорбительно это.

На кладбище он зачистил: садился на скромную крашеную лавку у ладно сваренной пирамидки с красной звездой, смотрел на себя улыбающегося и пил — то ли за упокой, то ли за здоровье. Несколько раз ездил в военкомат, виделся со знакомым полковником, отводил взгляд и просил помочь опознать того парня. Военком хмурился, доставал папиросы и говорил, что сделает все возможное.

Семён с самого возвращения ходил как потерянный, не смотрел ни на кого, иногда даже не здоровался ни с кем из старых знакомых. Каждый день пропадал на кладбище, приносил туда воду и свежий хлеб, ломал его и ел, роняя крошки на могилку. Когда брал с собой водку, то пил, разговаривая с могилкой. Для него уже не было роднее человека, чем этот парень без имени и звания.

Родственники махнули на него рукой, мол, свихнулся, бездельник, сидит у матери на шее, свалился на нашу голову, да еще в плену был. После его мнимых похорон они уже приценивались к их дому, построен-

ному еще при отце, заводили разговор с матерью о завещании, да она все откладывала, что-то чувствовала...

Неожиданно пришло письмо: выполнил свое обещание полковник. Груз «двести» тогда по ошибке отправили не по адресу. Оказалось, что они с тем солдатом из одной части, а родом он из такой же алтайской деревни. И были они двойными тезками, совпадали имя и отчество, а на фамилию нетрезвый прапорщик не обратил внимания. А что до адреса, то много деревень в Алтайском крае созвучны, полным-полно их, Волосяных да Курлих.

— Поеду на родину к погибшему тезке, — решил Семён, взял свой штурмовой рюкзачок, куда кинул пару рубашек, надел гимнастерку, «афганку» и рано утром отправился на автобус, идущий в районный центр, а с пересадкой — и дальше, до нужной деревни.

Такая же остановка, та же лавка, да и деревня не сильно отличалась, разве только место было живописней его малой родины. Небольшой пригорок, на котором раскинулась деревня, под пригорком сливалась пара речушек, к ним примыкал ручей. Дома утопали в цвету черемух и яблонь, такого великолепия он не видел давно. Изредка по улице пылила легковушка, ребяшня на велосипедах, крича и смеясь, неслась к реке. Чистые лужайки, крашенные в один цвет заборы — сельсовет тут следил за порядком. Ласковое солнце, свежий воздух, наполненный запахом цветов, гул пчел среди ветвей.

Он спросил адрес. Аккуратный двор был чисто подметен, по краю шел цветник, вдоль которого бежала дорожка из старого кирпича. За забором виднелся огород и сараи для скота. Чувствовалась уверенная рука хозяйина.

Калитка, сваренная из обрезков труб, тихо подалась на смазанных петлях. Семён вошел, огляделся, нет ли собаки, но было тихо. На краю недавно вымытого крыльца, еще сырого, аккуратными рядками выстроилась обувь, от поношенной до относительно крепкой. Неожиданно калитка, ведущая к постройкам и огороду, открылась и с пучком зелени вбежала девушка с непокорной челкой. Она торопилась, поэтому сразу не заметила Семёна, а когда увидела, резко остановилась, подалась вперед, видимо спутав с кем-то, но тут же замерла. Помолчала, рассматривая его гимнастерку и одинокую медальку, которую он зачем-то повесил перед выездом. Теперь ему было стыдно, он смутился, стянул афганку и хотел поздороваться, но слова застряли в пересохшем горле. Девушка вскинула голову, он увидел серые глаза, веснушки и маленький носик. Губы ее были крепко сжаты; она попыталась что-то сказать, но на глазах выступили слезы, и девушка кинулась в дом.

Из-за незакрытой двери послышался шум, и на порог вышел седой высокий мужчина, а за ним, держась за его рукав, полная женщина с гладко зачесанными волосами.

Мужчина подошел к нему, протянул руку и представился:

— Михаил.

Пожатие сухой большой ладони было крепким, пальцы в мелких трещинах, шершавые. Когда Семён назвал свое имя, девушка, оказавшаяся на крыльце, заплакала, а женщина потянулась к нему и обняла. От неожиданности у него тоже выступили слезы, теперь он снова не мог произнести ни слова, но мужчина прикрикнул на женщин и повел его в палисадник, усадил в уютное резаное деревянное кресло, из рядом стоящего шкафчика достал графин с подкрашенной жидкостью, плеснул в стопки. Они выпили.

После этого мужчина спросил:

— Однополчанин?

— Нет, тезка, — хрипло ответил Семён.

— Хорошо, — неопределенно произнес Михаил и снова плеснул в стопки, крикнув за плечо, что они тут.

Быстро зашуршали шаги в палисаднике, вбежала девушка с двумя чашками, наполненными моченой брусникой и огурцами, поставила принесенное на стол, стрельнула глазами на Семёна и побежала обратно.

— Танька, младшая, — пояснил мужчина и опрокинул стопку. Из нагрудного кармана вытащил пачку «Памира», с трудом достал последнюю сигарету и громко крикнул, чтобы ему принесли новую пачку.

Семён не знал, как начать разговор, а Михаил тоже тянул, не спрашивая, глубоко затягиваясь и шумно выпуская дым. Он снова взялся за графин и, наливая, предложил:

— Не тяни, рассказывай, пока женщины на кухне суетятся. Видел его?

— Нет, только... — Семён замолчал.

— Говори, солдат, не на обкомовском приеме, говори как есть! — жестко оборвал его Михаил.

— Только могилу видел...

Мужчина крякнул, кинул сигарету под ноги, вздохнул, встал, достал из шкафа уже граненые стаканы и налил себе полную, а гостю — половину. Выпил залпом, не садясь. Семён также хватил крепкого напитка. В это время вновь прибежала девушка, увидела, что отец пьет из стакана, хотела ему что-то сказать, но осеклась на полуслове.

Отец же коротко ей бросил:

— Зови мать!

Татьяна поставила тарелки с закуской, достала пачку сигарет, положила на скатерть и побежала в дом.

Михаил сел, взял пачку, стал резко ее рвать, пальцы дрожали, смял, так и не вытащив сигареты. Оперся о стол, положив голову на руку, и спросил:

— Где?

Семён назвал свою деревню.

Мужчина поднял голову и посмотрел на него мутными глазами, пожал недоуменно плечами:

— Как так?

— Перепутали, — ответил Семён и уже сам плеснул крашеной самогонки ему и себе в стаканы.

В палисадник вошла женщина, опираясь на руку дочери. Она села на краешек стула, с мольбой и надеждой посмотрела на Семёна, но он отвел взгляд и резко опрокинул стакан. Хозяин тоже выпил и уже твердым голосом сказал, обращаясь к женщине:

— Похоронили нашего Сёмку, нету его, теперь уже точно.

Женщина заплакала, за ее спиной заныла девушка.

Михаил смотрел на стол, и слезы катились по его обветренному лицу; потом он смахнул их и цыкнул на женщин:

— Хватит! Ты, мать, выпей... да и тебе, Танька, надо бы принять. Давай, служилый, разливай и рассказывай, что и как...

Вечером следующего дня собрались многочисленные родственники и соседи. Пришел даже председатель колхоза и парторг с главным агрономом. Каждый выслушал историю, рассказанную Семёном. Вспоминали, как к ним приезжали из военкомата, говорили, что пока непонятно, куда делся их сын, что его обязательно найдут, где бы он ни был. А она какое дело — под боком был...

В гостях Семён пробыл два дня, потом на старых «жигулях» он с хозяевами отправился на кладбище. По пути в районном центре заказали новую табличку и керамическую фотографию.

Когда приехали в его родную деревню, сразу завернули на кладбище. Поплакали, повспоминали... Мать тесно робко предложила мужу перезахоронить сына, но тот резко ее оборвал — мол, где судьбой определено лежать, там и будет, не нам решать.

Табличку на памятнике поменяли. Брат пообещал, что закажет каменный обелиск, и в ночь они уехали.

— Работы много, — отмахнулся Михаил от предложения Семёна остаться, а когда сел в машину, добавил: — Ты уж наведай нас, теперь мы не чужие.

Уехали, а Семён через пару дней вновь засобирался к ним. Мать удивлялась, зачем снова тревожить людей, а он не знал, что и ответить.

В этот раз не стал надевать гимнастерку, взял свой парадный костюм, попросил немного денег, впервые пообещав вернуть с первой же полочки — мол, на работу он теперь обязательно устроится. Мать с тихой радостью вздохнула, открыла маленькую сиреневую шкатулку, где рулончиком лежали скромные сбережения, достала деньги и все протянула ему. Семён вытащил пару купюр, остальное положил на место и уехал.

К полудню, когда он добрался до деревни тетки, Михаил был в поле, дочь — в детском садике, где работала воспитательницей. Встретила его мать, усадила за стол в палисаднике, принесла кастрюлю с наваристым борщом, достала наливки, пояснив, что самогонку у них пьет только отец, налила ему и себе. Вскоре пришла Татьяна, увидев Семёна, покраснела, улыбнулась и пошла переодеваться. И уже сидя за столом, когда мать отправилась встречать подъехавшего на тракторе Михаила, Семён спросил Татьяну, сам себе удивляясь:

— Выйдешь за меня?

Она уронила ложку в тарелку, посмотрела на него, опустила глаза, качнула головой, тихо сказала: «Да...» — и выбежала из палисадника, во дворе наскочив на отца и чуть его не зашибив. Тот, удивляясь, подошел к столу, пожал гостю руку, покачал головой:

— Ох уж эти бабы... — и, подмигнув, добавил: — И без них нельзя.

А Семён, как в тумане, вдруг выпалил:

— Михаил Степанович, отдайте за меня вашу дочь!

Михаил опешил, посмотрел на него и, крикнув, полез в шкафчик доставать заветную бутылку. Поставил ее на стол, покачивая головой и вздыхая. Вернувшаяся жена, завидев это, утирая слезы краем передника, вздохнула:

— Может, хватит, сердце-то не резиновое, Сёмку не вернешь... а тут еще и тебя бы не потерять...

— Не говори глупостей, мать, — поднял стопку хозяин. — Жизнь-то вон как складывается: потеряли мы сына... и тут же приобрели другого. Женить их будем!

— Кого? — не поняла Мария Степановна.

— Да Семёна и Татьяну же, — махнул головой Михаил.

— А что скажет Таня? — растерялась мать.

— А что она скажет, — ухмыльнулся хозяин, посмотрел на жену и рассмеялся: — Да она в него втрескалась, как только он сюда вошел!

Свадьбу сыграли славную — начали в одной деревне, продолжили в другой, но поселились молодые на выселках: не хотелось им, чтобы родственники мозолили глаза и сплетничали. Вскоре у Семёна с Татьяной родилась дочь. Роды были тяжелыми, после них молодая мать долго не могла ходить. Семён носил ее на руках, мыл, кормил, следил за дочерью. Трудное было время, но им и теща со свекровью помогали да и Михаил со старшим сыном наведывались поставить пристройки и поправить купленный дом.

Так они и прожили пять лет. Дочку назвали Раей, Семён же ее звал Росинкой. Она была хрупкой, белокурой, с волосами будто из воздуха, мягкими, шелковистыми, которые так вздымались на ветру, что Росинка походила на бегущий одуванчик. Глаза у нее были материнские, серые, с задоринкой.

И вновь строился его дом, не домик даже, но что-то предчувствовал Семён и ждал беды, не зная, откуда она придет. Иногда в тревожных снах к нему приходил седой пуштун, смотрел, молча клал у его ног свежеспеченные лепешки, кивал головой, ухмыляясь, и уходил. После таких снов он просыпался, выходил на крыльцо и долго курил, всматриваясь в утреннюю дымку.

Однажды под вечер он возвращался с поля на своем старом «газончике». Железные борта кузова гремели, машину слегка раскачивало, движок работал с перебоями. Машину надо было ставить на капиталку, не ровен час встанет в поле, тащись потом по стерне, ищи трактор. Неожиданно он увидел, как с фермы выскочил бык. Его, дебошира, всегда

держали в отдельном загоне, так как был он неумного норова, кидался на людей, утробно мыча и разрывая землю копытами. Бык рванул в сторону домов. Семён, выругавшись в сердцах, надавил на акселератор, и машина, чихнув, ринулась наперерез быку, но тот, мотнув головой, завернул в палисадник соседа, заскочил в открытую калитку, где пробежал по подворью, пересек его и выскочил на параллельную улицу.

— Вот bestия! — сплюнул Семён и стал разворачивать машину: это ведь на его улицу кинулся бык, а там было всегда полно ребятишек.

Он вновь поддал газа, но в машине что-то закашляло и она заглохла. Стартер хрипло надрывался, но «газон» не подавал признаков жизни. Семён выскочил из машины, пробежал через двор на свою улицу и увидел ужасную картину: бык стоял перед его маленькой дочерью, рыл землю и уже не мычал, а как-то по-звериному рычал, опустив голову, касаясь земли краем кольца из ноздрей. Росинка, в одной руке сжимая совочек, другую выставила вперед, пытаясь защититься от разъяренного животного. Разбежавшаяся ребятня пряталась за заборами, никого из взрослых видно не было.

Семён так и не понял, откуда у него в руках оказалась оглобля. Он, хрипя, успел добежать и с силой ударил быка в бок. Оглобля переломилась, бык подался в сторону, а Семён, перехватив обломок, взял его наперевес и, как копье, воткнул быку под ребра. Тот от неожиданности и боли закрутился, и в это время Семён успел схватить его за кольцо и резко потянуть вверх. Бык обмяк и, как бульдог, засопел, задирая голову. К Семёну уже спешил пастух, а выскочившая на крыльцо Татьяна кинулась к дочери, схватила ее и быстро уволокла за забор. Когда рядом оказался пастух, Семён отпустил быка, пообещал, что начистит морду им обоим, и пошел в дом.

Татьяна уже усадила Росинку на стул, нервно гладила ее и причитала.

Семён сел рядом, взял маленькую ручку дочери и, улыбаясь, спросил:

— Перепугалась, Роса?

Девочка молчала и смотрела куда-то ему за плечо. Татьяна заплакала, потом кинулась к дочери и стала ее трясти, приговаривая, но Росинка была как тряпичная кукла. Жена уже сама стала заходиться плачем, когда Семён взял дочку на руки, прижал к себе и рванул к поселковому фельдшеру. Девочка при этом, запрокинув голову, не моргала, глаза ее были бездумно устремлены куда-то ввысь, в бездну. Семёна охватил страх, он бежал, спешил, не останавливаясь передохнуть, и вдруг снова отчетливо понял, что его неустойчивый домик рухнул, мгновенно. Ему даже показалось, что он увидел, как разлетаются карты в разные стороны. Он знал, если что-то случится с дочкой, то он уже никогда не сможет вернуться к нормальной жизни и это будет окончательным ее развалом.

У дома фельдшера он вскочил на крыльцо — и не успел постучать в дверь, как она открылась. На пороге стояла полная женщина с короткой стрижкой. Она посторонилась и показала рукой вглубь дома. Когда они с дочкой оказались внутри, фельдшер попыталась взять у него ребенка,

но Роса напряглась и вцепилась в него. Пришлось сесть на старое кресло, аккуратно посадив на колени Росинку. Рядом присела хозяйка, она обхватила голову девочки своими мягкими розоватыми пальцами, повернула к себе и посмотрела ей в глаза. После этого открыла шкафчик, достала какой-то пузырек, плеснула из него на ватку и дала понюхать девочке. Та сразу закашляла, отвернулась и заплакала. Семён облегченно вздохнул: если плачет, то все будет хорошо.

Фельдшерица, закончив манипуляции с пузырьками, села рядом с девочкой и попыталась погладить ей волосы, но та вместо слов только замычала.

— Вези в район, видимо, сильный испуг, физических повреждений нет, так что ничего страшного, пройдет, — сказала фельдшерица.

— Тогда зачем в район? — недоумевал Семён.

— Надо провериться... — неуверенно ответила она и отвела глаза.

Семён вышел из дома фельдшера, крепко прижимая к себе дочку. Во дворе стояла Татьяна с заплаканными глазами и нервно крутила край передника. Он прошел мимо, даже не посмотрев на нее, а фельдшерица уже тихо говорила жене за его спиной, что ничего страшного, обойдется.

Из района пришлось ехать в область, где грузный врач, печальный и спокойный, тихо объяснял что-то о сильном нервном потрясении и о том, что такое очень трудно лечить, это может усугубиться, а может и пройти после другого сильного переживания.

Теперь у Семёна все пошло наперекосяк. Он ничего не говорил Татьяне, даже стал сторониться ее. Жить они стали как чужие: каждый держал в себе свою боль, не выпуская ее, но и не пытаясь помочь друг другу. Нередко они сидели в разных комнатах и прислушивались к редким угуканьям или коротким мычаниям дочки — так она разговаривала со своими куклами. Вскоре Семён втянулся в череду серых дней, потеряв вкус ко всему, что его окружало, и лишь иногда его душа оттаивала, когда он сидел рядом с дочкой, гладил ей волосы и слушал ее странные разговоры с игрушками.

Однажды, выйдя за калитку во двор, он сел на лавку, а Росинка выкатила игрушечную коляску, в которой баюкала своих кукол. В это время из соседской подворотни выскочил пес по кличке Свисток, и к нему тут же кинулась их собака Зинка, сорвавшись, видимо, с привязи. За ней вышла Татьяна, пытаясь ее поймать, но Семён остановил жену, увидев, что собаки кувыркаются, а Росинка при этом заливисто хохочет. Он посадил Таню на лавку, приобнял ее, и она затихла рядом.

Собаки уже не на шутку разошлись и принялись бегать друг за другом. Неожиданно в конце улицы взревел чей-то двигатель. Из-за стоящего у ворот грузовика Семёна его не было видно, но по звуку мотора можно было понять, что гонщик набирает скорость. Татьяна вскочила, взяла дочку за руку и пугливо притянула к себе. Зинка же, увидев, что Свисток, играясь, перебежал улицу, кинулась за ним. В это время из-за «газончика» вылетел серебристый тяжелый джип и пронесся мимо.

Семён не понял, что за глухой удар раздался из-под машины, но, когда увидел, что Татьяна в испуге отвернулась, догадался, что опять что-то произошло. Он встал, обнял жену с дочкой, почувствовав, что Татьяну бьет сильная дрожь, оторопело огляделся — и только тогда увидел сбитую Зинку, лежащую на краю дороги.

Собака была еще жива и норовила встать. Подошедший к ней Семён обнаружил, что удар пришелся в бок: лапы были целыми, но ребра сломаны и, похоже, она получила внутренние сильные повреждения. Рядом вился Свисток, припадая на передние лапы, покусывая подружке кончики ушей и поскуливая. Удивительно, но Зинка не издала ни одного стога, а лишь смотрела извиняющимся взглядом и часто вздыхала. Семён осторожно приподнял ее и понес во двор. Немного постояв, он решил, что лучше будет положить ее на сеновале. Жена принесла туда старое пальто и линялое одеяло. Семён показал головой на угол, где еще с зимы оставалось прошлогоднее сено, туда и бросили принесенные тряпки. Семён попросил, чтобы Татьяна нагрела молока. Он сидел рядом, гладил голову собаки и почему-то вспоминал свой первый и последний бой, дым, крики, вездесущую пыль, запах солярки, а затем — сумасшедшую тишину...

Зинка есть отказалась, понюхав молоко и положив голову на цигейковый воротник старого пальто.

На следующий день рано утром Семён заглянул на сеновал, присел рядом с собакой. У нее тряслись задние лапы, а выражение глаз было пустым и бессмысленным. В обед, когда он приехал, Татьяна рассказала, что Росинка просидела все это время рядом с собакой. Семён зашел в сарай и увидел рядом с умирающей собакой дочь. Росинка поскуливала, как щенок, а собака вздыхала, и чуть заметно подрагивали ее уши. Он сел рядом с ними, и дочь показала ему на свитую из сена веревочку, промычав что-то. Он невольно согласился, качнув головой, и принялся уговаривать вернуться в дом, пообещав, что если она сходит покушает и поспит, то ей разрешат приходить к Зинке. Сам же он невольно желал, чтобы побыстрее забрали жизнь у страдающей собаки.

Просил он, видимо, плохо — собака прожила почти неделю, и все эти дни рядом с ней была Росинка. Она плела венки, разложила свои игрушки рядом, показывала Зинке новые наряды кукол. Любые увещевания и просьбы оставить собаку не приносили результатов — Росинка мычала, упрямо вертя головой, а когда попытались увести ее силой, забилась в истерике. Они с Татьяной смирились, оборудовав возле Зинки целую площадку, застелив земляной пол старыми матрасами и одеялами, чтобы не простудить дочку. За все это время собака не съела ни крошки, пила лишь воду и иногда молоко.

Прошла еще одна неделя. Ближе к вечеру Татьяна решила замесить тесто для пирожков, которые любили Семён с Росинкой, — с клюквой, капустой и картошкой. Она поставила таз с тестом на стол и возилась с ним. Рядом у печки сидел Семён с дратвой и подшивал старые валенки. В это время зашла Росинка с собачьей чашкой, протянула Татьяне и по-

казала на молоко. Жена вытерла руки и налила девочке в чашку молока. Она хотела было пойти за дочкой, но Семён попросил не мешать ей.

Через некоторое время Росинка зашла и сказала:

— Зинке стало лучше, она просит еще молока.

— Еще так еще... — ответила ей Татьяна и только собралась снова очистить руки от теста, как поняла, что девочка заговорила.

Она бессильно опустила на лавку и заплакала, протягивая руки, облепленные кусочками теста.

Росинка строго посмотрела на мать и укоризненно сказала:

— Мама, ты посмотри на свои руки, а я вся в трухе, ты меня запачкаешь, и пирожки с сеном будут!

Татьяна не выдержала, кинулась к ней и обняла. Дочка же, пытаясь освободиться, попросила еще молока для собаки. Наконец ей налили чашку, и Семён спросил, могут ли они пойти и посмотреть на Зинку.

— Конечно, — удивленно пожала девочка плечами, — она же наша общая, смотрите на здоровье.

Они втроем вошли на сеновал и увидели чудесную картину: у бревенчатой стенки стояла Зинка, смотрела на них и, казалось, улыбалась. Ноги у нее тряслись, голова подергивалась, но теперь было понятно, что она не уйдет уже от них просто так.

Через несколько дней, когда собака вышла во двор, Росинка теребила ее и, заглядывая ей в глаза, негромко возмущалась:

— Ну что ты молчишь? Скажи хоть слово!

— Ей трудно говорить по-нашему, — попытался остановить дочь Семён.

— Раньше мы с ней разговаривали, — пояснила Росинка и, вспоминая, продолжила: — Знаешь, какая она в детстве была шалунья! Сама рассказывала. А как же она не любит сидеть на цепи, у-у... Очень любит, когда ты ее берешь с собой на рыбалку или по грибы.

— Все это она тебе говорила? — улыбнулся Семён.

— Смеешься? — нахмурилась Росинка.

— Нет, радуюсь.

— Я раньше слышала ее слова.

— Как слышала?

— Головой, — невозмутимо ответила дочь. — А сейчас не слышу. Наверное, потому что стала говорить языком?

— Может быть... Но это же хорошо: теперь мы тебя понимаем, а тогда лишь Зинка могла понять, а мы так тебя любим, нам без твоих слов тесно в этом мире. — Он поднял дочку, поцеловал и прижал к себе.

В это время он вдруг понял, что теперь-то его дом вырос, и он уже не картонный, теперь у него есть прочный фундамент, расти ему и расти — до неба, как говорит Росинка.

Надежда ЯРЫГИНА
ШКОЛА ИСКУССТВ

* * *

На областной смотр народных хоров вместе с народными хорами
приехала бурятская степь и расстелилась прямо на асфальте.
Примчались и зажурчали ручьи и речки, пожаловала
даже сама река «Дунай, мой Дунай».
Выплыл из рябых облаков величавый и ласковый месяц,
прикатились, рассыпались по проспектам и по трамвайным путям
калина моя и малина моя, брызнули и упали слезы из глаз
девушки Маруси, а там, где они упали,
взошли и расцвели городские цветы.

Город подхватил и запел песни народных хоров, но что-то
ни одну не допел до конца: граждане-горожане
не смогли вспомнить слов, а вместо слов вспомнили
старую родимую маму и разрыдались.
Некоторые вспомнили деревенское детство — разрыдались.
Кому какое дело, что люди вспомнили, петь они точно
были не в состоянии — разрыда-а-ались...

* * *

Надя — это точно не я, это имя такое. Оно без меня
(само по себе) лезет по лестнице вверх, орет треугольным ртом,
вскарabкивается на дом, стоит на доме и нагло расхваливает себя:
«Ай да я!»
А сама я стою внизу, от стыда краснею и возмущаюсь: «Какой позор!»

Лучше бы меня нарекли именем Майя, потому что
имя Майя никуда не карабкается, а разгуливает в майском лесу
и мелодично расхваливает себя: «Ай да я...»

* * *

Мужчины настроили домов из любви к жизни,
женщины насадили цветов из любви к жизни.
Старухи блуждают вокруг домов-цветов и подкармливают котов.
Коты удирают в подвалы домов в связи с любовью к мышам,
к независимости и к своему героическому предназначению —
сокращать популяцию мышей и мелких чертей,
ибо и мыши и черты обитают в подвалах только из любви к размножению
и к чужим продовольственным запасам.

* * *

За зиму так отвыкли от мух,
Что, когда проснулась первая,
Так обрадовались, что дали ей имя.
Приходили на кухню завтракать,
Говорили: «Здравствуйте, Екатерина первая!»

* * *

Муза, мы на лето едем в деревню.
Берем с собой семена огородных культур,
ясность взгляда и спокойствие духа.
А чтоб не смущать сельских тружеников,
не берем никаких золоченых сандалий,
никаких румян и гирлянд из цветов.
А чтобы не дразнить деревенских гусей —
никаких нам красных бюстгальтеров
и никаких, милая муза, цветастых трусов!
Просто: легкая туника, дудочка, удочка
и острый прутик — писать-рисовать на песке.

* * *

Школа искусств.
Пойдешь направо — дети-художники:
когда рисуют собор, называют его «церквушка».
Пойдешь налево — дети-музыканты:
«Лунная соната» у них называется «лунка».
Ах, если есть стройные ножки,
не ходи направо, не ходи налево,
иди прямо — в зеркальный балетный класс!

Сергей КУКЛИН

ВОЛЯ

Р а с с к а з

1.

Заканчивался самый нескладный день нынешней полевой зимы. Поначалу сломался «Урал», он же буровая установка, следом утонул в болоте трактор. Хотя до полудня все шло как следует: добирили начатую вчера скважину, добыли интересный керн. Но во время переезда на новую точку машина встала памятником на зимнике. Водитель, он же бурмастер Гена Кравченко, ковырялся под капотом, показывая уходящему в болото солнцу свою задницу. Когда подоспел тащившийся следом трактор с прицепленным жилым вагончиком, Гена выдал соратникам свой вердикт: «Форсунка накрылась, топливный насос не фурычит. Запасной у меня нет, надо в Паньчево ехать и там искать».

Деревня находилась в десяти километрах от стоянки, и добраться до нее можно было только на попутке, а для этого надо выходить на грунтовку, правда, до нее рукой подать, с километр по зимнику прогуляться.

В Паньчеве располагалась полевая база их разведочной партии. Там вездеходы, там рация, там запчасти, там еда. Там лица иные...

Внушительное Генкино тело тянуло на центнер с гаком, ходить по тайге ему было трудновато, да он и не занимался таким суетливым делом. Сопел за рычагами буровой, важно крутил руль «Урала». Характер имел соответствующий телосложению: говорил мало, терпел неприятности до какого-то своего потаенного предела, потом исправлял ситуацию, как сам разумел и, в общем-то, получалось как следует. Прозвище за ним закрепилось соответствующее внешности и содержанию — Слоник.

Люди партии твердо запомнили случай, когда в избе, где они жили прошлой зимой, любители расслабухи учудили пьянку по поводу созревшей браги. Слоник, не реагируя на галдеж, лежал на нарах и читал книжку, держа ее на вытянутой руке. Раскладушки под ним разваливались, поэтому он сооружал себе лежаки из досок. Когда в полночь заблажили песни, он читал. Когда выясняли, кто умней, кто главней, кто сильней и ловчей, он чи-

тал. Когда два придурка начали друг друга колошматить, он отложил книжку, встал и, тяжело вздохнув, взял обоих за шкирки, по одному в руку, вывел на улицу и засунул мордами в желтый от мочи сугроб. Удальцы взбрыкнули и затихли. Приволок обратно и швырнул каждого на его раскладушку. Наступила благодатная тишина. Выключил свет и лег спать. Это впечатлило.

Точка новой скважины, намеченная геологом Андреем Земцовым, удачно совпала с выходом зимника на грунтовую дорогу, до нее оставался километр. Решили добраться туда на тракторе, чтобы иметь возможность словить попутку до Паньчева. Кружили вокруг «Урала», примеряя, прикидывая: реально ли объехать его, не свалившись с зимника в незамерзшую топь. Она, конечно, промерзла на полметра и человека держит, но трактор явно булькнет.

Коля Коровин раздухарился:

— Не бойсь, прорвемся, щас увидите мой ювелирный вираж.

Виртуоз тракторного маневра имел мощный, грузный торс и короткие, кривоватые ноги, словно Создатель, имея заготовки для разных людей, вдруг решил пошутить и соединил их в одном теле.

Стояли поодаль, наблюдая, как Коровин на тракторе с прицепленным вагончиком объезжает машину. Вот он пошел влево, причем стало заметно, что ширина вагончика не позволяет пройти мимо, не упершись в буровую. Вот он взял еще левее, и одна гусеница соскользнула с бровки в болото. Трактор начал заваливаться набок, левая гусеница крутилась вхолостую, не имея опоры. Еще немного — и он сам ляжет, и вагончик за собой утянет. Коля остановил ход и в раскрытую дверцу крикнул: «Фаркоп!» Выкинул из кабины кувалду, и Гена, мигом подобрав ее, подскочил к сцепке и двумя остервенелыми ударами выбил соединительный палец. Коровин включил правую гусеницу, работая на разворот, и трактор, повернувшись задом к дороге, начал погружаться в торфяную жижу.

Виртуоз маневра удачно выскочил на снег, упав на четвереньки, и, не оглядываясь, вскарабкался на дорогу. Там распрямился и, глядя на торчавшую из черной промоины кабину, спокойно сказал: «Это еще ничего, мог бы и совсем уйти». Дышал тяжело, словно бегун на финише. Достал из кармана телогрейки мокрую пачку «Примы».

— Надо же, где-то черпанул карманом, сигареты испортил. Есть у кого? — Закурил чего дали и продолжил уже возбужденно: — Слушайте, а ласточка вроде дальше не тонет, значит, здесь неглубоко, с метр всего до дна. Зараза, унты теперь чистить и сушить надо.

Никто в разговор не вступал, все переваривали событие. Спасенный вагончик стоял на дороге в трех метрах от буровой, а в нем все-таки печка, нары и котелок со вчерашним супом. Это хорошо. Затопили печку, разогрели похлебку, сели тесным кругом за откидной столик.

Сосредоточенное молчание прервал Сашка Шамов своими молодыми рассуждениями:

— Я все думаю: почему у нас если что происходит, то обязательно хреновое, хоть бы одно событие защитательским было...

Всегда добродушный, улыбчивый по природе, он хотел хоть как-то разогнать общее угнетенное настроение. Не получилось. Никто не откликнулся.

Чуть позже, укладываясь на свое ночное лежбище, Гена вдруг вспомнил слова помбура:

— Ты, Сашка, говорил, что у нас только хреновые события происходят. Так вот: ты сытый спать будешь в тепле, трактор целиком не булькнул и вообще все живы-здоровы и носы в табаке, а завтра новую форсунку доставем и машину сделаем. Не видишь ты зашибательского в жизни.

Закряхтел, укладываясь набок, чтобы дотянуться до радиоприемника. Он, родимый, расскажет, как там остальное человечество поживает, пока они тут по болотам елозят. Темнело рано, но сегодня явилась полная луна в чистом небе и всякий, выходящий наружу по малой нужде, мог видеть в ее серебряном свете красную кабину «ласточки» с утонувшим в пучине передком и удостовериться, что процесс погружения прекратился. Это даже очень хорошо.

Бурильщики возлежали на общих нарах, курили, стряхивая пепел в консервные банки, слушали из приемника «Альпинист» речь Горбачёва о реформировании социалистической экономики в направлении рыночной модели хозяйствования.

Сашка потянулся к кругляшу, чтобы найти веселую музыку, на него забурчал Гена:

— Ручонки убери, дай дослушать. Вам все пляски да хохоталки, а тут, однако, серьезные дела намечаются.

За столом бок о бок все еще сидели геолог и тракторист, заканчивая ужин. Андрей, опустошив свою миску, задумчиво смотрел на печку и на свисающие с веревки носки и портянки.

Коровин повернул к нему тяжелое лицо:

— Ну и че ты, геолог, рамсы разводишь? Вытащим трактор, не впервой такое дело.

Земцов, не поворачивая головы, ответил:

— Да пошел ты... вытаскиватель долбаный, со своим ювелирным виражом.

И тут же завалился навзничь на лежанку от бокового удара по носу. В ответ ударил пяткой Коровина в поясницу и тот упал на неприбранный стол. Зазвенели на полу кружки, тарелки и прочая мелочь домашнего обихода. Разбрызгивая вокруг себя кровь из разбитого носа, Земцов вскочил, чтобы продолжить бой, но, увидев в руке Коровина нож, отступил назад, к печке.

Тот, держа нож на отлете, выставил перед собой левую руку:

— Прижми задницу, не дергайся, не то будет не по мусалу, а в пузо.

Мужики, не меняя поз, смотрели на вечернее представление. Наконец подал голос Кравченко, подняв туловище до сидячего положения:

— Э, бойцы, че, совсем одурели?! Э-э-э, Колян, ну-ка, угомонись.

Колян угомонился. Положил нож на нары и уселся на него, свесил руки между колен. Андрей сорвал с веревки серую тряпку, оказавшуюся чьим-то полотенцем, прилег навзничь на свой спальник, приложив тряпку к носу. Он все осознал. В расстройстве чувств мозги заклинило, и он забыл правило: нельзя эков, пусть и бывших, посылать туда, куда он сейчас Коровина послал. Забыл, вот и получил... Инженер хренов. По радио выступление генсека закончилось, и заверещала певица про айсберг в океане. Слышал, как хлопала входная дверь, бряцала дужка ведра. Когда кровь унялась, приподнялся на локте и огляделся. У его ног стоял вечно румяный Сашка Шамов и протягивал чистое вафельное полотенце.

Пряча глаза, объявил:

— В ведре вода чистая и теплая — снег натопил. Ты бы лицо умыл, что ли. Вся борода в крови, как у вампира.

Коровин лежал на своем месте, упрятавшись в спальник с головой. Выйдя из вагончика, Андрей умылся, поливая сам себе из кружки. Потом, засыпая, подумал о том, как удачно не уронили керосиновую лампу в драке. Еще мелькнула тяжкая мысль об утопленном тракторе, но донимать не стала, и он заснул. Спал, как ни странно, долго и, пробудившись, слушал необычную тишину. Ни храпа, ни сопения, ни разговоров. Серый утренний свет из оконца позволил увидеть, что в бытовке никого, кроме него, нет. Поднявшись, увидел на столе клочок бумаги. Записка: «Мы уехали в Паньчево на леспромхозовской вахтовке. Пригоним трактор или вездеход, чтобы нашу ласточку вытащить. Взяли деньги из твоего планшета». Матерился вслух, для самого себя. Потом молчал, но мысль ворочалась: «Ладно если вездеход удастся добыть, а если трактор? Вы как, балбесы, втроем в кабину влезете?! На запятках кому-то придется уместиться. Да и хрен с вами, а я чай свежий заварю». Подумалось с усмешкой о том, что, паразиты, специально утром шепотом переговаривались и неслышно собирались, чтобы его не разбудить. Дескать, мы виноваты, мы и выправим. Значит, пешком до грунтовки подались в надежде сесть на вахтовку. Ладно, валяйте, я еще и керном займусь, добытым из двух последних скважин. Там объявились очень интересные включения минералов, которые намекали на вероятное содержание железа в породе.

Затопил печку, благо дров заготовили вчера достаточно. Разогрел суп, вскипятил воду на чай. Мороз в это утро щадил — без рукавиц почистил снег у вагончика, расстелил пару пустых мешков, положил сверху кусок рельса, который служил ему наковальней, и принялся осторожно дробить округлое тельце керна. Вот они — красноватые округлые зерна гетита, похожие на птичий помет. Значит, чутье не подвело. А на этом сколе серого песчаника желтый окрас — это точно лимонит. Оба минерала молча свидетельствуют, что люди попали своей дыркой на кору выветривания палеогеновых болотных отложений, содержащих железо. Аккуратно, поштучно, сложил кусочки гетита в тряпичный мешочек и залез в вагончик, чтобы заполнять буровой журнал и писать сопроводилочки к пробам, чего вчера сделать не удосужился.

Подкинул в печку, еще не прогоревшую, пару сырых поленьев, облитых соляркой, налил в кружку нагретый чай, и, пока все это делал, непроизвольно вдруг стих образовался:

— Феррум, феррум, где ты был?
 — Под болотом воду пил.
 — Я тебя определил
 И в карман к себе сложил.

Очень даже миленько получилось. Когда-то девушкам стихи посвящал, а нынче минералам. Эффект похожий: в ответ тишина. Хотя нет, нечего прибедняться, от девушек иногда ответ был очень даже благоприятный. От минерала эффект тоже может получиться весьма результативный. Для статистики не хватает образцов. Нужна сетка скважин, а он тут зависает в одиночку с распухшим носом и с замолкшей радиостанцией по причине севших батареек. Остаток дня ушел на заготовку дров. Не столь в этом была жизненная нужда, сколько потребность тела заняться делом, и тогда грядущая ночь не накажет его мучительной бессонницей. Завалил мотопилой ближайшую подходящую березу, раскряжевал ее, распилил на чурбаки. До темноты махал топором, превращая их в поленья, и, когда при свете луны прицеливался к последнему сучковатому кругляшу, за спиной услышал хриплый голос Коровина:

— Бог в помощь, начальник. Ты, однако, ударник труда. Теперь дров до весны хватит.

Лезвие топора хрястнуло в березовую плоть, но чурбан не развалился, и пришлось поднимать его над головой, чтобы с размаху обрушить уже вниз обухом. Две половинки, как положено, упали в утоптаный снег. Тогда обернулся. Конфузливо улыбающийся Коровин стоял перед ним с усталым и каким-то виноватым лицом. В руке выключенный фонарь, за плечами круглился полный рюкзак.

— Где мужики?
 — В город уехали.

По правилам полевого поведения Земцову было положено плюнуть задом на стоящий рядом чурбак, некоторое время с выпученными глазами молча осмысливать услышанное, а потом запустить матерщинный фейерверк. Он же как-то без этих красивых правил попросту спросил:

— На чем поехали? Что за оказия?

— До Бакчара на сельсоветовском уазике, а оттуда рейсовым автобусом. Зато я новую форсунку привез. Завтра поставлю, и все будет нормалек. — Потом, торопясь предупредить чего-то задержавшуюся, но непременно ругань геолога, принялся объяснять происшествие: — Мы с базы в Томск позвонили, и оттуда сказали, что у Генки мать серьезно заболела, почти при смерти, а мы тут, кстати, два месяца возимся без пересменки, и начальство, видать, этим шибко довольны. На хрен им

заботиться смену посылать — пашут мужики и ладно, так оно ловчей. Да пойдём в избу, там все по порядку обскажу.

Пока Андрей при дрожащем свете керосинки выскребал из печки золу в помойное ведро, Коля выкладывал из рюкзака на стол гостинцы от родного предприятия: мерзлые кирпичи хлеба, жестяные банки с тушенкой, упаковку «Примы» в 20 пачек, сахар в целлофановом мешке, батареи к рации и напоследок железную палку в промасленной тряпке. Спиртного не приволок — страна четвертый год находилась в вынужденной, хотя довольно условной завязке, провозглашенной Горбачёвым как норма жизни, но Коле некогда было суетиться, изощряться, где-то чего-то добывать. Да так оно и спокойнее.

— Во, форсунка, новье. Завтра утром займусь ремонтом. А после обеда Вася Короткий на ГТТ* прилетит, будем «ласточку» из болота вызывать.

Андрей и Коля четыре года ходили вместе в поле, и совместный кров, общий котелок подводили к серьезному родству душ и мозгов, несмотря на разницу в возрасте, в жизненном опыте и умственном багаже. Коровин прожил сорок лет, третью часть из которых просидел на зонах. Там же получил специальность тракториста, а когда, решив плотно завязывать, пошел в геологоразведку, ему это удачно пригодилось. Земцов топтался по земле на десять лет помнее, и его путь не был расцвечен эдакими сказочными цветами. Как-то все проще выходило, обыденнее, что ли... После армии окончил институт, работает геологом. Да, между этими будничными делами женился и сына народил. Тоже довольно прозаично. Бродит, кусочки камней собирает и в мешочки складывает, а когда дома находится, так вообще всяким пустякам рад: то сын заговорил, то в квартиру новую заселился, и Маше теперь не нужно кухню с соседками делить. Качается его лодочка на волнах унылого благополучия, и никаких феерических воспоминаний об удачно умятой в одиночку посылке или разрешенной свиданке со своей бабой раз в три года, аж на двенадцать часов. Может, после нынешней тусклой жизни его тоже впереди ожидают невероятно живописные, удалые повороты и стремнины, каковые преодолел Коровин?

Андрей сел на чурбак:

— Ну как у тебя все ловко! Дух захватывает от эдакой сноровки. А вот я занудой сейчас стану. Во-первых: ты уверен, что сможешь запчасть грамотно поставить, чтобы двигатель заработал? Специалист, язви в душу, широкого профиля. Во-вторых: даже если все получится и заведешь, кто бурить будет? В третьих: Шамов какого черта в город подался, у него кто там заболел? Со Слоником за компанию? Поддержать огорченного товарища в дороге?

Коля ответил обстоятельно, по всем пунктам, начав с последнего:

* ГТТ — гусеничный тягач тяжелый. Самый мощный вездеход эпохи 60–90-х годов, работавший на геологов, топографов, изыскателей. Является незаменимым, в своих последних модификациях, и по сей день.

— Сашка, конечно, случаем воспользовался и примкнул к Слонику. На самом деле, думаю, по живой бабе соскучился, да и ревность свою надо унять. Ты же знаешь, он полгода назад женился. И только девку приохотил к сладкому лежбищу, как сам на два месяца в тайге скрылся. Не шибко, видать, уверен в надежности своей половины. Тут-то и нагрывает неожиданно, как летний снег. Или зимний дождь, хе-хе. Ладно, не наше дело. Теперь главное: я бурил на УРБ, полгода за рычагами стоял, так что будь спок, управлюсь. Главное, гусей не гнать, потихоньку, с расстановкой, пройдем сколь надо. Тебе, правда, за помбура встать придется, коли бурить невтерпеж. Это дело нехитрое, ты парень ушлый, справишься, на то и есть горный инженер. Я в тебя верю. — Коровин рассмеялся.

Оба они вели себя так, словно и не было вчера у одного разбитого носа, у другого ушибленной почки. Ерничали, как обычно, как у них устоялось еще давно, но у обоих внутри сидела какая-то затаившаяся неловкость и каждому думалось, что она засела только в его голове, а у другого все спокойно и безмятежно, потому что именно он неправ. У Андрея эта самая неловкость царапала мозги вдобавок потому, как ему казалось, что он недооценил надежность Коровина, который тоже мог свалить в город, не дожидаясь смены, а он здесь один. Массивную Колину голову донимала мысль, что он, как debil, размахался кулаками, будто находился в своей бывшей блатной, уголовной куче.

За вечерним чаем Коля, глядя куда-то под ноги, вдруг неуклюже пробубнил:

— Это, Андрюха, ты прости меня, что ли... я не хотел. Кулак сам сработал, на автомате...

Больше говорить на такие темы он не умел.

Земцов всего ожидал, но только не извинений.

— Да ладно, я тоже виноват, за базаром не следил, поделом, чего уж... Ты вот поглянь, чего я сегодня из керна наковырял.

Вытащив из нагрудного кармана энцефалитки мешочек, выложил на стол несколько красновато-коричневых катышков.

— Это гетит с глубины 180 метров. Минерал, содержащий железо. Если другие скважины подтвердят его наличие в породе, значит, мы не напрасно здесь сопли морозим и портянками воняем. Завтра машину сделаем, здесь и забуримся, прямо где стоим, так сказать, не отходя от кассы. Если ходовую не сделаем, все равно забуримся — станок-то рабочий. Сложность в том, что вода болотная с нуля поперет, придется обсаживаться.

Коровин перебирал заскорузлыми, почти черными от мазута пальцами зерна, разглядывая их с интересом пацана, впервые увидавшего мандаринку. Только что грызть не попробовал. Может, и придурался, чтобы геологу приятное сделать.

— Надо же, а на вид такие неприглядные, как помет куриный. Не, тот другого цвета — зеленого, а эти почти красные.

2.

С рассветом стали последовательно заполнять мешок нового дня делами, которые запланировали прошлым вечером. Коровин ковырялся под капотом, Земцов маячил рядом, подавая ему требуемые ключи или другие приспособы из Генкиного ящика. Мастер иногда спрыгивал с бампера и, засунув пальцы себе под мышки, ходил без слов туда-сюда перед кабиной. В рукавицах крутить болты и гайки невозможно, вот и отогревал он свои рабочие конечности. Наконец захлопнул крышку и с диковатым взглядом полез в кабину, не откликаясь на Андрюхины слова: «Ну и что? Получилось? Че молчишь-то?» Двигатель недолго жалобно повизжал, потом нерешительно забухтел и, наконец, зарокотал с положенной ему уверенной силой. Не заглушая его, Коровин торжественно сошел на землю:

— Однако, обедать пора, начальник. Есть чего пожрать?

Пообедав, завели буровой станок, и закрутились, заскрипели буровые трубы, погружаясь в рыхлую толщу осадочных отложений, подбираясь к слою вожделенных палеогеновых песчаников, внутри которых 30 миллионов лет назад спрятались гидрооксиды железа. За обедом геолог не удержался и на неосмотрительный вопрос любознательного работяги развернул обширную речь. Коля сдуру поинтересовался, чего тут было в те давние времена, и получил по полной программе. Андрей вспомнил лекцию по общей геологии Западной Сибири профессора Васильева и несколько фраз, специально им заученных наизусть, чтобы ошеломлять головенки девушек-однокурсниц. Сейчас, когда он имел перед собой внимательного слушателя, его понесло: «В палеогеновый период данная территория представляла собой выположенные эпидименты эстуариев древних рек, заросших древовидными хвощами и плаунами, по которым быстро передвигались многобугорчатые млекопитающие: индрикотерии и диноцерасы...»

Коровин забыл жевать и сидел с отвисшей челюстью. Земцов, обеспокоенный состоянием товарища, замолк, а тот, все же проглотив застрявшую во рту пищу, почесал бороду и задумчиво спросил:

— А они большие были, эти... индрикотерии?

— Метра четыре в длину и два в высоту.

— Почти как мой трактор. Вот черти, едрена мать!

Земцова не нужно было учить управляться с трубным ключом, цеплять тросом лебедки буровые трубы, шнеки, встраивать их в устье скважины, наращивая рабочую колонну. Приходилось самому вставить к буровому станку, когда неожиданная хворь в виде тяжелого похмелья выводила из строя помбура. Болел ли с похмелья Слоник, никто не знал, не видел. В такие проблемные дни он вообще не разговаривал, команды отдавал одним громким словом либо мрачным кивком. Работал всегда, когда нужно.

Сейчас все двигалось как положено: обсадили водоносный горизонт, вычерпали желонкой воду и двинулись ниже, уже посуху. Сквозь

размеренный гул буровой установки слышался мощный рык близкого вездехода. Коровин поставил буровой снаряд на холостые обороты. Да вот и он, гость долгожданный. Кивая плоской бронированной мордой по снежным ухабам зимника, к ним лихо подскочил ГТТ, из распахнутой дверцы выскочил Вася Короткий со своей дурацкой улыбкой, которая изображала беспредельное дружелюбие. Короткий — это не прозвище, а настоящая фамилия, никак не подходившая рослому, длиннорукому мужику.

Моторы заглушили, и он, телогрейка нараспашку, заорал:

— Здорово, потерпевшие! Да у вас тут почти полный порядок, процесс идет! Вижу, вижу вашего утопленника. Цас обмозгуем, как его правильно достать. Главное, правильно позицию выбрать, как с бабой бывает...

Коровин его угрюмо оборвал:

— Кончай базар. Скоро стемнеет, а до завтра валяться и думать, получится или нет, мне совсем не в жилу.

Топтались на пяточке, заставленном техникой, чесали затылки. Под прямым углом к дороге вытаскивать не получится, потому что с противоположной стороны явно такое же заснеженное, непромерзшее болото с редким сухостоем. Тягачу опоры не будет, и он заплюхается в торфяной жиже. Решили тянуть наискосок, опираясь на утоптаный зимник, хотя существовала опасность, что трактор может лечь набок при подъеме на довольно крутой взгорок. Фаркоп был под водой, поэтому Коле пришлось раздеться по пояс и в болотных сапогах, на карачках, на ощупь цеплять конец троса и закреплять его стальным пальцем. Андрей подал ему вафельное полотенце с ржавыми пятнами своей позавчерашней крови. Другого не нашлось. На ходу обтирая с себя черные ошметки, Коля потрусил в теплый вагончик, там оделся и с мотопилой, по колено в снегу полез к недалекой сосне. Никто ничего не спрашивал: значит, нужно. Приготовленные трехметровые бревна вместе перетаскали на дорогу.

Коровин церемонно напутствовал Васю:

— Ну, спасатель, давай, с богом, — и с Земцовым поделился уже озабоченно: — Трос у него совсем изнахраченный, надо было вдвое сложить, да коротковат тогда будет.

Тягач на малом газу потянул утопленника и, развернув его почти боком к дороге, начал потихоньку вытаскивать из топи. Вот и передок вылез, вот и одной гусанкой на твердом оказался, и здесь все увидели, что он накренился и может завалиться. Вася сообразил, прекратил тягу, Андрей с Колей без разговоров стали таскать заготовленные бревешки и пихать их под зависшую в воде гусеницу. Крен прекратился, и рывками Короткий почти вытянул трактор на твердь, когда оборвавшийся трос стеганул Коровина по голове.

Он рухнул навзничь, из-под разодранной ушанки текла кровь, глаза бессмысленно смотрели в небо. Сознания не потерял. Земцов сперва метнулся к нему, потом ускакал в вагончик и объявился с целлофановым

мешком — аптечкой. Осторожно снял набухшую кровью шапку, подложив под голову все то же незаменимое полотенце, промакивал рану рулоном бинта, вытирал кровь с лица, тряс из флакончика йод прямо на волосы, сделал повязку, напоминающую чалму. Вместе с Васей помогли раненому присесть на валявшийся рядом ящик. Короткий выжидательно смотрел на Земцова. Тот скомандовал:

— Чего смотришь, заводи агрегат, в Бакчар поедем, там больница нормальная, а в Паньчеве только медпункт с фельдшером. Сорок километров за час долетим!

Хотели Колю взять под руки, он отпихнулся от них, сам поднялся, недолго постоял, осторожным шагом добрал до кабины и влез на сиденье. Медленно поднял глаза и попросил Андрея принести его личный рюкзак. Пошарив в своих богатствах, вытащил какие-то тряпки. Усмехнулся:

— Труссы чистые беру с собой. В больничке сестренки молодые, а я тут наверняка провонял, как свинья, хоть сам и не чую. Ты вот что, Андрюха, не ездь со мной. Нельзя хозяйство без присмотра оставлять. Две бочки солярки, бензопила и еще много чего полезного. Любый мракобес поедет мимо и обязательно пригреет. Будем потом икру метать, да без толку.

Земцов поскреб под шапкой затылок, отозвался:

— Ладно, езжай, покараулю. Заботник нашелся, едрена мать. Слава богу, живой остался, а он еще за мотопилу переживает. Хоть бы череп не повредило. Тошнит? Нет? Ладно, врачи рентгеном просветят, скажут. Если к сестренкам ручонки потянутся, значит, все нормально.

Шутки закончились с захлопнутой дверцей, взревел двигатель, и через минуту корма вездехода исчезла за поворотом. В морозном воздухе растворилось облачко выхлопных газов, перемешанных со взметенной снежной пылью. Еще недолго, уже издали, слышался удаляющийся рык, а потом наступила полная тишина. Земцов не сокрушался из-за случившегося несчастья. Он приучил себя укрываться от всяких бед и лихих напастей за оборонительным сооружением, простым на первый взгляд, но крепко помогающим переживать подобные испытания. «Слава богу, что не случилось хуже». Это значит, что не нужно обижаться и роптать на злой случай, а спокойно его принимать, безо всяких «если бы, да кабы». Он четко знал, что Коровину очень повезло. Траектория полета конца оборвавшегося троса была такова, что удар пришелся сбоку, выше уха и мимо глаз. Шапка толстая, цигейковая спасла. Обычно он носил вязаную, да, видать, так ее замусолил, что решил сегодня ушанку напялить.

Земцов глянул на трактор, стоявший на дороге почти горизонтально, и усмехнулся: «Удачно, что трос не лопнул, когда тащить только начинали. Гад я все-таки. Коляна чуть не убило, а я за железяку радуюсь. Ладно, надо рацию настраивать, с конторой говорить». Сеанс связи состоялся, хотя он вышел в эфир не в положенное ему время. Молодцы, дежурную связистку у радиостанции посадили. Позвали к микрофону директора,

и после серии важных сообщений Земцова Илья Фёдорович ответил странно и даже несколько обидно: «Помощи не жди, помогать некем. Одни бурильщики в поле, другие на больничном, третьи в отпуске. Через семь дней появятся люди, и я их тебе доставлю. Сообщай о состоянии травмированного Коровина. Насчет гетита и лимонита молодец. Будь внимательнее, в этом слое среди породообразующих минералов может и сидерит оказаться. Все. Конец связи».

Молодец, отбрехался. Спасибо за отеческие наставления. То ли бражку поставить? Да когда она еще созреет...

3.

Бездеятельно и бесстрастно проковыляли мимо три дня. Поздним утром сидел на чурбаке, чистил картошку и слушал из приемника выступление Сахарова с какого-то съезда народных депутатов. Метель в стенки стучится, окошко снегом залепила, надо выйти, почистить, да ладно, успеется, нечего там разглядывать, а вот слова недавно опального академика хочется дослушать: какие истины он народу откроет? Правильно, умно говорит, но почему-то не вдохновляет Андрея на активную общественную деятельность. В стране ветры перемен разгулялись. Гласность, свобода мысли, свобода слова... здорово. У него тоже вторые сутки пурга, ветер крепкий, северо-восточный, видать, с Арктики циклон добрался. Вчера пришлось целый сугроб вокруг устья недобуренной скважины разгребать и мешками со мхом дырку закрывать, утеплять, чтобы внутрь мороз не пробрался и долото к забою не примерзло. Коровин наверняка его приподнять не удосужился.

У Андрея уже заканчивалась картошка, а он, слушая спокойный голос доброго лауреата, вдруг глобальными проблемами увлекся. Хотя, возможно, они и его касаются. Интересный мужик этот Сахаров. Водородную бомбу спроектировал — самый лютый ужас за всю человеческую историю, а потом вдруг озаботился соблюдением прав человека в нашем забавном государстве. Неких правдолюбцев ринулся защищать от КГБ и прочая. Интересно, уберег ли кого от этого катка или только на обочине причитал: «Ай-я-яй, ну как не стыдно». Впрочем, во времена Леонида Ильича, когда Сахаров в заступу инакомыслящих кинулся, каток по человеческим массам уже не запускали, иногда лишь, некоторых, очень даже культурно приглашали сесть в легковую машину. Земцову к тридцати годам хватало жизненной школы, чтобы не обольщаться по поводу наличия совести у власть имущих. Это у вчерашнего уголовника Коровина живут в его дурной голове такие качества души, как чувство вины, искренность, бескорыстие, хотя он стесняется их людям показывать.

Увлеченный разгромом лиц известных, но им не уважаемых, он не заметил, как последняя очищенная картофелина булькнула в котелок. Вышел на волю снега черпануть, а мысль об ответственности человека за свои поступки продолжала долбиться, как проголодавшийся дятел.

Наверное, вредно быть одному и без дела. Сахаров к тому же подтолкнул своей смиренной речью о гуманизме, согласии и миролюбии. Совесть, что ли, у дедушки проснулась, он все-таки не госслужащий. Земцову думалось так: «Это я еще могу лоб морщить по поводу: сделают из железной руды, которую мы тут расковыряем, сковородки или пушки. Физик точно знал, какой смертной жутью для всей планеты обернется его научный интерес к процессу синтезирования из двух атомов дейтерия одного атома гелия. — Он ухмыльнулся. — Или как у Высоцкого... чую с гибельным восторгом — пропадаю. Ну их... Зато Мишка этой зимой в детский сад пошел. Интересно, как ему там нравится? Лучше не думать, шибко хандру нагоняет».

Носитель нравственности из эфира поблагодарил за внимание, слышались рукоплескания, а сквозь них приближающийся натужный рев мотора, да все ближе, да со стороны Панычева. Это кто ко мне добирается? Еще немного — и он узнал и оценил выдающиеся обертоны двигателя ГТТ, которые невозможно спутать со звуками голосов других солистов местной оперы. Истинным ценителям, конечно. Проникновенные вибрации солидного баса зазвучали совсем рядом, за стенкой бытовки, и смолкли. Заставил себя сидеть на чурбаке и не выскакивать навстречу прибывшим. Так солиднее. Проскрипели шаги, и в распахнутой двери он вначале увидел непривычно серьезного Васю, а следом бесшабашно улыбающегося Колю.

Начал доклад озабоченный Вася:

— Вот, Андрей Иванович, доставил на ваше попечение этого охальника. Ты представляешь, из районной больницы к нам на базу в Панычево позвонили и сказали, чтобы забрали нашего раненого развратника из ихнего стационара. Медсестрам, дескать, проходу нет по лечебному учреждению. То за ягодицу ухватится, то к ихним грудям своей башкой прильнет, будто ноги его не держат и равновесия нету в теле. Хотя сотрясения мозга у него не обнаружили.

Коровин ткнул пальцами его под ребро, и Короткий, задохнувшись, замолчал. Больной стянул с головы модный красный «петушок» с надписью «Sport» и предъявил аккуратную повязку, обнимающую большой бритый лоб:

— Вот и все дела, Андрюха, ни хрена с моей черепушкой не случилось, три шва наложили, и гуляй, Коля, не чешись. Я твое напутствие помнил, насчет испытания здоровья, поэтому маленько помял бабенок. Они довольные были, это тощая крыса, старшая медсестра, бучу подняла, обидно, наверное, стало, что ее ни разу не приласкал своею царскою рукою. А в больничке хорошо, кашу манную с молоком на завтрак дают, как в пионерлагере, в душе мойся сколько хочешь. Я все свои вонючие трусы и носки перестирал, теперь готов к новым подвигам. Шапочку мне Валька полногрудая подарила, говорит, теперь вся молодежь такие носит. Сала соленого дала. Васька, где сало? Я тебе пакет вручал.

Земцов смеялся до всхлипа. Ему хотелось приобнять Коровина, да не приняты у них такие сантименты. Одно вымолвил:

— Валька ничего больше не дала? Салом и шапочкой отделалась?

Короткий, отдышавшись, сидел на чурбаке и тоже улыбался. Игра в правильного, озабоченного сотрудника закончилась.

Похлебали супа, заедая Валькиным салом, и Коровин, задымив смрадной папиросой, вдруг заявил:

— Однако, скважину надо добуривать, коли начали. Теперь еще один помощник имеется. Зря, что ли, пайку жирную схавал?

Земцов ответил одним словом:

— Надо.

Удачно утихла пурга, погода сочувствовала залежавшимся, заску-чавшим трудящимся. Васины длинные рукигодились на пятидесятом метре проходки, когда нарвались на напорный пльвун. Песок самоизливом попер из устья скважины, и пришлось накручивать и задавливать дополнительную обсадку, чтобы перекрыть нежданный водоносный горизонт. Когда внутрь загоняли колонковую трубу, вода с песком хлестала фонтаном и все трое оказались забрызганными серым раствором, быстро замерзающим на телогрейках. Когда долото вышло на божий свет с глиной и без воды, поняли, что поганый пльвун пройден. Повесив мокрые телогрейки на мачту, сели перекурить.

Земцов притащил из бытовки охапку запасных бушлатов, хранившихся под нарами, сказал:

— Одевайте, а эти, мокрые, надо на ветках распялить на вымораживание.

В результате такой хитрости часть воды превращалась в корку грязного льда, который счищали, отколупывали, а затем телогрейки вешали над горячей печкой. Остаточная влага уже не стекала ручьем, а просто испарялась.

Потные лица почуяли ледяной ветер, вновь задувший с заснеженной топкой равнины. Но это пустяк: у них есть сухие, теплые бушлаты. Шапки не промокли, потому что догадались каски надеть, когда вода хлестанула. Дыхание жизни высушивало пот на коже и превращало его в застывшие блестки в бурых, еще не поседевших бородах. Они сами были вольной, прихотливой частью этого дыхания. Воле всегда необходим выбор и они его сейчас имели. Могут остановить проникновение в толщу грунтов, свернуться и уехать в диванный уют, к полузабытой теплоте терпких женских подмышек.

Могут, но не уедут, потому что хочется поставленной цели достигнуть. Вот положит Земцов несколько коричневых крупинок в свой тряпичный мешочек, и тогда можно будет временно поменять прокисшие чуни на домашние тапочки.

Коровин докурил и поднялся на свои крепкие, как клещи, ноги:

— Ну че, Андрей Иванович, попррем?

— Да, Николай Семёныч, попррем.

«НАД ТОМЬЮ В ЗЛАТО-СИНЕЙ ДРОЖИ...»

*К 20-летию кемеровского журнала поэзии
«После 12»*

Началось все в апреле 93-го, когда в Кемеровском государственном университете появился известный кузбасский поэт Александр Ибрагимов и родилось его детище — литературная студия «Творческая мастерская “АЭ”».

Уже через год мастерская «АЭ» становится поэтической меккой Кузбасса — здесь встречаются и читают свои стихи Андрей Правда, Наталья Останина, Алексей Гамзов, Алексей Петров, Дмитрий Мурзин, Наталья Мурзина, Андрей Пятак, Сергей Быков, Евгений Казаков, Макс Уколов, Александр Горбатенко, Сергей Самойленко. Такая концентрация ярких и самобытных поэтов не могла не привести к созданию своего литературного журнала — первый номер «После 12» выходит в августе 95-го года. Это первый кузбасский глянец. Журнал распространяется по всей России автостопом, и его зачитывают до дыр...

Первые десять лет журнал существует на спонсорские средства, с 2006 года поддерживается департаментом культуры и национальной политики Кемеровской области. В 2011 году «После 12» впервые получает финансовую поддержку от Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям — как социально значимое издание, ориентированное на молодежную аудиторию. В 2014 году учредителем журнала становится «Дом литераторов Кузбасса».

Несмотря на глобальный кризис, «После 12» живет и остается уникальным авторским проектом как по художественному решению, так и по содержанию. Главный редактор — Наталья Ибрагимова, литературный редактор — Александр Ибрагимов, в состав Творческого совета входят известные поэты Кемерова, Новокузнецка, Томска, Барнаула и Москвы.

Представляем семь наиболее ярких авторов «После 12».

Александр ИБРАГИМОВ

Русский петух

Татьяне Николаевой

Дрыхнет в звездах родная дуревня,
Где до одури русский петух
Вместо ало-расстрельного гребня
Натянул гефсиманский треух.

Налетела метель-завируха.
А душа откликается: «Аз!»
Он ослеп, как Петрухино ухо.
Он оглох, как апостольский глаз.

И, с военного снятый учета,
Кукарекнуть он все же не прочь,
Расширяя зрачок звездочета
В треугольно-опричную ночь.

В поднебесии зреет атака.
Поднебесие против небес.
И опасная бритва заката
Розовеет сквозь мартовский лес.

Кукарекает сердце поэта.
Терриконом взрывается мрак.
И когтистые крылья рассвета
Поднимает тасжный барак.

В петухах полотенце Пилата.
Крылья вздернуты на крюках.
И рассветная кровь заката
Кукарекает на руках...

Крик поэта до одури древний —
Так восторгом исходит восток.
И висит над родимой дуревней
Вифлеемский отгалый дымок.

* * *

Щемящая чашка осталась от брата —
Щемящая чашка из глины заката.

Я в чашку отжал виноградную гроздь
Мерцающе-крупных кладбищенских звезд.

Насколько хватило дыханья и сил,
Я слезы родные из чашки отпил.

И чашку поставил на кухонный стол,
И хлебную крошку счастливо нашел.

К окну подошел и глядел виновато
В забытую чашку из глины заката...

* * *

Над Томью в золото-синей дрожи
На все что хочешь облака похожи.

* * *

Мы отражаемся друг в друге,
Мы подражаем облакам
В блаженно тающем испуге —
И здесь и там...

Алексей ГАМЗОВ

* * *

Ты прав, тысячу раз прав,

друг. Потуже крыло расправь,
лети на круг изумрудных трав
в кругу ледников и неба.
Легче воздуха балахон.

Лети, поднимай баритон на тон:
 больше не гений — гелий.
 Вечно отныне кружить, Плутон:
 апогей, перигелий
 и вновь, тысячу раз вновь,
 как бог, который не есть любовь.
 Без помощи рыб и хлеба.

Ничто ничем не поправ.

Владимир УГРЮМОВ

* * *

Вино и мед — веселье мертвых,
 А для живых — шары и змеи
 Воздушные. Куда несет их
 И кто об этом понимает?

Уносит, обрывая стебель
 Из рук живых и на смех мертвым.
 Шары и змеи гаснут в небе,
 В нем, ненаглядно распростертом.

Созреет мед, вино забродит.
 Сойдутся все к столу под вечер.
 Живые нравятся природе,
 А мертвым похвалиться нечем.

* * *

Птица мне показала крылья
 И улетела, так птицам надо.
 И, оглядевшись вокруг, не спросил я:
 Есть, кроме крыльев, другая радость?

Кто бы ответил — соврал нещадно,
 Проговорился бы, стал бы смертен.
 Так я подумал. А впрочем, ладно,
 Пусть мне сегодня никто не ответит.

Сергей ФОФАНОВ

Родина

Вот и снова зима... Каждый день, каждый вечер — зима!
Никуда от нее — только в сон и в сознанья глубины.
Но по льду, что мне взгляд оковал, поскользился я с ума,
не сыскав полыньи, — вверх, всё вверх... где в краях голубиных
голубых небесят я кровавым кормить буду ртом...
буду — ртом я, и больше ничем, — ртом и кустиком нервов,
рваных вен я и нервов на небе горячем, крутом, —
остальное внизу все возьмет он, земли этот жернов.

...Жернов этой земли, надорвавшейся серой земли,
пробираемой всеми ветрами и высью угрюмой.
Запоет как, закружится он — и найдут меня вдруг,
чтоб развеять в муку, все на свете родные метели.

Руслан СИДОРОВ

* * *

Можно стать тише, тише, еще потише,
Шепотом пыльной травы, листвы, ты слышишь?

Это ж июль. Жара. Солнце льется, льется.
Разве что два ведра, вытащенных с колодца,

Вынудят вскрикнуть. Но вновь наступают тихо.
Точно в немом кино: блестящая гладь, пловчиха.

Ива, носки, трусы, взвешенные на ветках,
Тапочки, в них часы и ключи. И ветра

Можно прождать всю жизнь. Леню доходить до глади.
Перевернись. Лежи. Подушкой — лист тетради.

* * *

В Сибири. Летом. Жарко. Ты — лежишь.
Река — бежит. Тайга — стоит. Погода —
Безоблачна. Безлюдно. Ни души.
Бесчеловечно царствует природа.

Здесь ты — веселый раб. Ты червь песка.
 Малек воды. Молекула блаженства.
 Сознания беззвучность. Из движенья
 Лишь жилка голубая вкривь виска.
 Лишь крылышки дневного мотылька.

Алексей ПЕТРОВ

* * *

Не стрелы его оказались глупыми
 Он крылья ее разглядел под лупою —
 и на иголку
 И сны тревожные — будто вещи
 Что станешь в рамочке чьей-то вещью
 и все без толку...

Течет под камень дорога речкою
 Журчит речами и точит вечное
 и все проходит
 И солнце зимнее в небе ясном
 Напоминает что жизнь прекрасна
 прекрасна вроде...

* * *

Как будто дождь. И он, увы, прошел.
 Не разуваясь.
 Здесь не безумно. Просто хорошо.
 И не стараясь.

Ни темноты, ни смерти не боясь
 В глазу у кошки,
 Возможно жить и жить не торопясь,
 По чайной ложке.

Полцарства нет, но я еще герой,
 И конь на троне,
 И дворник с бородатой метлой
 Твой сон не тронет.

Здесь кошка-ночь с подпалинами звезд
 Легла на крыши.
 И несерьезно так, что все всерьез,
 Пока ты дышишь.

Татьяна НИКОЛАЕВА

Лист

Как плавно этот лист
слетает в глянец лужи —
асфальтовым кольцом
плененный небосклон...
Лети, ошметок дня!
Ты и опавший нужен
мгновению любви
в бесстрастии времен.
И плод падет, и снег
падет на тело плода,
гниющего в траве
для семени внутри...
Какая в этот миг
прозрачная погода —
в миг смерти на земле:
смотри!
Лети, душа, в зенит.
Изъятая из списка
живых, ты навсегда
прописана в раю.
Смотри, душа, на дно:
оно от рая близко
совсем. Я до него
ногами достаю.

* * *

Какой печали тень прошла по дому?
Какой надежды льется свет из окон?
Я сердце не хочу отдать другому,
Не заблудило дабы ненароком.

Осенний ветер яблоню нагую
Склоняет низко, плод срывая спелый,
Я песню не хочу начать другую,
Я эту еще — горькую — не спела.

Как чистый лист — снег первый у порога,
Вороний глаз — из тополя, украдкой.
Я не прошу другой судьбы у Бога.
Мне и моя порой бывает сладкой.

БЕЗ ЛИШНЕЙ ДРАМЫ

Поэзия участников

Регионального совещания сибирских авторов

С 22 по 25 августа на базе «Сундучок» (с. Новопичугово, Ордынский район НСО) прошло Региональное совещание сибирских авторов, посвященное 90-летию новосибирского отделения Союза писателей России. Мероприятие было организовано редакцией журнала «Сибирские огни» совместно с новосибирским отделением СП РФ при поддержке министерства культуры НСО, администрации Ордынского района и бизнес-группы «NORDАЗИЯ».

На совещании присутствовали литераторы из Абакана, Новосибирска, Кемерово, Красноярска, Барнаула, Братска, Ленинска-Кузнецкого и других городов Сибири.

Мы представляем вниманию читателей поэтическое творчество участников совещания.

Редакция

Оксана ГОРОШКИНА

Красноярск

* * *

Без лишней драмы и без претензий
Пиши о том, что тебя не ранит:
Вот жук уселся в букет гортензий,
Вот сад цветущий покоем залит.

А душной ночью в безлунной гуще,
Забившись в угол, обняв колени,
Тверди бездумно: вот жук цветущий,
Вот сад уселся в букет сирени.

Агата РЫЖОВА*Кемерово***Братики**

Перемешались телами ли, юностью, болями:
 как мы упорно стремились своими юдолями,
 как мы качали в люльке ладоней рваное сердце свое —
 и другое —
 сладкое месиво.
 Как мы нелепо скользили по краю — в бездну летели — и было весело.

Верили как — помните? — други ли, братья ли,
 как мы божественно спятили — пятились
 после проклятий, распятий ли.
 Кто из вас, братики, не заперал своих слез в мою ванную?
 Мальчики плачут — падают слезы
 на пол нектаром и манною.

И прорастают страданье-цветы — розы, репейники —
 Через бетонное тело, холодные лики кафеля.
 Пусть кобели-маргиналы-затейники —
 Господи, как мои братики плакали...

Виктор БРОВИКОВ*Кемерово*

* * *

Из памяти, как яблоко, достать
 В налипших листьях позапрошлый август
 И воздуха прозрачную усталость,
 Вечерний дождь, испуганную статю
 Деревьев, что боятся на асфальт
 Ступить корнями. Что еще осталось

В том августе? Заплаканный карниз,
 Скамья, стихи, привычно: осень-восемь,
 Паденье яблока, пустяшные вопросы,
 Теперь не вспомнить ни имен, ни лиц,
 Лишь яблоко летит все вниз и вниз...
 ...И падает, и наступает осень.

Пишу тебе из осени — в декабрь.
В январь, в февраль — в любое время года,
Где ты сейчас листаешь календарь,
Пьешь чай, хандришь, ворчишь на непогоду,

Перебираешь дни, играешь с кошкой,
Читаешь, вспоминаешь по стихам,
Как желтый лист вжимается в ладошку
И заспанное солнце по утрам.

Пишу тебе стихи, скамейки, сад,
В котором, как обычно, листопад,
И ветер треплет старые газеты...

Сквозь тополя промыт, процежен свет...
Ты знаешь, а на самом деле нет
Без света... ничего на белом свете.

Мария ДУБИКОВСКАЯ

Новосибирск

Температура

Грипп подарил неделю меда и молока.
Девочки похудели к знаковым сорока.
Выросли из тусовок, вырастили герань.
Славно сопится совам в невыходную рань.

Только разлепит утро розовых глаз прищур —
Тянешь привычно внутрь совести чуткий щуп:
Линий искать обрывы, править путей прогиб...
Все дорогие — живы, розданы все долги,

Выглажены рубашки. В комнате — ни души.
Хочешь — дыши ромашкой, хочешь — роман пиши.
Стук по стеклу — синица: нежишься? Баловство!
...Можно еще влюбиться, если найти — в кого.

Надо же, тридцать девять. Надо бы снизить жар.
Чаю с малиной сделать — и продолжать лежать.
Сколько еще осталось? Дети приходят в три.
«Где вы берете радость?» — Черпаем изнутри.

Небо окно верстает, крася и голубя.
Девочки кем-то стали — или ушли в себя.
Взять записную книжку, твердо поставить цель...
Выдохни. Передышка: мед, молоко, метель.

Мария ОКУНЕВА

Абакан

* * *

Там, на берегу
перед морем, стою.
Корабли отплывают,
ибо нужны в бою.
Или в миру,
не здесь
воздух разрежен,
весь
состоишь из частиц.
Человеческих лиц
не вспомнишь:
они — одно
смотрящее вдаль пятно.

Елена ЖАМБАЛОВА

Улан-Удэ

* * *

7 вечера. Папа с работы
на рейсовом не приехал.
А значит, что папа напился,
и мама на прорубь с ведром
идет, громыхая чрезмерно.
Мы рядом по снегу с сестрою,
а в доме напротив — гирлянда
и радость, и все вчетвером.

Вот так прорастают обиды,
темнеют наивные взоры,
но это не зависть, а просто —
как здорово было бы!..

Отец полубоморожен,
лежит возле печки и стонет.
И хочется даже из тела —
не то что из этой избы.

Всеволод ИВАНОВ

ПРОСПЕКТ ИЛЬИЧА

Р о м а н *

Глава двадцать четвертая

Там, где невежда и подлец удовлетворится явной нелепостью, подлецу, получившему «образование», необходим некий наукообразный туман, лучше всего философический.

Иоганн Август фон Паупель родился вблизи Регенсбурга, на берегу Дуная, где возвышается величественное мраморное здание, храм славы немцев — Валгалла. Свыше двухсот мраморных бюстов знаменитейших германцев в самом раннем детстве Иоганна приглашали в свою среду. Он внял этим приглашениям!

Иоганн знал, что путь к славе тяжел и тернист. Здесь, наряду с искусством жить на ограниченные средства, надо еще обладать умением добывать знания, экономия и деньги, и время. Судьба помогла Иоганну. Отец его, помещик и владелец сыроваренного завода, проиграл и поместье, и завод свой в карты. Средняя мера способностей Иоганна, как вскоре выяснилось, равнялась тем средствам, которые ему оставил отец. Иоганн, таким образом, мог с успехом соблюдать в духовной области такую же экономию, как и в материальной. Он стал фанатиком порядка. «Я скорее уничтожу свое дело, — любил повторять он слова одного дрянного философа, — нежели буду терпеть его в беспорядочном виде». Он стал искать — где могут быть выдвинуты на первый план истинные черты человеческого величия, в то время как ложные здесь же должны подвергаться всяческому осуждению? Где оценивается жизнь с точки зрения подлинной действительности? Где поднимается человеческий дух? Ну, конечно же, в немецкой армии. «Армия введет меня в пользование наследством, хотя отец и не оставил мне наследства!» Как видите, в голове Иоганна не наблюдалось недостатка в глубоких исследованиях. Да и эстетические воззрения Иоганна нашли свое выражение. Короче говоря, Иоганн в недалеком будущем стал офицером немецкой армии.

* Продолжение. Начало см. «Сибирские огни», 2016, № 7, 8, 9.



Путь к славе тяжел и тернист. Иоганн испытал это. Нашлись голоса, которые смеялись над прусской муштровкой. Иоганн презирал их. Нашлись голоса, которые предупреждали немцев. Иоганн сказал, что с этими голосами связаны еврейские интересы, что соприкосновение с произведениями иностранной большевистской литературы прививает молодым немецким умам много извращенного, временно сбивает их с толку и делает нравственно-больными. Иоганн не участвовал в войне 1914—19 гг., и так как отец его проиграл не только эту войну, но и все состояние свое, то, естественно, Иоганн мог с легкой насмешкой относиться к способностям своего отца, а оттуда вообще к способностям отцов немецкого народа. «Они, колеблющиеся или заблуждающиеся, не должны ослаблять чувства немцев и отклонять их в сторону!» — восклицал он в кабачках, наполненных фашистскими офицерами. Ему казалось, что в нем имеется много такого, что бросает совершенно новый свет на культуру нашего времени.

Он пристрастился к теориям танковых масс, диктующих свою волю войне, что и высказал в ряде брошюрок, прославленных не столько умом их автора, сколько виртуозностью казарменной брани, которой они были наполнены. Он добыл эти ругательства со дна средневековья, из лат ландскнехтов, из шлемов крестоносцев. Он вызывал к жизни средние века! Стараясь восстановить немецкий романтизм в духе Шлегеля, он переносил замки, кольчуги и турниры на современную почву. На вид его теории казались возвышенными, в особенности тогда, когда ярость фашистов против Франции, Англии, США и СССР приняла самый мрачный характер. Понятно, что подобно тому, как молодой Товия, приложив рыбью желчь к правому глазу отца, исцелил его, так и фашистская партия исцелила все недуги, которыми мучился до того фон Паупель: страсть к наживе, возможность убивать беззащитных, истребление всех, кто не родственен прусскому юнкеру, его шагистике, его душе, ровной и столько же прекрасной, как палка!

Иоганн стал «известным полковником фон Паупелем». Он подписывал свои статьи «полковник фон Паупель», он рисовал в них рыцарей-крестоносцев, закованных в латы, он указывал на замки сарацинов, подлежащие разграблению! «Танки — ваши латы! — восклицал он. — Танки — ваши щиты! Танки — ваши железные кони! Пехота и артиллерия — ваши оруженосцы! Вперед, против неверных!»

Когда он написал достаточно много слов, напечатал их, ему вручили достаточно много танков под командование. Казалось, что его слова уменьшили то недоверие друг к другу, которое все более и более возрастало в немецкой армии: ибо склонность предполагать всюду дурное заразительна. Туманная фразеология фон Паупеля словно бы отдаляла его от действительности, делала безвредным для фашистских вожаков — и бездарным для других офицеров армии.

«Танки “известного полковника фон Паупеля”, — как писалось в немецких газетах, — шли по Европе торжественным средневековым маршем». Да, они шли! Они шли, подминая под себя детей бельгийских

крестьян, они убивали французов, они топтали оробевших и удивленных вторжением датчан, они давили греческих мужиков, сминая в одно — тела и греческую землю, чтобы позже командирам танков пить то вино, которое недавно давили эти греческие мужики. Его танки, грохоча и изрыгая огонь и снаряды, действительно прошли Фермопилы! Они увидели Средиземное море и читали в газете доказательства, написанные руками вот тех самых журналистов, которые сейчас, сверкая «лейками», стояли возле виселиц села Низвовающего, доказательства того, что теперешние греки — не потомки тех великих греков древности, а настоящие греки есть те самые немцы, которые пришли сюда, прячась за броню танков и наполняя воздух перегаром бензина и перегаром дурного пива и жалкой пищи!

Цепи солдат сгоняли на площадь крестьян. Длинное бревно, положенное на козлы, вроде козел, которые строятся для качелей на Пасху, бросало толстую тень на бледные и мрачные лица крестьян, которые стояли, глядя в землю. Приговоренные к повешению, три старика и юноша лет шестнадцати, чуть касаясь ногами табуретов, на которые они должны были встать, чтобы им накинули петли на шеи, тоже стояли, глядя в землю. И было что-то общее и во взглядах крестьян, угрюмых и злобных, и в опущенных головах приговоренных.

Молодой, с пухлыми ушами, журналист поглядывал в небо, а затем в справочник. Он никак не мог привыкнуть к свету, и фото получалось то с передержкой, то с недодержкой. Он завидовал своему приятелю, лысому, очень опытному, а самое главное, очень самоуверенному, обладающему тем, что на их языке называлось «вкусом крови». С удивительным бесстыдством и дерзостью приятель его описывал уничтожение людей, находя в этом удовольствие и умело подбирая краски. Молодой журналист уже воспитал в себе удовольствие при виде умирающего врага, но он не умел заносить это удовольствие на бумагу, и это раздражало его. Вот и сейчас пожилой журналист, — он был немного и художником, — накидывал в записную книжку фигуры «саботажников», приговоренных военным судом, — хотя такого совсем и не было, — к повешиванию. Молодой журналист время от времени заглядывал через плечо в походный альбом пожилого журналиста, и ему было завидно, как это из-под руки его приятеля выходят зверские лица заговорщиков, тогда как фотография передаст только простые и обычные лица крестьян. Молодой журналист направился к полковнику, который говорил с лейтенантом, распоряжающимся процедурой повешения.

— Я чрезвычайно вам обязан, господин полковник, за организацию главы моей книги, — начал журналист и, увидев подходившего приятеля, который, охваченный ревностью к вниманию полковника, спешил к ним, журналист торопливо закончил: — Но нельзя ли отложить процедуру уничтожения заговорщиков на десять минут, когда выйдет солнце? Пленка у меня французская, а они никогда не умели делать хорошую.

Полковник фон Паупель хрипло рассмеялся и сказал:

— Марианна всегда плохо заботилась о своей пленке.

Двусмысленность ответа вызвала смех у журналистов, и полковник, считавший, что превосходный солдат не разделим с превосходной шуткой, был доволен и сказал:

— Чудесно! Мы отложим приговор на полчаса. Хотя это и вне моих правил.

Успех в войне и «естественной добыче ее», как называл грабеж полковник, зависел, по его мнению, от многих причин, а одной из них для танковых войск было пребывание на месте ровно столько времени, сколько умные люди высчитали, а едва ли не самым умнейшим полковник считал себя. На повешение крестьян и вообще демонстрацию ужаса, а значит, и вытекающего отсюда повиновения, полковник для села Низвопящего и его района определил полтора часа, вместе с водружением виселицы. Просьба журналиста увеличивала этот срок ровно на двадцать минут. Как оторвать двадцать минут от славы Германии? Полковник слегка негодовал на свое тщеславие, которое желало видеть его превосходно вышедшим на фоне виселицы и трупов, — всего того, что приличествует доброму крестоносцу и рыцарю!

— Вот что, — сказал полковник молодому журналисту, — пока нет солнца, я покажу вам нечто любопытное: как ловят мышей.

И он приказал лейтенанту:

— Проведите, лейтенант, приговоренных вдоль линии собравшихся крестьян. Возможно, среди них есть еще не обнаруженные коммунисты, которые должны на своей шее почувствовать приговор истории. Тот, кто выдаст коммуниста, получит помилование!.. — Он покачал головой, не одобряя своего мягкого сердца, которое постоянно вовлекало его в ошибки. — Нет, о помиловании ничего не говорите, а скажите, что им будет оказано снисхождение. Раб, которому обещано снисхождение, уже видит в этом помилование.

Полковник фон Паупель привык из-за грохота танков, сопровождавших всю его жизнь, говорить громко. И сейчас на площади села Низвопящего, он говорил громко, отчетливо выговаривая каждое слово. Полина и Матвей стояли во втором ряду крестьян. Полина поняла слова полковника. Она взглянула на Матвея. Он стоял, вытянув шею к виселицам, и мигая в такт шагам полковника, который шел к толпе. Приговоренных вели впереди полковника.

— Крайнего видишь? — спросил, чуть шевеля губами, Матвей. — То — Семён Сухожильнов, комсомолец, вместе на курсах были...

Он не успел договорить, на каких курсах они были вместе с Семёном. Приговоренные остановились против них. Полковник спросил по-немецки. Лейтенант, плохим русским языком, крикнул в сторону Матвея:

— Полковник спрашивает: где плачет?

Полковник уже не глядел на Матвея. Он смотрел в стоящее за ним лицо пожилого крестьянина. Полковник, видимо, наслаждался тем ужасом, который внушал его взгляд крестьянину. Лицо крестьянина стало

землисто-черным, дыхание столь прерывисто, что Матвей обернулся к нему. Матвей подумал, что крестьянин не выдержит и выдаст кого-нибудь. Он не боялся за себя, иначе разве он сказал бы лейтенанту:

— Я не понимаю по-немецки.

— Я говорю по-русски! И ты должна знать немецки!

Полковник перевел на него взгляд. Крестьянин за спиной Матвея, охнув, упал в обморок. Матвей стоял спокойно, чуть припав на ногу и приподняв плечо. Поза эта казалась полковнику дерзкой. Он спросил у переводчика, что говорит русский мужик. Переводчик сказал, что русский мужик дерзит, и не столько словами, сколько тоном этих слов. И так как лейтенант происходил из более знатной семьи, а главное, славился ядовитыми доносами, то он осмелился добавить:

— А в психологии, как известно, господин полковник, самое главное не слова, а тон.

Полковник раздвинул мужиков. Лейтенант положил руку на кобуру револьвера, ожидая, что полковник прикажет немедленно же пристрелить мужика. Но полковник хотел показать силу своего кулака журналистам. Как и все немцы, он не разглядывал лицо Матвея; для него не важно было — то или другое перед ним лицо, важно лишь то, что оно было русским. Он, так сказать, бил в идею, а не в личность, ибо разбираться в лицах ему не было времени, да к тому же выглянуло солнце и можно было приступить к повешению.

Полковник, чуть привстав на корточки и наклонив туловище, ударил кулаком в лицо Матвея, который стоял, заложив руки за спину.

— Он не понимает! — сказал полковник. — Ты должен понимать новый порядок!

Матвей даже не пошатнулся под ударом. Нижняя губа его чуть опустилась, и тонкая струйка крови упала в пыль.

Рука его легла на щель заднего кармана.

Но другая рука, рука Полины, сняла его руку. «Вы погубите всё, те ценные сведения, которые мы с вами добыли!» — говорил этот жест ее.

Полковник был недоволен своим ударом. Мужик стоял! Полковник отвел руку назад. Но второго удара не понадобилось. Журналисты захлопали в ладоши. Русский мужик, оказывается, просто остолбенел от силы удара — и упал две-три секунды спустя.

Матвей упал, потому что стоявший позади его и оправившийся от обморока пожилой селянин дернул его за ноги.

— Лежи, Кавалев, — сказал он. — Моя смерть!

И точно, было пора. Полковник приказал повесить мужика, которого он ударил, вместе с остальными приговоренными. В конце концов, как видите, у полковника имелось некоторое чутье. Однако чутья этого оказалось мало: полковник не отличил от Матвея пожилого крестьянина, который, нарочно прихрамывая, вышел медленно из толпы и направился, вместе с другими, к виселице. Да и то сказать, откуда полковнику фон Паупелю было запомнить лица всех тех французских, бельгийских, датских



и греческих крестьян, которых он бил и тела которых болтались на веревке по его приказанию? Он играл в карты и войну — и ему удивительно везло, так, как не везло ни одному его предку, ни одному крестоносцу, ни одному рыцарю! Естественно, что, как всякий счастливый убийца, он был слаб памятью на лица.

Глава двадцать пятая

Матвей и Полина вернулись в каменоломню.

Прошли только сутки с того часа, когда они ушли отсюда — а как все изменилось! И раньше-то, едва только пройдешь ореховую заросль и увидишь перед собою яму, до половины заваленную гнилыми стволами деревьев, под которыми едва ли кто мог заподозрить вход, Матвея охватывало какое-то странное чувство торжественности и в то же время простоты, когда думалось: «Вот я попал сюда, в желанное место, вовремя и кстати!» А теперь это чувство углубилось, стало еще торжественнее, благозвучнее, размереннее; Матвей испытывал то, что испытывает поэт, когда проза его мыслей переходит в плавность стиха, когда неисчислимые оттенки чувств приобретают гармонию и соотносительность частей, и когда человек говорит: «Ничего не пожалею, чтобы добиться своего!»

Черные пятна от костров на стенах каменоломни, тусклое освещение, намеки на опасность, которая стояла за плечами у каждого, задумчивые лица, взгляды, бросаемые на вошедшего и заключающие в себе вопрос о том, жив ли друг, брат или отец, — все это было сейчас необычайно близко сердцу Матвея. Он вспоминал комсомольца Семёна, которого немцы провели мимо согнанных крестьян, короткий взор его, как бы говорящий Матвею: «Ну, при чем тут разговор о предательстве или о моем спасении? Разговор тут о том, что по твоему лицу понимаю: борьба идет успешно и надо продолжать ее успешной, Матвей!» Он видел перед собой того незнакомого крестьянина, который спас его, пожертвовав своею жизнью, может быть, только тут, в толпе, перед виселицей, узнав, кто такой Матвей Кавалев и как он попал в село Низвопящее.

— Ты понимаешь, какая моя теперь обязанность? — говорил Матвей, уводя в сторону от станков то начальника отряда, то начальника разведки. — Моя обязанность — максимально быть здесь полезным!

— Не без причины, — отвечал товарищ П., а начальник разведки, поглаживая гимнастерку на тощих боках, только иронически улыбался.

— А раз не без причины, вы должны принять мое предложение.

— Чем глаже план, тем труднее его исполнение, — говорил товарищ П., отходя от Матвея.

Товарищу П. каждый день предлагали множество проектов о нападении на немцев, и он привык к необычайнейшим фантазиям, а в особенности к выдумкам новичков, которые считали партизанство каким-то сплошным маскарадом. Товарищу П. приходилось объяснять (впрочем, он делал это не без удовольствия) самые элементарнейшие законы партизанской войны. Иных, наиболее пылких и настойчивых, он просто резко обрывал.

Но с Матвеем Кавалевым положение выходило несколько иное. Что пленяло товарища П. в Матвее? Как раз то самое, чего Матвей в себе не чувствовал и от чего отмахивался всеми руками. Приглядевшись к Матвею, товарищ П. решил, что Матвей явился сюда из-за любви к Полине. Разумеется, Кавалев знаток станков, и производство он понимает, и указанные им пути поднятия выделки гранат правильны, — но все же послать могли сюда и другого, и нужно было очень уж извернуться Матвею, чтоб командование согласилось на его командировку. Это несомненно! Второе: Матвей едва ли сказал о Полине за все время два слова, но эти два слова были наполнены таким чувством, что товарищ П., прошедший бурную, наполненную страстной любовью молодость, понимал их смысл.

Кроме того, товарищ П. превосходно знал творения И. Тургенева и едва ли не отсюда происходил этот молодой человек, полурусский, полуукраинец, носящий в себе мечтательность украинца, его упорство и буйную удаль русского, потомка Васьки Буслаева. И, наконец, третье, — размышляя товарищ П., — едва ли не самое важное соображение: ветеринарный фельдшер П. побывал на многих войнах, его водил туда и характер его, и, частенько, желание помочь животным, которые на войне страдают не меньше, чем люди. Он знал войну и мог сказать с твердостью, что И. С. Тургенев недаром мало писал о войне, ибо, действительно, любви, — в смысле, ясно, тургеневском, — встречается на войне мало, как раз пропорционально противоположно тому, сколько пишется о ней в романах, посвященных войне. Да это и понятно. Уж очень надо иметь огромное сердце, чтобы вместить туда и все опасности, связанные с войной, и все тонкости чувств, связанные с любовью. К тому же обычно предметы этих тонких чувств находятся в тылу, а вернее, сама любовь, стремясь отдаться всецело войне, отодвигает их, убирает в тыл. Вот почему товарищ П. был убежден, что Полина и Матвей, оставшись вдвоем, спорят о том, уезжать Полине в тыл или же оставаться здесь, и Матвей настаивает, чтобы она уезжала... Товарищ П. с не меньшим, если не большим интересом, чем он читал Тургенева, чувствовал главы этой любви, которые разворачивались перед ним. Ему нравилось редкое романтическое сердце Матвея: «Ну, хочешь порисоваться перед девушкой своей удалью, — рисуйся!» И когда Матвей воскликнул:

— Мы себя можем этак обесславить! Надо показать фашисту, на что мы способны! — товарищ П. подумал, что Матвей убил бы полковника фон Паупеля или у моста, или на площади, не стой рядом Полина. Он не хотел губить страстно любимую женщину! Подумав так, товарищ П. стал снисходительнее относиться к предложению Матвея. В конце концов, «что, в моем отряде плохая организованность и четкость аппарата? Разве я не могу рискнуть?»

Казалось, Матвей понял его мысли. Он схватил руки ветеринарного фельдшера, — маленькие и волевые руки, — и, пожимая их, сказал:

— Согласен, да?! Вот и товарищ Полина подтверждает: нервные они, сразу заговорят, все расскажут. А видали журналисты сколько? Они



весь фронт объехали, собирали материалы для своей книги, всех фашистских начальников видели! Им лично Гитлер напутствие, может быть, читал! Личные инструкции они от него имеют!

— Тем труднее их будет похитить.

— Тем почетнее, — поправил Матвей товарища П.

— Ой, не люблю я, ребята, этой пинкертоновщины!

Но «ребята» не читатели пинкертоновщины: двадцать лет лежали между ними и товарищем П. Впрочем, они понимали, что «пинкертоновщина» — это нечто глупое и предвсудительное. Но как можно сравнивать нелепые похождения каких-то там не то сыщиков, не то авантюристов, с превосходно разработанным планом похищения фашистских журналистов из-под самого носа полковника фон Паупеля? Мало того, в плане значилось и «физическое уничтожение фон Паупеля», в скобках: «если подвернется возможность».

— Какая ж пинкертоновщина, когда это факт? — сказал Матвей. — Они теперь предполагают: раз повесили по селам сотни людей, то — могут спать спокойно. А мы обязаны им доказать: нет, вам на нашей земле спать спокойно не придется! Мы ваш сон вычеркнем! Товарищ П. Наше предприятие имеет большое политическое значение. Ты подумай: как будет реагировать крестьянин, когда узнает, что твои части похитили из-под носа знаменитого полковника Паупеля журналистов, посланных Гитлером, а?

— Да, не посылал их Гитлер. Это брех.

— Клянусь, посылал!

Матвей посмотрел молящими глазами на Полину:

— Товарищ Полина, подтвердите!

Начальник отряда замахал руками, как бы говоря: «Знаю я вас, любовь в одно связаны!»

Полина молчала.

И, странно, это-то молчание и убедило товарища П. в возможности удачного разрешения придуманного Матвеем плана. Если эти журналисты не посланы самим Гитлером, то их не так-то уж сильно охраняют. А раз не охраняют, то... ведь они ж, действительно, могут многое знать? И, самое важное, какую ж свинью можно подложить полковнику фон Паупелю. Ух! Все карты перепутает!

Глава двадцать шестая

Взрывом фугаски разрушило три дома на противоположной стороне улицы, вырвало с корнем ворота дома, где обитал полковник фон Паупель, выбило окна... Солдаты, оставляя в пыли следы больших ботинок, несли рамы к дому. «Превосходно, — подумал полковник, глядя на солдат, которые, миновав сарай, набитый тюками с товарами, покрытыми пылью, подходили к крыльцу дома, — будут вставлять рамы, и эти идиоты уйдут». Полковнику журналисты надоели.

Тем не менее полковник вежливейшее продолжал говорить или, вернее, излагать интервью:

— Отношение населения к немцам? Какое у русских может быть отношение, если я их всех растопчу? Меня не интересует отношение ко мне мертвых!

Журналисты записали. Однако записали они не более одной фразы, и взгляд их был достаточно красноречив. Что-что, а полковник умел читать мысли журналистов. Он подумал: «Черт возьми, неужели “там” настроение меняется, и мои фразы могут прозвучать по-иному?» Он спросил:

— А разве вас интересует отношение к вам мертвых?

— Зачем говорить о мертвых? — сказал пожилой журналист. — Мы предпочитаем писать о подвигах живых, господин полковник фон Паупель.

И обращение «полковник» не понравилось фон Паупелю. Уже давно он привык к своему имени, и оно нравилось ему, как добротная и почтенная вывеска богатой фирмы. «Полковник фон Паупель!» — это имя известно всему миру, пожалуй, не менее чем имя Гинденбурга. Он не променяет <его> на звание генерала и даже фельдмаршала! — так часто думал фон Паупель. Но сейчас ему показалось, что «полковник фон Паупель» звучит не так великолепно, как бывало раньше.

— Подвиги живых? Конечно же! Если я говорил о мертвых, так я говорил о мертвых русских. Их подвигов я не видал.

— Да, да.

Полковник фон Паупель сидел на стуле прямой, с подобранными, чисто выбритыми губами, и все в нем было словно выверено по ватерпасу. Пожилой журналист глядел на него, и ему все более и более казалось, что полковник фон Паупель не сегодня, так завтра, но непременно возьмет город Р. У него всюду такой порядок, все так расписано, что думается: даже взрыв советской фугаски, разметающий три дома и едва не убивший самого полковника, тем не менее входит в систему атаки города Р! Пожилому журналисту казалось, что подозрения органов, направивших его сюда, излишни, полковник фон Паупель не изумлен неожиданным сопротивлением русских, не растерялся, и дня через два-три слава его поднимется и загремит снова по всему миру. Но, с другой стороны, пожилому журналисту платили за все сведения, которые он собирал, и которые ему велено было собрать о полковнике. Он спросил:

— Они берут не подвигами, а массой, как и все варвары?

— Конечно же, конечно, — подхватил полковник, которому все разговоры с журналистами казались допросом. Он не стал спорить, хотя и превосходно знал, что «масса»-то на его стороне, а не на стороне русских. — Без массы они бы погибли.

Засмеявшись, он добавил:

— Но и бегут они массой тоже! Великолепный завод СХМ, на котором можно было бы выделять противотанковые орудия, они бросили массой! Немного противотанковых средств у генерала Горбыча.

— Следовательно, город будет взят?

— Да.

— Разрешите спросить?



— Конечно же, конечно!

— Срок?

Полковник фон Паупель посмотрел на часы, будто там он мог прочесть срок, когда возьмут немцы город Р. И журналисты, и он, полковник, превосходно знали, что срок взятия города Р. назначен высшим командованием, но они притворялись, дабы показать, что полковник фон Паупель обладает большой самостоятельностью.

Полковник фон Паупель сказал:

— Срок? Шесть дней, между нами говоря, господа.

Как только он назвал срок, он опять стал уважать себя. Журналисты особенно бесцветны сейчас! Да и что они способны написать? Разве у них есть слог? Разве они в состоянии уловить и понять ту стремительность, с которой бросится на турнир с неверными крестоносец Иоганн Август фон Паупель? Воображение его увидело замки, высокие... [пропуск в тексте] неверных, крики их жен, лица бледных, прекрасных девушек...

Он встал:

— Через шесть дней вы будете описывать русский город, господа! Через шесть дней вы получите в этом городе, господа, превосходные сувениры.

Они расстались взаимно довольные: журналисты тем, что напишут великолепную главу о бое за город на востоке; полковник фон Паупель — что разделался, наконец, с этими тусклыми идиотами и что можно немного уснуть перед тем, как поехать на позиции...

...Как раз тогда, когда полковник фон Паупель разговаривал с журналистами о подвигах и массе, грузовик, наполненный «сувенирами», в большинстве вещами музейными: екатерининской мебелью; картинами старинной школы, среди которых была великолепная копия, может быть, даже поправленная рукою художника, — портрет Карла II-го, принцем, работы Карреньо де Миранда; огромными хрустальными люстрами, искрящимися на солнце; матовыми, ветвистыми и бронзовыми канделябрами, словом, всем тем, чего не пожалело «жадное к народному добру» сердце товарища П., — грузовик медленно двигался по шоссе к селу Низовящему, где ныне находился полковник фон Паупель.

За рулем сидел Матвей в форме немецкого солдата, в каске, с перевязанной щекой. Он перевязал ее, чтобы не отвечать на вопросы немцев, но, удивительно, едва он ее перевязал, как зубы действительно заболели. Теперь он только и делал, что вспоминал о зубных врачах, у которых, бывало, пломбировал зубы.

— Слушай, парень, — говорил он, дергая головой. — Ей-богу, я зареву! Ты мне обязан спросить у немцев лекарства. Почему у вас, во всем отряде, нет <ничего> от зубной боли? Что, вы зубом не страдаете?

Начальник разведки, которому мундир немецкого лейтенанта жал в плечах и которому казалось, что Матвей трусит и оттого даже плохо ведет машину, сказал недовольным голосом:

— Предприятие и без того опасное. Еще и о зубной <боли> беспокойся!

— Жизнь вообще опасная штука, но зубная боль опаснее, — сказал Матвей, глядя в зеркало водителя, в которое видна была внутренность грузовика, люстра, прикрытая китайской вышивкой. Ветер распахнул вышивку, и морда золотого дракона отражалась в хрустальных подвесках люстры, у ног темно-гнедого коня, на котором скакал принц Карл. На матраце спал — или притворялся спящим — помощник начальника разведки, голубоглазый молодой человек с высоким лбом и привычкой держать всегда руки крест-накрест. И сейчас он спал, держа так руки. Пыль медленно оседала на его лицо, на шелк вышивки, на зеленый бархатный кафтан принца, на знаки ордена Золотого руна, и на круглую черную шляпу с широкими полями, украшенную белыми перьями. — Но раз уж взялись жить, надо жить как полагается. Я твоей славы не нарушу, дорогой товарищ!

— Об этом беспокоиться поздно. Я говорю, не надо уходить в сторону с какой-то зубной болью.

Матвей толкнул его локтем в бок и, указывая глазами вперед, на белое и жаркое шоссе, где стояли три мотоциклиста и сидели пулеметчики в тележках, сказал:

— Патруль! Спроси, нет ли у них от зубной боли?

Матвей охватил голову руками и лег лицом на баранку руля, пока сидящий рядом с ним вынимал лениво пропуск, протягивал его начальнику патруля, и тот с удовольствием читал вслух:

— От полковника Хорст<a> Карге к полковнику фон Паупелю. Да, нам это известно. Они оба антиквары. — Патрульный понюхал воздух и сказал: — Чертовски приятный дым, лейтенант.

— Трофейный.

И он протянул сигару:

— Прошу. Берите, сколько хотите. Я получил их две тысячи.

Патрульный вздохнул:

— Да. Ваш полковник — широкая натура, а наш фон Паупель столько же смел, сколько и скуп. Всего вам доброго, друг мой. Какие новости?

— Все те же.

Грузовик, окруженный сиянием мельчайших частиц пыли, на которых играло солнце, скрылся как бы в светло-коричневом нимбе. Патрульный посмотрел ему вслед, сел в мотоциклетку, и, с наслаждением закурив сигару, приказал двигаться дальше и не очень быстро, чтоб не трясло и не осыпало пепла. Он так же, как и полковник его, мечтал о спокойной и сытой жизни, о счастье в картишки и приличной доле в добыче.

Грузовик лихо развернулся у ворот, так что дежурный офицер похвалил шофера. По мягкой, уже начавшей желтеть с концов, траве грузовик подкатил к сараю. Стройный лейтенант выскочил из грузовика и, стяхивая пыль с брюк, спросил, — можно ли пройти к полковнику фон Паупелю? Дежурный сказал, что у полковника сейчас журналисты. Тогда лейтенант спросил, — можно ли выгрузить подарок и не обидится ли полковник, что подарок, хоть и громоздок, но малоченен? Дежурный улыбнулся шутке и приказал раскрыть двери сарая. Затем он крикнул



солдат, чтобы те помогли выгрузить, но лейтенант не доверил грубым солдатским рукам антикварные ценности, и велел шоферу и своему солдату, все еще спавшему на матраце у ног принца Карла, заняться выгрузкой.

— Да побыстрее! — добавил он строго.

Лейтенант спросил, — не имеет ли дежурный чего-либо от зубной боли, которая внезапно схватила шофера? Дежурный принес лекарство из домашней аптечки фон Паупеля. Лейтенант угостил дежурного сигарами. Они разговорились, глядя на мокрые спины шофера и солдата, которые очень умело, почти с нежностью, выгружали вещи из машины.

Глава двадцать седьмая

На крыльце появились два журналиста. Дежурный убежал в дом. Шофер взял два кривых японских меча, завернутых в китайскую вышивку, и, чуть прихрамывая, встал возле лейтенанта. Они направились к крыльцу и уже взошли было на него, когда вернувшийся дежурный сказал, что полковник лег спать.

— Но меня просили передать ему мечи лично!

— Он спит мало, час-два, не более.

— Но, может быть, он не заснул?

— Нет, он засыпает мгновенно. Но, впрочем, я узнаю.

Лейтенант вынул сигары и, вздохнув, подошел к журналистам. Шофер, отложив мечи, снова принялся за выгрузку. Лейтенант, угощая журналистов, опять повторил свое о трофейном дыме. Журналист постарше, окинув опытным взглядом привезенные вещи, сказал тоном оценщика:

— Тысяч на двадцать.

— Ваша цена?! — не то вопросительно, не то тем же тоном оценщика сказал лейтенант. — Наиболее красивые уже выгружены, — добавил он. — Не хотите ли взглянуть?

Журналисты вошли в сарай. Солдаты, лежавшие на траве в другой стороне двора, под тенью двух высоких танков, позже, на допросе, показали, что двери сарая закрылись как бы случайно только на одно мгновение. Тотчас же после того из сарая вынесли два свертка с коврами, и лейтенант сказал появившемуся на крыльце дежурному:

— Ковры выгрузили по ошибке. — И он посмотрел в записку. — Их мне нужно отвезти Кадлеру, штабному врачу. Кстати, он даст и лекарства от зубной боли. Ваше не помогло. Полковник меня сейчас примет?

— Полковник спит. Заезжайте к нам после посещения врача Кадлера: вторая улица направо, третий дом. Вы не видали, куда ушли журналисты? Они приглашены к завтраку. — И он добавил важным голосом, как бы подчеркивая ту честь, которой удостоился лейтенант: — Кстати, лейтенант, вы тоже приглашены на завтрак к полковнику фон Паупелю.

— Благодарю вас. Буду непременно. Вернусь через пятнадцать минут.

К счастью для полковника и к великому горю шофера и лейтенанта, обстоятельства сложились так, что через пятнадцать минут они вынуж-



дены были гнать свой грузовик во все его восемь цилиндров, во всю его возможную и невозможную мощь, по раскаленному полднем шоссе, и патрульный, тот, что принял от лейтенанта трофейные сигары, с удивлением услышал приказание, переданное по полевому телефону, захватить самым осторожным или самым неосторожным образом грузовик, уносящий из села нечто невероятно ценное. Патрульный не думал, что это русские, он просто предположил, что парни, видимо, лихие, выпили и, кто знает, подрались, может быть. В душе у него оставалась даже какая-то нежность к любезному и об[слово не закончено] лейтенанту.

Патрульный с неохотой сел в мотоциклет. Мотоциклисты выскочили на перекресток и понеслись навстречу грузовику. Однако грузовиком управлял более опытный шофер, чем думал патрульный: когда мотоциклисты проскочили один из перекрестков шоссе, как раз именно по этому перекрестку и вынесся на шоссе окаянный грузовик. Он был теперь пуст, — «зато, должно быть, животы у них полны», — с усмешкой подумал патрульный, высоко подпрыгивая на рытвинах, которыми была усеяна дорога.

Патрульный сделал знак, известный всей армии. После этого знака, повторенного три раза, он имел право открыть огонь. Он так и приказал пулеметчику, — уже забыв о любезном лейтенанте и глубоко оскорбленный, что грузовик не обратил внимания на его всесильный знак. Но пулеметчик не успел нажать на гашетку, как из грузовика, отчетливо и роково, заговорил автомат, и патрульный, с простреленными сигарами в боковом кармане и с пробитым сердцем, упал навзничь, еще на одно число увеличив и без того обильный список умерших солдат и офицеров германской армии.

Возмездие клубилось возле грузовика, как возвышались и клубились вокруг него облака пыли!

У леска немецкий офицер выслушал приказ в более категорической форме, чем тот, который слышал патрульный. Офицер, широкий, с длинными руками и короткими ногами, похожий на жука, выкатился на дорогу. Солдаты бежали за ним. Два пулемета легли по обеим сторонам шоссе, направив свои жерла навстречу катящемуся грузовику. Офицер собрался командовать. Он опустил было бинокль свой... но вместе с биноклем опустилась в Тартар его жизнь.

С верхушек деревьев послышались выстрелы, как бы звуком своим подтверждающая приказание товарища П., чтобы «все было аккуратно и без задержки, организовано, то есть». Партизаны слезли с деревьев и, пав на коней, понеслись по дну балки.

Грузовик, не останавливаясь, проехал по пулеметам и биноклю офицера, мертвая рука которого чуть изогнуто отражалась в великолепных цейсовских стеклах.

Командование передало вексель на смерть похитителей весьма солидной и весьма быстроходной бронемашине. Она делалась во Франции, и хотя казалось, что плиты ее брони сделаны больше из проклятий, чем из металла, все же машина могла развивать достаточную быстроту, чтобы вексель, переданный третьему лицу, мог быть оплачен.



Нет никакой надобности рассказывать подробно, как это произошло, что у руля бронемашины оказался Матвей Кавалев, а ковры с журналистскими душами лежали на месте артиллериста бронемашины.

— Богатая погоня! — сказал, оглядываясь по привычке, Матвей. — Ты видишь? Пять танкеток и три бронемшины. Пора нам и в лес сворачивать. Все-таки почетно: сто десять километров гнались за нами немцы, и угольки только от нашего грузовика получили.

— Организованный человек товарищ П., — сказал начальник разведки, расстегивая ворот лейтенантского мундира и озабоченно поглядывая на ковры: он опасался, что журналисты задохнутся, и еще ему казалось, что Матвей всю удачу приписывает своей ловкости, а не аккуратности товарища П., который всюду на опасных местах предусмотрительно расставил помощь.

Журналисты не задохлись, хотя ехать им пришлось много. Их вынули из грузовика и на носилках несли через какие-то хлюпающие места, наверное, через болота. Затем по коврам зашелестели ветви, затем их положили на какие-то доски, и вскоре до них донесся влажный запах воды, и мокрота просочилась сквозь ковры. Дышать было трудно, особенно когда их клали не на бок, а на живот. Тогда журналисты, чтобы выразить свое негодование, начинали мотать ногами, и их переворачивали, пока кто-то не догадался и не отметил глиной — «верх». Наконец, сквозь пыль, которой были набиты ковры, сквозь шерстинки, которые лезли в уши, они услышали веселые, смеющиеся голоса, мало похожие на те голоса, которые последние часы сопровождали их. Журналисты поняли, что они прошли, <если> можно так выразиться, через фронт и сейчас находятся на советской стороне.

Так оно и было. Ковры развернули, и экс-лейтенант, теперь уже в полуштатской, полувоенной одежде, сказал виноватым тоном:

— Извините, господа. Нам и самим это крайне неприятно. Мы не любим ни авантюры, ни авантюрных приключений. Как вы убедитесь сами, вся наша жизнь построена совершенно на другом принципе. И если это случилось, то случилось как редчайшее исключение. Я бы просил вас не обобщать его в своих дальнейших писаниях...

Журналист постарше сказал:

— Я вам заявляю: сколько вы нас ни пытайте, мы ничего не скажем!

Экс-лейтенант не мог лишиться себя удовольствия, он съязвил:

— У нас нет Гестапо, чтобы пытаться. Правда, у вас другая практика и вам трудно поверить... Прошу.

Журналисты сели в «ЗИС». Они удивленно переглянулись. За минуту до того, когда развертывали ковры, они слышали множество смеющихся голосов, а теперь дорога была пуста; кусты, окаймлявшие ее, стояли, так и не потеряв пыли. Возле экс-лейтенанта был только тот шофер, прихрамывающий, который правил грузовиком. Лицо у него было раздраженное. Журналисты по тону его голоса понимали, что он злится и негодует, но на что он злился и <по>чему негодовал, они не понимали. И очень хорошо, что не понимали.



Матвей говорил:

— Их расстреляют?

— Нет. Зачем же? Их допросят.

— А потом расстреляют?

— Потом их отправят в лагерь, где они и будут объедать нас до конца войны, — ответил экс-лейтенант спокойно. Горячие вопросы Матвея ставили экс-лейтенанта в необходимость быть хладнокровным. И он отвечал не без наслаждения, любуясь своим хладнокровием и выдержкой.

— И потом их расстреляют?

— Это уже зависит от немецкого народа, надеюсь, — многозначительно ответил экс-лейтенант.

— Э, ждать! Что ж, нельзя разглядеть палачей народа? Ты возьми их лейки, прояви негативы. Ты их души проявишь!

Матвей протянул руку к кобуре. Пока он вел журналистов, ему казалось, что он ведет их к смерти. Но теперь, когда сейчас длинная, сильная и красивая машина увезет их прочь, он не мог отпустить их. Какие там, к черту, переговоры с ними! Смерть им — и больше ничего! Смерть!

Экс-лейтенант не шевелился и даже не смотрел на Матвея. Он наклонился, сорвал былинку и, осторожно сгибая ее, старался сделать нечто похожее на остов коробочки. Все его движения говорили, что он понимает ненависть Матвея, но, понимая, уверен, что Матвей справится со своей раздражительностью, — он доверяет ему. Подождав немного, и по дыханию Матвея поняв, что тот успокоился, экс-лейтенант поднял голову. Глаза у него были карие, чистые поразительно, он, должно быть, очень отчетливо видел мир. Он приложился к козырьку фуражки и направился к машине.

Пыль от ушедшей машины улеглась. Она лежала на сапогах Матвея, сливая их очертания с дорогой. Он был один. Револьвер, вынутый им, нагрелся в его руке.

Матвей с ненавистью поглядел в последний раз в ту сторону, куда ушла машина, — и выпустил в землю заряды. Один! Два!

Затем он выронил револьвер, упал в пыль и, простерши руки к траве, которая словно бы тянулась к нему, желая успокоить, стал рвать, мять ее, бить себя ею по лицу...

Когда придет отмщение, когда?

И вспомнились ему слова товарища П., этого умного и очень пронзительного человека. Товарищ П., когда Матвей и его спутники привели фашистских журналистов в штаб отряда, повел Матвея куда-то в лесок и там, возле пастушеского шалашика, показал ему трех ребят: двух девочек и мальчика лет шести.

— По-моему, твои племянники. Из села Карнява. Так?

Матвей вгляделся. Он видел этих ребят прошлой весной; о, они сильно изменились, похудели, вытянулись, да и к тому же лица у них сейчас были как-то особо ждущие, молящие, так что, несмотря на возбуждение и радость — результат удачно проведенной разведывательной операции, — Матвей не мог смотреть на них без слез.

Да, они его племянники! Дома, в городе, о них много говорили, — особенно Мотя. Она горевала, что племянники, жившие в другом селе, не успели прибежать к ней.

Но не странно ли, что Матвей не вспомнил о них, а вспомнил о них и нашел их товарищ П., у которого и без того немало хлопот?

От этих мыслей Матвей растерялся и пробормотал:

— Можно мне их с собой?

— Для того и доставлены, — ответил товарищ П. — И еще для того, чтобы, говорю открыто, ты, Матвей Потапыч, не считал уж очень нас за простаков. Мы тоже кое-что предвидим, а иногда и получше, чем наши тезки-партизаны в прошлом. Слово — не одежда, изнашивается быстрее. Вот ты по-прежнему пошутил насчет своей командировки, а тебе за такую «командировку» может и влететь.

Он ласково похлопал Матвея по плечу и заглянул ему в глаза: не очень ли тот обиделся? Ему показалось, что Матвей не так уж отягощен обидой и грубостью, и товарищ П. продолжал:

— Так вот, Матвей Потапыч, буде спросят тебя на заводе: зачем ходил, можешь сослаться: де вызвал тебя товарищ П. и вот тебе в том мой документ. А я хотел тебя видеть инструктором насчет станков, а тебе хотелось, дескать, получить племянников, у тебя по ним сердце горело. Вот какая штука. Говори: с товарищем П. знакомы давно...

Он подумал и, улыбаясь иронически, добавил:

— Романы приучили относиться к шалостям партизанским снисходительно...

И уже совсем строго:

— Я бы к тебе не стал таким снисходительным, я не из романа. Но ради тебя тот, который в толпе у виселицы, Андрей Обхадименко, ради тебя... помер. Значит, он в тебе учуял особенное что... и мне завещал чують.

Матвей, растроганный, поцеловал фельдшера. Фельдшер ворчливо принял поцелуй, а затем сказал те слова, которые вспомнил Матвей в пыли дороги, когда лежал он и бил кулаками в землю, пылая ненавистью и жаждой мести:

— Отмищенье немцу придет, Матвей Потапыч. Мы их снабдим решеткой, а которых и пулей обременим, извините уже!

Глава двадцать восьмая

Но не эти слова, а другие, которые он, казалось, пропустил там, по ту сторону, без внимания, здесь, в городе, ударили ему по сердцу когтями так, что он искривился весь в гримасе. Он вспомнил их, когда, приняв цех, он велел закрыть дверь своего кабинета и приказал старшему мастеру Чичкину докладывать, кого из рабочих он намечает для эвакуации — «поднимались» последние станки из новейшего оборудования. Но дело со станками не было столь сложным, сколь сложным являлся вопрос: кого ж из рабочих оставить, а кого отправить?.. Коммунисты оставались

все — это бесспорно; из беспартийных отправляли тех, кто не имел недвижимости — домиков и приусадебных участков — и кто был посмекалистее и половчее; последнее-то как раз и не всегда совпадало с первым.

Матвей слушал внимательно толковое и продуманное сообщение Чичкина, сидящего плотного человека в серой рубашке с закатанными выше локтей рукавами. И столь же внимательно слушал себя Матвей, глядя на пепельно-серое одинокое облачко, невесть как, словно бы в подпитии попавшее на середину тонкого, как газ, бледно-голубого неба. Два голоса спорили между собой внутри Матвея. Один из них, напомнив слова о тезках-партизанах товарища П., привел ему в точности дальнейшую фразу его: «Слово — не одежда, изнашивается быстрее». — «Ну и что же?» — спросил недовольно второй голос, делая вид, что он не понял первого. И тотчас же первый ответил с охотой: «А то, что это значит: другая форма теперь у партизанского движения, и ты, Матвей Потапыч, должен рассказать о ней». — «Какая же это другая?» — спрашивал другой голос, продолжая делать вид, что он не понимает первого. «А вспомни, какая, продумай, что ты видал!»

Иной человек бросит наскоро слово, будто бы черкнет что-то непонятное, какую-то каракулю, по вашей душе, но какое, глядишь, произведет это огромное впечатление на вас — век не забудешь! Так вот и фраза о тезках, произнесенная товарищем П., предстала теперь перед Матвеем во всем своем громаднейшем значении. В гостиницу могут приезжать разные люди с разными намерениями, но всех их вызывает и владеет ими душа того города, куда они приехали. Так и фраза эта была подобна гостинице. Она собрала воедино все встречи Матвея с партизанами, все рассказы их, все их подвиги, и все это собранное говорило, что товарищ П., улыбающийся иронически над традициями «романов», прав.

Совсем другие, чем в Гражданскую войну, партизаны; совсем по-другому они держат себя, так же, как и другой человек Матвей Кавалев... Ну, достаточно сказать, что в лес Скрипица — где находится сейчас отряд товарища П. после внезапного обхода немцами, благодаря которому район оказался отрезанным, — явилось вначале около ста человек советской интеллигенции района, больше половины которых были люди с высшим образованием, а вторая половина — председатели колхозов, бухгалтера — со средним.

Немецкие войска прошли вправо и влево по краям района, устремляясь к областному городу Р. Крестьяне не успели уйти. Они остались в селах вместе со скотом и хлебом, и это обстоятельство удержало отряд от стремления пробиться через фронт и слиться с советскими отрядами. На короткой конференции отряда решено было провести в районе все мероприятия советской власти, которые она не успела осуществить, то есть, согласно приказу Сталина, уничтожить все, что могло послужить на пользу армии оккупантов. Стали думать: кто смелее, кто ловчее, кого лучше всех знают крестьяне? Ловчее всех оказался фельдшер П., угнавший из-под носа итальянских кавалеристов весь их ремонтный парк и передавший этот парк крестьянам другого района, где стояли уже не итальянские



войска, а румынские, следовательно, не знавшие коней итальянцев. Эти два поступка уже создали товарищу П. славу смелого и справедливого человека. Сам он, принимая командование, объяснял свой поступок не особым каким-то нюхом, а тем, что «вскарабкался из балки в сопровождении трех, глядим — коней двести, а стражи пять, да и та спит. Вот и угнали. А держать коней в нашем лесу нельзя — это вам не сибирская тайга, вся наша Скрипица оттого и называется, что скрипнет одно дерево — в конце леса слышно... Вот и пришлось отдать коней селянам». Как бы там ни было, выбор предводителя оказался удачным, и товарищ П. цепко вился по народной молве, как вьющееся растение по стене.

Однако нужно было исполнять приказ Сталина. Товарищ П. созвал селян района и обратился к ним с речью, что надо, мол, сжечь хлеб в первую очередь и во вторую — заколоть скот. Селяне помялись, а затем вышел какой-то «дид» и, потупив очи в землю, сказал, что все сказанное правильно и исполнимо, кабы успели селяне уйти от «нимца». Но раз уж такая судьба, надо попробовать «откупиться от нимца», отдать ему взамен нашей жизни хлеб и скот. И не о себе «дид» думает. Ему что?!

«Дид» поднял на товарища П. свои мутные глаза под дрожащими веками, и фельдшер понял, что, действительно, «дид» заботится не о себе, а о детях, дивчинах и жинках. Товарищ П. долго не спорил. Он велел исполнить приказ. Селяне промолчали. Товарищ П. вернулся в лес. Партизаны приготовились к бою с немцами, на случай, если б селяне выдали. Но селяне не выдали советскую власть и в то же время не сожгли хлебов. Товарищ П. не хотел ссориться с селянами. Все же, прождав срок, данный в приказе, — три дня, — он первым зажег хлеба и перебил три стада в окрестных деревнях...

Село безмолствовало, только неизвестно отчего умер один из партизан, наклеивавший в селе приказ товарища П. о регистрации в лесу Скрипица всех селян призывного возраста. Очень возможно, что партизана убили крестьяне. Однако ж немцы не появлялись ни в лесу, ни в селе. Хлеба горели. Скот уничтожался. Село по-прежнему безмолствовало и ждало. На регистрацию явилось не больше десятка людей. Пища кончалась. Питались дичками: грушами-лимонками, очень, говорят, плодом витаминным, но отвратительным на вкус, а тем более в полузрелом виде. Товарищ П. продолжал издавать приказы «именем советской власти». Бывший прокурор района читал лекции по философии Гегеля; бывший директор банка — по плановому хозяйству; бывший преподаватель истории СССР в педагогическом институте — об Отечественной войне 1812 года... когда в лес прибежали «дивчата» с бледными лицами, а за ними все, кто мог носить оружие.

Это означало, что немецкие интенданты явились в село, расклеили объявления на русском, украинском и немецком языках о том, что хлеб, скотоферма, птицеферма и вообще все хозяйство колхоза принадлежит рейхсверу, что назначается староста... Староста в тот же день, пронзенный пулей товарища П., лег на шлях, а в лес на совещание с советской властью явились «диды»...

«Обо всем этом надо рассказать рабочим, — думал Матвей. — Но как я расскажу? По своей прихоти я явился к партизанам или же, действительно, по просьбе товарища П.? Шутит он, испытывал он меня или он хотел узнать, насколько сильны традиции партизанского романа, где партизаны делают невесть какие подвиги, совсем оторванные от центра, не зная даже и задач, которыми сейчас занята советская власть?»

Может показаться, что Матвей рассуждал слишком витиевато и безосновательно. Но не надо забывать, что новая культура, пришедшая с советской властью, дала огромным массам людей важнейшее орудие человеческого разума: книгу, а наша книга, — даже учебник, — приучает человека к анализу своих мыслей и мыслей окружающих его. Правда, Матвей мало читал романов, но дух анализа, причем анализа не скептического, а анализа возвышенного, романтического, если хотите, витал вокруг него и не мог не отразиться на нем, тем более что Матвей, как человек талантливый, был особенно восприимчив ко всем чувствам и мыслям, которыми охвачены люди, идущие рядом с ним.

Матвей слушал мастера Чичкина, вносил поправки в его предложения и в предложения инженеров и представителей отдела кадров и в то же время трепетно ждал, что его позовут к директору Рамаданову. Кто-кто, а уж Рамаданов-то догадается и узнает, куда ходил Матвей, да и генерал Горбыч, к которому с докладом направилась Полина <и> уже, наверное, сообщила о поступке Матвея.

— Строительный мусор, — слушал Матвей, — можно употребить при укупорке наиболее ценных станков...

Матвей робко говорил сам себе: «Меня ж освободили на три дня от работы, перед тем как принять цех. Что я, не вправе распорядиться собою? Я могу отправлять родных, но могу и гулять...» Но тотчас же он прерывал себя: «Во-первых, ты прогулял не три дня, а во-вторых, что это за прогулка через фронт?! Время тебе было дано и для того, чтоб снарядить стариков, а также и для того, чтобы ты продумал, какие улучшения ты принесешь в цех. Увозят пятьдесят процентов рабочих. Как и чем заменить их силу и силу вдобавок высококвалифицированную? Ты понимаешь или нет, что такое начальник цеха, куда выдвигают тебя? У тебя нет специальной инженерной подготовки и, однако, тебе в такое время доверяют цех. Справишься с ним ты, значит, пойдешь дальше — может быть, в заместители директора. Почему? Что заставило тебя опуститься так низко? Как ты спасешься? Неужели ты предъявишь бумажку товарища П., о том, что он вызвал тебя? Неужели ты пойдешь на ложь, ты, никогда даже перед самим собой не лгавший?!»

Медленно приоткрылась дверь. В кабинет, сопровождаемый Силигурой, вошел технический директор Коротков. По тому, как вежливейшее ступая, входил Коротков, было понятно, что Рамаданов или не догадался или же еще не знает о поступке Матвея. Но, с другой стороны, почему же никто не приходил к Матвею на квартиру во все время его исчезновения?..

Матвей взял слово и заговорил. Он чувствовал, что говорит много, несвязно. Но так как все были возбуждены, то они прекрасно понимали



его, — и собрание вынесло «ряд ценных предложений», как сказал в заключительной реплике Коротков.

Когда мастера и инженеры вышли, Коротков со всей значительностью, на которую он был только способен, низкими звуками, проговорил:

— Авторитет твой, Матвей Потапыч, здорово поднялся. И что мне удивительно... уж я-то знаю рабочий класс, верно... удивительно мне то, что поразил их не переход твой через фронт, а то, что вывез ты оттуда трех детишек.

Силигура размеренно, словно записывая в книгу, добавил:

— Немцы у нас продовольственные склады в городе сожгли, слышал, Матвей Потапыч? Слава богу, что не был ты здесь. Не страшен пожар, а страшно то, что горит. А горела-то пшеница. Ее, обгорелую как уголь, вытаскивали, валили в кучи на площади... черная...

Он поднял глаза к потолку. Смирные, тихие глаза его налились кровью. Он как бы видел перед собой пылающие житницы, пупырчатые клубы огня... «Ух, страшная погрома эта жизнь!» — говорил его взор.

— Черное зерно, Матвей Потапыч!

И добавил:

— Предвидим черные дни: всем нам надо держаться крепче.

Матвей с удивлением глядел на него. То, что инженер мог теперь говорить о других, а тем более о Матвее, явно уважая этих других, указывало на крупную перемену, произошедшую в его душе, а то, что Силигура оставил свою былую важность, книжную и надуманную, мог объясняться слогом, хватающим прямо за сердце, — это уж совсем поразительно!

Кроме того, ясно, что поступок Матвея — уход за линию фронта — очень сумасбродный и глупый, расценивается теперь совсем по-другому, чем он мог бы расцениваться несколько дней тому назад. Все понимают, — а Матвей, пожалуй, ярче всех, — что подобное с ним уже повториться не может, и потому проказа его не сочтется той проказой, которая должна бы изглодать тело его и душу. Почему? А потому, что вчера он ходил юношей, а сегодня муж зрелый и, кто знает, может быть, и умный.

Да и разговор произошел зрелый. Начал его Коротков, и уже по началу разговора разумелось, что тут не отделаешься шуточкой:

— Ты как, Матвей Потапыч, чувствуешь себя пролетарием?

— Другого вопроса не вставало, как только пролетарий.

Глава двадцать девятая

— Пролетарий? Как же иначе! У тебя даже и фамилия чисто пролетарская: Кавалев, Каваль. Иначе говоря — Кузнецов, Кузнец?

Матвей улыбнулся:

— Издавна мы коней ковали. И деды, и прадеды.

— А теперь подковываем историю?

— Конь своенравный, — сказал Силигура. — У меня в истории записано, что Семён Каваль ковал коня аж самому Потёмкину, при проезде того. И получил за тот труд золотую подкову.

Матвей сказал:

— То разговоры. При Потёмкине мои деды коней на Урале ковали...

— Вернемся к основному. Каваль? Выковал себе подкову? На счастье. И другим тоже? Очень хорошо.

Коротков опустил черную, всю в мелких завитках, голову, помолчал мгновение, а затем, подняв голову, быстро спросил:

— Кователи счастья? Пролетарии. Заботники о всеобщем счастье? Так? Ты мне, признаться, Матвей, еще в школе не нравился. Люди, которые заботятся о всеобщем счастье и, главное, уверенные, что принесут другим это счастье, — ужасно важны. Ходят они прямые как бревно, и того гляди, упадут на тебя и раздавят тебя своими благодеяниями. Было и в тебе это, Матвей, было. И много этого было. Тебе и учиться не хотелось, а тянуло тебя на завод, делать благодеяния...

— Если работа — благодеяние, так меня, верно, тянуло к благодеяниям.

— Не к работе тебя тянуло. Работа — что? Работа — пустяки! Вы Полину Смирнову знаете, кто она?

Матвей кивнул головой — и напрасно. Не кивни бы он, — ибо что он знал о Полине? — глядишь, и по-иному, может быть, повернулась к нему жизнь. Коротков-то спрашивал: знает ли Матвей, что Полина Смирнова есть Полина Вольская? Утвердительный ответ Матвея инженер понял по-своему — и оттого взволновался еще сильнее: уважение к Матвею поднялось в нем на высоту необычайнейшую!

— Знаете? Превосходно! И вот эта Полина Смирнова, ручки которой уж никак не приспособлены к станку и заводской работе, через три недели делается квалифицированным токарем. Вот вам и работа! Но вернемся к благодеяниям! Дело в том, что у нас, людей мелких, эгоистов, как говорится, невыносимое презрение к важности тех, кто хочет осыпать нас благодеяниями. Они нам не нужны, ваши благодеяния!

Матвей опять улыбнулся:

— Ей-богу, Осип, никогда я не навязывался с благодеяниями.

— Верю. Я тебе что говорю, пойми. Я тебе прошлые свои мысли говорю! Я теперь так не думаю, и так как я человек неимоверно гордый, то я, их отбросив, постараюсь поскорее забыть.

— Какие ж у тебя новые мысли?

— А вот о пролетариате.

— Что ж о пролетариате?

— А то, что я сам себя пролетарием почувствовал.

— Благодетелем?

— Ты не смейся. Именно благодетелем! Ведь ты славянин?

— Славянин.

— И ты, Силигура, славянин?

— Обязательно!

— А наших братьев, наших родных славян вешают на каждом дереве нашей же земли. В Чехии, Югославии, Украине. Какой же внутри нас гнев, кто это способен измерить? Никто! Это — первое. А второе — про-

летарий! Тот человек, который по ту сторону виселицы способен в моем брате увидеть брата. И страдает, умирает за это. Есть такие, Силигура?

— Есть.

Матвей посмотрел в лицо Короткова. Оно было воспалено до необычайного жара. Лоб его сморщен, глаза почти выкатились из орбит, губы мокры и что-то необъяснимо жестокое светилось в его зрачках.

— И вот, соединив гнев славянина и гнев пролетария, мы получаем что? Ненависть! Великую ненависть к врагу. Она смывает все — эгоизм, тщеславие, скупость, расчетливость и, как река весной, уносит в море всю грязь и мерзость. Освобождается — ненависть. Мечь! Суд! Матвей. Война есть суд или бессудье, произвол?

— Война — суд истории, — сказал Силигура.

— А ты как думаешь, Матвей?

— Теперешняя война — это не суд. Это уже вынесенный приговор.

Коротков глубоко запустил руки в карманы:

— Пожалуй, твое определение, Матвей, вернее. Приговор немцу вынесен! И разве можно простить, например, такое? Вчера они разбомбили шесть госпиталей в городе, причем, знали, сукины дети, что это госпитали! Продовольственные склады зажгли... вот результаты!

Он вынул руки из карманов и высыпал на стол обгорелые, бурые зерна пшеницы. Зерна рассыпались с таким звуком, словно к ним была примешана металлическая стружка.

— Я их... зерна эти... сам доставал из огня. Мы их груды... груды насыпали на улице... и наши дети скоро будут есть хлеб из такого зерна. Хлеб? О-о!..

Он сжал кулаки и поднял их:

— А мы за это заставим вас, немцы, есть горящий уголь! Силигура, так?

Силигура поднял к нему тощее свое лицо, пошевелил бледными губами... Инженер не дал ему сказать:

— Вот почему я чувствую себя пролетарием. Я горю двойной ненавистью и хочу вдвойне уничтожения! Мне мало моей ненависти, я хочу еще и вашу, Матвей.

Матвей быстро подошел к Короткову и обнял его. Они припали плечо к плечу. Силигура растроганно вытер глаза — и полез за карандашом, чтобы отметить этот, как он записал, «внушительный момент» в своей истории.

Коротков сказал:

— А вы знаете, Матвей, вас уже, я думаю, уже больше часу ждет у заводских ворот Арфенов.

— Какой Арфенов?

— Тот самый. Жара. А он ждет. Он такой гордый, что и в ЦК не стал бы полчаса ждать, а тут стоит, ждет Матвея Кавалева.

— Да какой Арфенов, я не знаю?..

Словно давая справку, бесстрастным голосом Силигура сказал:

— Токарь Арфенов. С моторного завода имени Марти. Чемпион тяжестей. В прошлое соревнование чемпионов выжал он...

— А помню, помню! — сказал Матвей и, повернувшись к Короткову, спросил: — Чего ему от меня нужно?

— Того же, что получили мы. Зарядку ненависти!

В комнату часто раскрывалась дверь. Показывалось то лицо мастера, то рабочего, приходившего к начальнику цеха за указанием или <с> жалобой. Лица эти быстро скрывались, но выражение их не менялось, какие бы иступленные возгласы ни издавал Коротков. Дни и люди были как сгущенный спирт: он может и гореть, и опьянять, все зависит от среды, но как бы там ни было, он увеличивает движение и пламя, и это всем понятно.

— Какую ж от меня зарядку? Сам я заряжен, верно, а другим...

— Не замечаете? Вот это и хорошо! Едва лишь вы заметите, что способны заряжать других, эта способность ослабнет в вас. Отдайтесь ненависти, Матвей! Ненависть спасет Россию!

— Ненависть поддерживает. Спасает только любовь, — сказал Силигура.

— Любовь? К врагу? — Состояние гнева, охватившее Короткова, так усилилось, что он не мог больше говорить и упал грудью на стол. Выпучив глаза, раскинув руки, он только глазами мог спрашивать Силигуру: «И ты осмелился так мне сказать?» Все замашки Короткова ужасно нравились Матвею.

— Прежде чем говорить о любви к врагу, надо хорошенько научиться любить друг друга, — сказал Силигура.

— Важная мысль, важная! Но прежде чем говорить друг о друге, давайте покончим с врагами! Я почему обращаюсь к пролетарскому чувству? А потому, что они, подлецы, пусть и не вздумают прикрываться, в случае чего, пролетарской революцией...

— Пролетарскую революцию делают не убийцы, — сказал Матвей.

— Делать не делают, но приделаться к ней стараются. Есть обеденный стол. А есть еще запасная доска для стола, когда его раздвигают, надставка. Не разрешайте вашим домашним, Матвей, вынимать надставку для немца. Вы идете верным аллюром. Не искажайте его! И еще хочу спросить, в развитие мысли Силигуры. Славянство для вас, Матвей Потапыч, что такое? Национальное явление или внеклассовое?

Матвей думал, вода тупой стороной карандаша по столу.

Коротков с нетерпением ждал. Силигура, скрестив руки, глядел в окно.

— Национальное, раз я его язык понимаю, — сказал Матвей, — и раз много о нем с сочувствием думаю. Вот вы стали говорить о славянстве. А у меня в сердце екнуло. Почему мы так, вдруг, заговорили о нем, отчего загорелись? Да где нарыв, туда волос упади — и то больно. Очень славяне страдают, вот мы и заговорили. Война, с одной стороны, и жестока, убивает многое хорошее, а с другой, — рождает милосердие. И я прямо говорю: не боюсь этого слова — милосердие.

— Дверь в жестокость и в милосердие одна и та же? — спросил Силигура.



Коротков, вытянув к Матвею шею, воскликнул:

— Силигура, убирайся, не мешай! Он сказал великое слово, перед которым, как перед вождем, мы должны снять шапки. Милосердие к человеку и ненависть к зверю ведет нас! Вот что главное. Кто такой сейчас славянин, почему о нем разговоры? Потому что это наиболее угнетенный, это тот человек, которого немцы вставляют первым знаком в свою азбуку рабства. Славянин! Человек, принявший страдание во имя человечества и во имя его поднявший меч! Какую угодно сумму исчислений назначайте, но вы не измерите размеров и силы его подвига. Он — славянин. Слышите? Тысячелетия открывают поэтам неограниченный кредит на прославление славянина!

Он вскочил, словно бы уже читая какую-то великую поэму о подвиге славянина. Заложив руки за спину, пробежал он из угла в угол и остановился, ухмыляясь, против Матвея:

— Дело прошлое, когда я был в Америке, мне доводилось читать: большевики, мол, преследуют религию. Ну, во-первых, как можно преследовать наиболее неуловимое из всего неуловимого на земле, наиболее тонкое и странное из всех созданий воображения?.. А, во-вторых, говорил я, поскольку религия не является, как вы утверждаете, созданием плотского чувства и поскольку мы преследовали у всякого подлеца плотские чувства жадности и стремления к власти, то выходит, что мы очищали вашу церковь от этих плотских чувств? Верно?

Он раскинул руки и словно бы поклонился кому-то невидимому, с кем спорил. Разговор внезапный о религии и запахах мало подходил к обстановке цеха. Но ведь мало подходила обстановка войны к заводу, еще недавно изготовлявшему сепараторы и веялки? А разве пылкий, хотя и беспорядочный, разговор не улучшает душу, как удобрение землю? «Будем говорить обо всем, а там разберемся», — подумал Матвей.

— Ты это к чему о религии, Коротков?

— Ненависть к врагу, говорю я, охватила всех. Она перехлестнула и через религию и через все! Она очищает нашу страну! Встретил я вчера попа. Седенький, старенький, лет, небось, семьдесят. Вышел он из церквушки, а она старей его раз в десять. Колокольня, знаешь, такая острая, будто осыпалась от времени. Стоит он и смотрит. А по параллельной улице идут войска на фронт, таким шагом, что разрыхляется почва от мерности его и силы. Идут. Раз! Два! Раз. Два. Идут! Попишко вернулся в церковь и, смотрю, выходит обратно. Поверх своего подрясника, — так, кажется, называется, — накинул он брезентовую, ветхую, столетнюю непромокашку. Дрожит весь. «Что такое?», — думаю. А он, гляжу, вперед, на ту параллельную улицу. Я за ним. Любопытно, что его влечет к тому боевому шагу. Не знаю, преследовали мы «плотское» в том попе или нет, не знаю, но, как бы там ни было, попишко при звуке звонка ночью — трепетал. Возможно, плотского в нем было мало, но все-таки трепетал. Ух, как трепетал! Иначе и нельзя. Человек есть человек, то есть существо с пузырьком едкого страха внутри, страха, который стремится все вре-

мя заполнить ваш мозг. А кто мог бы помочь попишке? Никто! Правда, виделся во тьме попику Еремею бог, тяжелый славянский бог, который, как редкий сплав, очень медленно, только при гигантских градусах жара сплавляется с человеком. А здесь какое дело богу до страха попа Еремея? Простите, поп Еремей — имя вымышленное, но страхи не вымышлены... Может быть, не продолжать?

Силигура сказал:

— Продолжайте. Любопытны и размышления и приведенный факт.

— Я не привел еще факта! Поп еще бежит по переулку...

Матвей сказал:

— А ведь бежит-то он к красноармейцам. Небось, благословить?

— А вы видели это? — спросил с удивлением Коротков.

— Не видел, а знаю. У меня родители религиозные. Они чуть не каждый день ходят на молебствие о даровании победы российскому воинству. Я их разговоры слушаю, и мне все мерещится, что лет пятьсот назад... и идет на город татарва... и бьют колокола...

— Вечное, вечное! — воскликнул Коротков. — Вечная родина? Именно!

С минуту в комнате было молчание. На бетонный пол цеха упала какая-то большая металлическая тяжесть, кто-то крикнул истошно... Матвей выглянул в окно, вниз. Девушка, показалось, что рама станка упала на нее. Когда Матвей вернулся к столу, Коротков глядел на него с мягкой улыбкой:

— Я вас утомил, Матвей Потапыч. Кажется, я говорил вам истины, которые вам хорошо известны? Вот, начал про попа, думал — открытие. А вы народ свой знаете, наверное, во сто крат лучше, чем я. И если я раньше думал, что вы победили, обогнали меня отсутствием честолюбия, то теперь вижу: не этим. Знанием народа, любовью к нему! Вот вся тайна и все пророки, вот чего надо домогаться!..

— Да какая за мной числится победа? — спросил с неудовольствием Матвей, который так и не мог разобраться, чего же хочет от него Коротков.

— А появление Арфенова? В лице Арфенова вы увидите, Матвей, воплощенную физическую мощь нашего города. Это, если хотите, живая легенда его. Сколько у вас записано о его подвигах, Силигура?

— Да страниц двадцать есть... Это когда я вел спортивную хронику.

— Видите? Я буду откровенен. Вы из-за хромоты своей, Матвей Потапыч, несколько презирали спорт и оттого мало думали об Арфенове. А у него газетных вырезок с похвалами больше, чем у любого нашего знаменитого поэта. Три толстенных, как открытие Днепрогэса, альбома с фотографиями... И он приходит к вам, к хромому, на поклон?

— На поклон ли? Возьмет да и побьет, — рассмеялся Матвей и вдруг, вспомнив удар полковника фон Паупеля, весь побагровел, и шея его покрылась потом. И мгновенно на память ему пришли все рассказы об Арфенове, и стало жалко, что его не было там, на пыльной площади, возле виселиц...



— Кто вас теперь побьет, Матвей Потапыч? Ваш цех сейчас первый по работе, хотя вы только что и приняли его. И по темпам эвакуации станков первый... Чем это объяснить? Да так же, как и приход Арфенова, — славой! Легенда наших дней! Две легенды соединятся вместе: сила Арфенова, смелость и выдумка Кавалева, и не будет им равных, — сказал он с легкой, почти неуловимой завистью. — Все знают и о вашем походе за линию фронта и что сам Рамаданов...

Матвей встал:

— Что Рамаданов?

— ...сам Рамаданов сказал, в моем присутствии: «Парень получается, жизнь с него кое-что состругала».

— Когда сказал?

— Сегодня.

— Ну?!

Матвей положил руки на плечи Короткова и сказал:

— А ведь здорово отметил старик?

— Еще бы не здорово. Подобным словом он, так сказать, санкционировал всю целесообразность вашего поступка, а он был и взбалмошный и нецелесообразный. Теперь попробуй, пожалуйста на Кавалева и его уход. «Я сам его послал», — скажет Рамаданов. Везет вам, Матвей Потапыч!

— Везет его любовь к человечеству, почерпнутая... — И Силигура оглядел Матвея. «Откуда, из какой книги, почерпнута вами любовь? — говорил этот взгляд. — Где, в какой библиотеке, ее достали, кто рекомендовал ее вам, и почему рождение вселенной любви появилось у вас раньше, чем это отмечено каким-либо автором?»

Коротков воскликнул:

— Да, верю — любовь. Но, Силигура, мало сказать — любовь. Надо — в о з л ю б и т ь. Вот что! Я вот понимаю любовь, но возлюбить друга, товарища не могу. Я больше думаю о себе, больше люблю себя. Смотрю на человека и думаю: «С нужным ли столкнулся, и если с нужным, то какое впечатление на него произвел?» Смотрю на другого и думаю: «Завязывать ли с ним знакомство, какую пользу я могу от него получить?» Такова неприкрашенная правда о моей любви.

Он отскочил, словно боясь, что нагромоздит на себя еще невесть что... и о Моте подумал он. Он ушел.

Силигура всматривался в дверь, которую поспешно закрыл за собою Коротков. Силигуре казалось, что даже дверь, и та оттеняет всю важность главы в истории завода, которую библиотекарь сегодня запишет. Возмужалый разговор, хотя и до забавности беспорядочный! Силигура спросил с жадностью, перед тем как уйти:

— Матвей Потапыч! Единственно прошу: составьте список книг, которые вами прочтены в последнее время. Только список может рассеять темноту непонимания и он же объяснит вашу зрелость мысли!

Матвею не хотелось признаваться, что именно в последнее время он не мог читать.

— Боюсь, что не мои книги, предложенные вам, а другие. Какие же, Матвей Потапыч? Не скрывайтесь перед историей.

Матвей пообещал дать ему список.

Как только ушел Коротков, в кабинет нахлынули мастера. Они окружили Матвея. Большинство их уезжало со станками. Они требовали, чтобы Матвей настаивал перед директором, — надо возможно больше увезти заготовленного материала, чтобы как можно короче был пусковой период там, на новом месте... Лицо у Матвея стало озабоченное, жесткое. Он говорил отрывисто, едко, так что каждый грамм металла, казалось, вынимали из сжатого крепко кулака его.

— Место там, верно, широкое, просторное, — говорил, окая, седой мастер, — обильное место, но, однако, металла там полная бессмыслица. Металл надо отсюда... снабдить нас здесь припасами...

— Не дам металла! — рычал Матвей, и рыканье его долго еще сопровождало шаги Силигуры мимо цехов и во Дворце культуры.

Матвей рычал? Да! Он рычал. Он рычал потому, что мастера понимали: Рамаданов сейчас, более чем когда-либо, благосклонен к Матвею и надо воспользоваться этой благосклонностью в интересах цеха. Матвей знал, что в Средней Азии на первое время с металлом будет туго, но еще туже может оказаться здесь, если немцы окружают город и если... и если Рамаданов останется здесь, а Матвей по приказанию директора уедет с эвакуированными станками. «Не поэтому ли так милостив директор? Легко узнать. Нужно только попросить металла, и если металл отпустят, значит, — Матвей, собирайся. Хватит, погулял через фронты, поразвлекался...»

Матвей рычал на какого-то мастера, а в то же время не видел его лица из-за выступивших на глаза слез. Как? Он уедет, оставив здесь Рамаданова и все, что тут сделано? Нужно идти сейчас же, говорить!..

— Матвей Потапыч, — взывал один из мастеров, остающийся на заводе, — ведь падает окаянное производство.

— Отчего? Уехать хочется?

— Не уехать, а бомбы гонят нас в бомбоубежище. А времени сколько уходит?.. Вчера четыре часа сидели! Четыре! — подчеркнул он.

— Зачем же сидеть? Сидеть не надо.

— Затем, что тревога. Тре-вога!..

Матвей с сияющим лицом взял трубку и, вызвав кабинет директора, сказал:

— Ларион Осипыч! Есть ценное предложение. Нет, не мое. Я, выходит, уж не освещаю, а только отражаю. Зачем грустить? В прожекторе тоже отражательные зеркала есть, да в середине пулемет. Ха-ха! Тут у мастера одного мелькнуло в голове такое... — Матвей, смеясь, взглянул на недоумевающего мастера и, подмигнув ему, добавил: — Какое предложение? А такое: работать у станка и в цеху несмотря на тревоги и бомбежки, поскольку от них снижение производительности! К вам придти? Иду, Ларион Осипович.

Глава тридцатая

Матвей шел к Рамаданову.

От цветника, заканчивающегося высокой алой клумбой и серым бетонным бассейном фонтана, пахло запахом травы, особенно трогательным в охватившем заводской двор дыхании асфальта, удушливом и вязком. Чтобы так цвести цветам, надо их усиленно поливать и полоть. Какой броней обшит садовник? Что он думает, когда тащит шланг к фонтану, ибо струи фонтана не бьют, а вода в бассейне его высохла и бетонное дно покрылось дымчато-голубой пленкой ила и пыли?

Запах травы оживил в Матвее уже заглушенные было картины поездки за фронт. Он подумал о Полине — и тотчас же увидел ее. Или, может быть, он, увидев ее, вспомнил о товарище П., своих странных учениках, чудовищной их понятливости, каменоломню, широкую дорогу, грузовик...

Полина подходила к нему. Сквозь загар, покрывавший ее лицо, пробивался румянец. Голубые ее глаза казались оттого особенно милыми, веселыми и упорными... Матвей даже пожалел, что давно не был дома и не видел ее. И тут же пришли на память старики родители, которые от любви к нему все просят отложить отъезд — и откладывают от эшелона к эшелону... и ушло так шестьдесят семь эшелонов!..

Она держала в руках эскиз плаката: мина разрывает вражеский танк. Несколько девушек с ведрами клеевой краски сопровождали ее. Силигура, в переднике и с корзиной малярных кистей, нес на плече лестницу. Увидев Матвея, он положил лестницу на асфальт и достал из-за пазухи книгу.

— Кажется, вы желали ее прочесть? — сказал он, подавая Матвею «Утраченные иллюзии».

Матвей, глядя на Полину, испытывал странное смущение. И ему казалось, что сквозь глубокое уважение к нему, которое светилось в ее голубых глазах, он мог рассмотреть нечто другое. Ему и хотелось рассмотреть это — и он стеснялся рассматривать. Почему? Кто знает!..

Перелистывая книгу и пытаясь вспомнить, — когда же он высказал желание прочесть ее, он спросил, глядя на плакат:

— Куда его?

Она указала. Поодаль, за цветником, ближе к каменной ограде завода, теперь окрашенной в камуфляжные цвета, а некогда белой, стоят зенитки.

— Возле батареи?

— Да вы на плакат взгляните, Матвей Потапыч!

За каменным забором, который был весь в камуфляжных провалах и желтовато-зеленых пятнах, опережая, таким образом, осень, Матвей увидел на плакате громаду Дворца культуры.

Вдоль стены, обращенной к заводу, стояли высокие лестницы. Матвей посмотрел на лестницу, которую нес Силигура, на плакат, — и тогда



только узнал, что плакат изображает стену Дворца, возле нее разбитый танк и белую надпись по стене:

«ТЫ ВЗЯЛ ФЕРМОПИЛЫ, А НАС НЕ ВОЗЬМЕШЬ!»

— Ты взял Фермопилы, а нас не возьмешь! — повторил с удовольствием Матвей. И он взглянул в глаза Полины. То чувство, которое ему чудилось в ее взоре, исчезло. Ему стало легче. Плакат понравился ему. Ему показалось даже, что немец, вываливающийся из танка, слегка напоминал полковника фон Паупеля.

Полина поняла его и улыбнулась:

— Правда, похож? Я нарисовала...

— Надо бы вам в живописный класс идти, — сказал Силигура.

— Не всегда творишь то, что хочешь, — ответила Полина фразой, древней, как мир.

И она испуганно взглянула на Матвея. Понял ли он смысл этой фразы? Едва ли? Да и сама Полина не совсем еще разбиралась в глубочайшем и крайне утомительном значении этих слов: «не всегда творишь то, что хочешь!» Что значит — не всегда? Выходит, что иногда-то ты творишь, что хочешь?! И, может быть, эти «иногда» и есть твои самые счастливые минуты, и, может быть, иных ты и выносить не в состоянии? Она вспомнила, — с каким удовольствием писала этот, в сущности, примитивный плакат, и с не меньшим удовольствием она показывала его теперь Матвею и видела его ставшее мгновенно темным лицо. Лицо, увидавшее полковника фон Паупеля. Какая-то частица ее искусства оказалась тем семенем ненависти, которое взнесло цветок злобы.

Как мало о себе знает человек! До прихода на завод, она считала, что высшее призвание людей, высший смысл жизни — искусство. Придя на завод, она подумала, что заблуждается и что любой труд, который полезен и необходим человечеству, — и есть искусство. Теперь искра искусства, вот этот плакат, вновь воскресил перед нею все прежние мысли об искусстве, придал им былой блеск, заставил с любовью вспоминать людей искусства, возродил в голове и сердце каждую нотку, когда-то пропетую ею... сегодня, например, ночью она пела во сне... и проснулась, испуганная!

Испуганная? Почему? Чего ей пугаться? Кого ей пугаться? Перед кем она провинилась? Перед секретарем обкома? Да разве ему до нее? И разве он не улыбнется снисходительно, когда она скажет ему: «Я согласна и петь и уехать...» Уехать?! Но почему же это слово таким чугунным корнем поворачивается в ее сердце, отрешая ее от всех мыслей?

Девушки говорили об атлете Арфенове, красавце, песеннике, стоявшем у ворот. Силигура приводил какие-то общеизвестные факты о Бальзаке. Матвей глядел в землю, словно перед ним рыли могилу полковнику фон Паупелю...

А Полина отвечала на вопросы, смеялась, встряхивала кудрями, отделившимися от косы и закрывавшими ее уши, — и продолжала думать о себе и о Матвее. Она могла очень почитать, почти благоговеть перед



человеком, свершившим что-нибудь великое и полезное для людей, но она была все же далека ему, если он не понимал искусства. Но вот Матвей — далек от искусства и совершенно не понимает его и, надо признаться, не поймет! И тем не менее Полина глядела в его, немножко широкое внизу, лицо с выпуклыми губами, редкими бровями, особенно казавшимися редкими оттого, что волосы их выгорели от солнца, на его узкий лоб, несмотря на молодость, изрезанный морщинами забот; на длинную шею, уходящую от широкого подбородка в ворот рубахи, потную, покрытую мельчайшими частицами металла; на его манеру скрывать свое прихрамывание, — словом, Полина глядела на него с чувством, далеко превосходящим даже благоговение, не говоря уже о почтении или уважении, короче говоря, — Полина любила!

Чувство, охватившее ее, тревожило ее: и потому, что она считала его малоуместным для теперешнего времени и потому, что предвидела в дальнейших встречах и разговорах с Матвеем много неожиданного и, наверное, неприятного. Уж в чем в чем, а в любви люди чаще всего грубы и пошлы!

Поэтому она очень обрадовалась, когда поняла, что Матвей все еще думает о полковнике фон Паупеле, а не о ее мыслях.

Он сказал, указывая на окровавленную фигуру немца, падающую из горящего танка:

— Нету к нему жалости. И не будет! Гори он на моих глазах и будь у меня в руках ведро, я лучше цветы вот эти полью, чем его страдания!

Он стоял, угловато приподняв плечо, дыша с трудом. Полиной не могла так долго и так мучительно владеть ненависть. Однако же чувство ненависти, владевшее Матвеем, не казалось ей напыщенным, и она сочувственно кивнула головой, когда он повторил слова, придуманные Силигурой:

— Ты взял Фермопилы, а нас не возьмешь!

Видно было, что эта фраза вела его к источнику ненависти, как погонщик ведет стадо.

— Пишите покрупнее, — сказал Матвей. — Чтобы каждая запятая была с могильную плиту.

И он пошел было. Но, не сделав и двух шагов, вернулся и пожал руку Силигуре, а затем всем девушкам и под конец, несколько смущенно, он протянул руку Полине. Чуть ли не впервые он брал ее руку... она положила свою в его с большим опасением, чем неопытный работник вторично прокаливает металл. И когда, — только одно мгновение находилась ее рука в его широкой и горячей ладони, — она взяла свою руку обратно и затем ею подняла эскиз плаката, она подумала, что именно то вторичное прокаливание стали и укрепляет ее, закаляет металл!

Матвей, видимо, боясь показаться перед нею навязчивым и дурным, спросил у Силигуры:

— А как Мотя в радиоузле?

— Слышишь? Слушай!

— «...воспитывая новые кадры, — неся по заводу голос Моти, наполненный страстью и тоскою, словно заклинание, — завод изо дня в день работает над увеличением программ выпуска. Много сделано партийным, техническим руководством, много сделано рабочей общественностью, но старики помнят о недостатках...»

Голос будто почувствовал, что его слушает Матвей. Он стал ниже и глуше, словно Матвей явил свою страсть перед нею, а она, Мотя, — отступала и уступала ему! Матвей взглянул в лица слушавших. Разве только глаза Полины понимали его, и это понимание было крайне неприятно Матвею. «Надо ей уезжать, Моте», — подумал он. Но вслух он ничего не сказал и, лишь сильнее припадая на ногу, направился к заводским воротам, где виден был, тоже разрисованный в камуфляжные цвета, «ЗИС» Рамаданова.

Глава тридцать первая

Сверх ожидания, Рамаданов, поздоровавшись приветливо с Матвеем, не ведя никаких разговоров, предложил сразу же Матвею и стоявшему возле «ЗИСа» силачу Арфенову сесть в машину.

— Мы вас, Арфенов, завезем. А по дороге вы с начальником цеха договоритесь. Моторный, что, на вас броню имеет?

Старость и хрупкость Рамаданова словно бы увеличивали рост Арфенова. Да и то сказать, ростом он был головы на две выше, а в плечах раз в пять шире. Вот почему Арфенов говорил с директором, сильно наклонив туловище и так сокращая голос, что даже отсекал половину каждого слова; а некоторые и вообще выбрасывал:

— Ка... да я не на... бро... мне бро... а мне... при... зна... — Что значило: «Какая тут броня? Да я не на броню надеюсь! Мне броней должно служить мое уменье, сейчас необходимое. Мне сейчас необходимо, Ларион Осипыч, вполне применить свое уменье и знание».

— Вы по...

Как ни удивительно, но Рамаданов все понимал, что говорит ему Арфенов. Он сказал:

— Думаю, что в цеху Кавалева вам удастся применить ваши знания, Арфенов.

— И в бо...

— И в боевом деле? У меня, как и у вас, такое впечатление, что если немец полезет в наш город, то первым делом в мой курятник.

— А мы е... по зу...

— И по зубам, и по ногам! — смеясь, сказал Рамаданов, усаживаясь в машину, рядом с шофером.

Рамаданов повернулся назад. Смотрел он на Арфенова — и не смотреть на него нельзя было: так иногда к вашему окну наклоняются цветущие ветви, и хотя за ними видны и небо, и облака, и поле, тем не менее нельзя оторваться от них. Отчаянной, необычайно свободной, стройной

силой так и веяло от Арфенова! Думалось, глядя на него, что никакая чужая воля не доберется до корня его силы, как не пробиться руке через шиповник, спутанный ежевикой. Сразу же вспоминались все легенды о нем. Он брал, например, рельс, клал его между двух столбов — и гнул, а затем с такой же легкостью выпрямлял. Железо обвивалось вокруг него как плющ, и при забаве, и при работе! Жизнь он вел, не в пример прочим русским богатырям, весьма добродетельную: не пил, не курил и страстно обожал свою семью, и весь город знал об этом. Однажды он увидел, что пять пьяных хулиганов смеются над какой-то женщиной. Арфенов схватил их в охапку, сложил в канаву и только погрозил пальцем: «Я вам!» — хулиганы часа три лежали безмолвно в канаве, да и в дальнейшей жизни находились притихшими и задумчивыми.

— По зубам и по ногам, совершенно необходимо! — повторил Рамаданов, не отводя взора от Арфенова.

Яркая полоса света упала через дверцу в машину. Она пересекла руки Арфенова, лежащие на перегородке, отделяющие шофера от сиденьев, осветила седую голову Рамаданова и словно бы приоткрыла тревогу, наполнявшую его глаза, тревогу, которую он, несомненно, хотел рассеять беседой с двумя молодыми людьми, разными по качеству, но одинаковыми по количеству силы, обитающей в них.

Однако, как ни ласково улыбался Рамаданов, как ни просто старался говорить он, беседа не клеилась.

Тревога, наполнявшая город, казалось, широкой волной вливается в машину. Почти непрерывные бомбежки очень изменили улицы, — в особенности если смотреть на них с такого непривычного места, каким для Матвея был «ЗИС». От быстрой езды обгорелые дома походили на бурые прутья, торчащие осенью на грядках и перепутанные остатками стеблей растений. Деревья бульваров были погнуты и забрызганы штукатуркой, осколками стекол, щепами. Словно чья-то рука повела сучья в сторону, и они прилипли к стволам. Шаги и голоса прохожих казались приглушенными. Иногда машина проезжала в проходе, оставленном в баррикаде. Тетраэдры в деревянных клетках бросали на нее решетчатую тень.

— Здесь?

— Да. Так, стало быть, Матвей Потапыч, мне завтра являться в цех? — сказал полным голосом Арфенов, вылезая из машины. Должно быть, картина города, увиденная им из машины, так встревожила его, что он забыл об осторожности, с которой прежде он обращался со своим голосом.

— Завтра.

Арфенов с удовольствием захлопнул дверцу, раскланялся, — он был щеголь и ходил в шляпе, — и очень солидной походкой пошел в дом, где жили все мастера спорта. О том, как тревожно настроен город, можно было понять из того, что даже ни один мальчишка не остановился и не указал пальцем на Арфенова. «Ну, у нас на СХМ куда лучше», — с гор-

достью подумал Матвей, и ему стало понятно, почему Арфенов именно к ним явился с предложением своих услуг.

— Мы поедem к Горбычу. Не возражаете?

— Нет, — ответил Матвей, чувствуя, что голос у него упал и что он очень боится генерала Горбыча.

Рамаданов склонил подбородок на грудь и словно бы задремал.

Как в природе, когда повиснет над горизонтом сизая туча, предвещающая грозу, так и в штабе генерала чувствовалась тревога. Правда, она была особенного свойства, от которого уже минут через пять пребывания ее в сердце чувствуется особенная настороженная приподнятость, все же каждому было ясно, что городу угрожала большая опасность. Даже часы в кабинете генерала били так возбужденно, что Матвей не смог сосчитать, сколько же они пробили.

И здесь, так же как и при встрече с Рамадановым, произошло совсем иное, чем ожидал Матвей. И от этого тревога еще более захлестнула Матвея.

— По всем нашим выкладкам, — жестким голосом сказал генерал Горбыч, не сядя в кресло и не приглашая их сесть, — по всем нашим выкладкам, дорогие мои...

Он взял стакан чаю, принесенный порученцем. Желтая влага качалась в стакане как при качке.

— ...по всем выкладкам выходит, что демонстрация танков противника будет направлена на СХМ, а основной удар таков...

Он помолчал, давая этим понять, что нет нужды называть им пункт, представляющий военную тайну. И он добавил:

— ...на пункт, нами предвиденный.

— Иная демонстрация стоит сражения, — сказал Рамаданов, оглядывая стол и как бы ища глазами стакан.

Генерал кивнул головой, дескать, будет сделано. И точно — вслед за кивком по-прежнему осторожным и в то же время воинственным шагом вошел молодой, розовый порученец и подал два стакана и тарелочку, на которой лежало несколько вафель и что-то завернутое в толстую серую бумагу.

Как часто позже вспоминал Матвей этот кабинет, стены, окрашенные в светло-зеленую краску с белыми кубиками наверху, неуклюжие и совершенно ненужные здесь портьеры рытого бархата, двух умных стариков, пьющих чай, который им совсем и пить не хотелось и который они пили лишь потому, чтобы показать, что они сохраняют абсолютное спокойствие и полностью уверены в удачном отражении немецкой атаки. Милые, удивительные старики!..

И как часто вспоминал Матвей эту фразу Рамаданова: «Иная демонстрация стоит сражения!» Что, он уже предчувствовал свою смерть? Или даже более, чем генерал Горбыч, был осведомлен о тех огромных силах, которые бросит полковник фон Паупель на СХМ? Или просто старик вспомнил о демонстрациях, которые он вел в 1905 и 1917 годах? Кто знает!..

...Горбыч взял с тарелки сверток в серой бумаге. Он разорвал бумагу. Перед ним лежал черный и вязкий, даже на взгляд, кусок невиданного хлеба. Матвей содрогнулся.

— Отломите и съешьте, — сказал генерал.

Они взяли в рот по небольшому кусочку. Сначала хлеб показался чуть сладковатым, но затем горечь наполнила рот и вязкость, какая-то тупая и тесная, заставила их головы сделать движение назад.

— Переброска войск по железной дороге, — сказал генерал, — помешает доставке зерна и муки в город. А весь хлеб в городе или сгорел, или обгорел, вроде того, который вы видите. Это — хлеб из обгоревшего зерна, — с военной грубостью подчеркнул генерал. — Как быть? Что вы скажете, вы, первые предложившие СХМ остаться и эвакуироваться частично?

— Мы — потерпим, — сказал Рамаданов просто. — Имеют ли войска достаточно хлеба? Ради нас ни в коем случае нельзя уменьшать рацион войск. А что касается населения, мы уж как-нибудь... Нарпит изобретет какое-нибудь кушанье...

— Ваш Нарпит способен только калькуляцию изобретать, — со злостью сказал генерал Горбыч. — На эвакуации это не отразится? Слушайте, — сказал он, глядя на Матвея, — я буду говорить прямо! Я знаю, все мы любим советскую страну, все готовы ее защищать. Но вот мы не успели еще эвакуировать всех детей... И я представляю себе, получает мать двести грамм хлеба, вот такого... на ребенка! Советская власть — советской властью, а мать ведь есть мать. Думаете, ее стоны у меня на фронте не будут слышны? И особенно ропот?

Матвей сказал:

— Программу выполним.

— Что? — спросил генерал, не поняв.

— Я говорю, что, несмотря на хлеб, программу выполним. Есть приказ Наркома: несмотря на частично проводимую эвакуацию, СХМ обязан выполнить программу пушек вдвое.

— Где? Здесь или в Узбекистане?

— В Узбекистане пока выгружаются первые эшелоны. Там неблагополучно с площадью, — сказал Рамаданов. — Там между жилой площадью и нежилой явная асимметрия.

— Следовательно, здесь? — повторил Горбыч фразу, видимо, сказанную им для себя, ибо в ней прозвучала нежность, возможная только как результат длительного предварительного рассуждения или мгновенной внутренней вспышки, вообще-то трудно выявляемой наружу у людей, настаивающих всегда на сдержанности и дисциплине, каким и был генерал Горбыч. — Благоприятный факт!..

И он разъяснил:

— Нам отделили тоже часть ваших пушек. И что любопытно: именно ваши пушки будут стоять на откосе и у моста...

— Да и на передней линии обороны, за рекой, — сказал Матвей.

— А вы откуда знаете?

— Инженеры хотят утром завтра поехать, проверить. Одна деталь там нам сомнительна...

— Завтра? — прервал генерал. — Ну что ж, поезжайте завтра. Хотя б я это и не рекомендовал.

Рамаданов спросил:

— А что?

— Выкладки, выкладки, дорогой! Вот вас деталь беспокоит, а каково-то мне, когда у меня людей да машин, может быть, миллион, да в каждом — по миллиону самых сложнейших деталей. Вот тут и поорудуй с выкладками!..

Вошел командир и, наклонившись к генералу, стал что-то тихо, но с заметным негодованием говорить ему. Рамаданов и Матвей отошли в другой конец кабинета. Когда командир ушел, генерал подумал и сказал:

— Вот жалко, что мы холостяки.

— Почему? — спросил Рамаданов.

— Я все о выкладках. По всем выкладкам сходится, что немцы начнут демонстрацию с СХМ. А немецкие журналисты не хотят этого подтвердить.

— Но если они и подтвердят, — сказал Рамаданов, — то это вовсе не значит, что фон Паупель такой дурак и будет придерживаться своего плана, когда у него из-под носа похитили журналистов, которые могут выдать его план.

— Не один план, а все варианты плана! — воскликнул генерал. — И я их предвижу. Мне только хочется проверить, все ли варианты наступления я предвидел или какой-нибудь упустил?

Глава тридцать вторая

— Варианты бесчисленны, упустить не трудно, — продолжал генерал. — Тем более что полковник фон Паупель очень неглуп, очень. Я бы не побоялся назвать его умным...

— Ну-у?! — сказал Матвей с яростью.

Горбыч пересек комнату и остановился перед Матвеем:

— А вы бы помолчали, молодой человек, — сказал он. — Я бы вас за самовольный и глупый переход через фронт должен бы отдать под суд. Но я вас простил! Думаете, потому, что вы там металл хорошо строгаете на своем станочке? Нет! Это чепуха. Над всеми вашими рекордами через пять лет мальчишки смеяться будут.

Он откинул назад тяжелое туловище. Жилы на его шее надулись, и он неожиданно фальцетом закричал:

— Я вас простил за то, что неизвестный и не знающий вас мужик отдал за вас свою жизнь и не испугался умереть перед немцами самой мучительной смертью, а вы испугались!

Он топнул ногой и, не давая Матвею открыть рта, закричал:

— Да, испугались! Почему вы не пристрелили полковника Паупеля? Что, у вас револьвера не было?

— Был.

— Стрелять не умеете?

— Умею.

— Так почему же?

Матвей молчал.

— Потому что рядом с ним стоял человек, которого вы послали в разведку, человек, несший документы и сведения, — сказал Рамаданов. — Кажется, ясно и нет смысла оскорблять человека.

— Вздор! — закричал генерал уже совершенно невыносимо противным голосом. — Глупая девчонка! Черт меня сунул послать ее! У нее знание языков и отец порядочный человек был. Как я мог предположить! — воскликнул он, бросая на пол ручку, которой размахивал. Перо вонзилось в паркет, и генерал ударом сапога откинул ручку дальше, в угол. — Как я, старый идиот, мог думать, что у нее хватит умения и силы воли...

Он сжал кулаки и задрожал. Нижняя губа его отвисла. Он был глубоко омерзительен Матвею.

— А она повела с собой! Нашли место, где нюхаться?! — крикнул он в лицо Матвею.

— Товарищ Горбыч, — сказал Рамаданов с достоинством. — Мы — коммунисты. И я, как старший в нашей партии, запрещаю вам говорить таким возмутительным тоном. Кроме того, разве товарищ Смирнова не доставила вам нужные факты?

— А черта мне от этих фактов! — опять закричал Горбыч. — Они либо выдуманые, либо ее немцы обманули.

И забыв то, что он говорил только <что >перед тем, генерал сказал:

— И вообще, кто она такая? Как она ко мне попала? Как ее угораздило пробраться через фронт? — Он ткнул в сторону Матвея. — Может быть, она этого олуха тоже завербовала?

Матвей вытянулся и спросил:

— Разрешите уйти, товарищ генерал-лейтенант?

— Конечно, только и остается, что уйти, — сказал Рамаданов, беря кепку.

Генерал Горбыч с яростью взъерошил волосы, окаймлявшие его лысину, и волосы образовали нечто вроде загнутых сверху полей шляпы.

— Ну, куда вы побежите? Писать заявление на старого дурака? Оросимов! — закричал он как <на> параде. — Дай товарищам чаю!

Когда порученец принес чаю, генерал сидел за столом, двое посетителей — против него, и говорил тихим голосом:

— И журналисты у них оказались умными. Знают, сволочи, что мы не пытаем, и играют на этом. И как играют! Как на рояле. Пищу не принимают, спать не ложатся, сидят в струнку и все спрашивают: «Когда энкавэдэ придет и палач вынет свои инструменты?» Каково?

— Да плюньте вы на них!

— Зачем плевать на умного врага? У него надо учиться. Хотя, признаться, всякий наступающий враг кажется умным. Вот ты попробуй отступить, сохранить свои войска и дух армии и ударить в нужный момент — вот это военный гений! Я убежден, что когда Кутузов узнал, как позорно бежал Бонапарт из Египта, бросив свою армию, старик уже видел свою победу над Наполеоном.

Он улыбнулся в лицо Рамаданова:

— И я убежден, что немец будет нас считать очень умными, непередаваемо умными. Тысячу лет будет считать нас такими умниками, что и к порогу нашему не подойдет, и десять тысяч лет будет корчиться при одном лишь упоминании имени Сталина. Помяните мое слово!

Глаза его молодо заблестели.

— Так, значит, холостые? — повторил он свой странный вопрос.

Он попросил Рамаданова подождать минутку, дал ему номер только что полученной «Красной звезды» и «Большевика» и, взяв за руку Матвея, пошел размашистой походкой.

Они прошли коридор, спустились по лестнице и мимо дежурного, проверяющего пропуска, вышли на улицу.

Генерал прошел два дома и остановился, прислонившись к тополи.

— Увидите женщину с двумя малолетними, скажите мне.

Мимо них валила толпа. Кое-кто узнал Горбыча. Лица их прояснились, и можно было прочесть совершенно отчетливо их мысли: «А говорили!.. Когда я сам вижу генерала Горбыча, абсолютно спокойного и не безавшего!»

Они остановили трех женщин с детьми. Генерал вглядывался в личики детей, затем делал под козырек, давал детям по конфетке, — и отпустил мать.

Наконец он нашел, видимо, тех ребят, которых искал. Одному из них было полтора, другому — четыре года. Он спросил мать: где она служит, чем питает детей. Муж ее оказался капитаном, военным служащим, и она с особой почтительностью и внимательностью отвечала генералу. Не удивилась она, когда он попросил ее зайти на минутку в штаб. По дороге он хвалил ее детей за привлекательность, и лицо женщины, очень интеллигентное и тонкое, стало положительно красивым. Эта ее красота как-то сразу отразилась на детях и на их доверии к генералу, и когда генерал предложил детям, что он покажет им фашистов, живьем взятых в плен, дети заулыбались такой же доверчивой и прелестной улыбкой, как и их мать.

Генерал взял их на руки и пошел вверх по лестнице. Матвея он оставил внизу. Удачно взятый тон разговора Матвей, к удивлению своему, продолжал так же удачно. Он спрашивал о фронте, рассказывал, что делается на заводе и даже описал, со слов бывшего там товарища, те места, куда должна была эвакуироваться стоявшая перед ним мать и ее дети.



— Ну и я преуспеваю, — услышал он рядом с собой веселый голос Горбыча.

Он стоял, весь красный и запыхавшийся. Усталый пот катился по его лицу. Дети держали по большому яблоку. Генерал сказал, смеясь:

— Самым тяжелым оказалось нести эти два яблока.

Он передал детей матери. В глазах ее искрилось любопытство. Но генерал молчал, и она, ничего не спросив и только вежливо ответив поклоном на его благодарность, удалилась.

Они прошли мимо большой красной карты, на которой тонули тоже красные флажки, и по темному прохладному коридору вернулись в кабинет генерала.

Рамаданов дремал в кресле. Генерал, с плавностью удачи, не подошел, а причалил к столу. Признавая за Рамадановым преимущества мыслителя, генерал несколько сконфуженно сказал:

— Последний раз, Ларион Осипыч, вы, помнится, говорили мне, что, предполагая поймать нас в ловушку, придуманную со всей жестокостью, немец ненароком и сам очутился в этой ловушке. Я увидел сегодня этим вашим словам удивительное подтверждение! Опираясь на них, я подумал: человек суть большое дитя, и таким он, за небольшими исключениями, останется всю свою жизнь. Дитя? Да! Дитя вы можете истязать, оно только разве поплачет. Но дитя, выросши, вспомнит свое детство и так или иначе отомстит вам за вашу жестокость. Оно промотает ваше состояние, сопьется, убьет родителя, да мало ли что? А целые народы, эти сонмища детей, еще ужаснее мстят тем правителям, которые с ними жестоки...

— Истины простые, хотя и сильные.

— То есть вы хотите сказать усмешкой своей, что я банален? Но ведь это посылка, а сейчас вы услышите вывод! Я говорю: жестокосердный наказан сердцем своим. Жестокость создает внутри палаческого сердца сентиментальное, плаксивое настроение, которое, едва прикоснувшись к миру, уже извращает взгляд на него. Оно привлекается тем, что не должно привлекать внимание, а быть естественным.

И, плюхнувшись в кресло, он рассказал, что произошло только что с фашистскими журналистами.

Оскорбляло не молчание журналистов, — черт с ними, пусть молчат и едут в лагерь! Оскорбляло, что они считают нас дураками, которые ошеломлены их силой. Так вот, надо показать, что перед ними сила гораздо большая и гораздо умнейшая. Если вы твердите, что ждете палачей, то, сколько бы вы ни лгали, вы все же думаете, что палачи могут и явиться! И когда внезапно, словно бы по дороге, невзначай, к вам входит в комнату, где вы заключены, генерал с двумя детьми на руках, вы видите, что генерал этот не только не бежит, а отражая ваше наступление, находит еще время нянчиться с детьми. И тотчас же журналисты вспомнили, что у них есть дети, что надо их увидеть, что эти сильнейшие могут простить откровенность, а если понадобится, то и раскаяние, — и журналисты заговорили!..

«У, хитрый журавель», — думал, глядя на генерала с восхищением, Матвей. Он уже забыл злость, которая вспыхнула в генерале, когда Матвей попробовал возразить ему. Он понимал, что генерал думает не совсем так, как он кричал в злобе. Это не более, чем перебранка, и если б генерал действительно так думал о Матвее и Полине, то он бы не пригласил его, Матвея... Короче говоря, Матвей искал все доводы, чтобы оправдать генерала, забыв самый главный — тревогу генерала за судьбу города, откуда и проистекала горячность его.

Обоим, и Рамаданову и Матвею, приятно было видеть изменившееся лицо генерала. Он стоял над полированным и большим столом, задумчивый и уверенный, как рыбак над безмолвной и полноводной рекой, забросив в нее тенета. Рыбак-то знает, что рыба пошла, что невод крепок; сеть длинна, как сеть наших дней... Они видели лицо изобретателя! Он способен не только на мелкие выдумки, вроде разговора с фашистскими журналистами, но силен и в большой. Ему хочется только одного: передать и им эту уверенность с тем, чтобы успокоили народ, город, СХМ. «Да, друзья, надо побеседовать с народом, это уже ваше дело, — говорил его взгляд. — Ночная буря немало взволновала людское море. Но, помните, именно это море повергнет своими волнами того заклинателя, который вызвал бурю!»

И чтобы подчеркнуть эти свои думы, генерал на прощанье сказал Матвею:

— Всяко бывает, и в мое сердце может ворваться пуля противника. Однако прошу передать: и тогда противник не ворвется на Проспект Ильича!

У порога еще раз они посмотрели друг другу в глаза. Генерал хмуро, слегка стыдясь своей выходки, спрашивал этим взглядом: «Нехорошо я поступил? Но ведь и вы, дорогой мой, согласитесь, были довольно глупы, когда отправились за рубеж!» Матвей, тоже взглядом, ответил ему: «Конечно, нашему генералу лаяться не след. И попозже, после войны, я вам напомню это. Сейчас же, имейте в виду, я совсем иной, чем тот юноша, который переходил фронт!» И генерал, казалось, воскликнул: «Боже мой, да разве я не понимаю! Вы полагаете, небось, что нести детей командира, вот сейчас, я дал вам чисто случайно? Нет! Хотелось вам сказать, но стеснялся я, генерал Горбыч, всяко случается, возможно, уйду из мира, но вам, Матвей, вмеряется та мера, которую только ты способен унести. Так неси же ее с честью!» И Матвей сказал про себя, глядя прямо в глаза генерала: «Постараюсь исполнить ваше приказание, товарищ Горбыч, как бы трудно ни оказалось мне...»

— Ну пока, Горбыч, — со штатской развязностью сказал Рамаданов, который не любил долгих проводов.

— Заходи и ты, Ларион Осипыч, — ответил Горбыч. — Какая книга? Рамаданов ответил за Матвея:

— «Утраченные иллюзии». Читает по моей рекомендации, дабы не искать ему потерянного.

— Утрачены, дорогой, не иллюзии любви, они-то для молодости кажутся вечными. А утрачены иллюзии таланта, который не кажется, а действительно вечен. Вот в чем трагедия Люсьена.

Чувства Матвея работали так напряженно, что он немедленно нашел слова из книги, если не отвечающие смыслу слов генерала, то звучности их. Это были слова, которые он прочел в машине, когда мельком заглянул в книгу:

— «О, графиня, — сказал Люсьен с лукавым и в то же время фатовским выражением, — мне бы было невозможно назвать вам человека, находящегося у вас в немилости».

Строки эти сами по себе ничего не несли, кроме разве звучности, но в общем строе произведения они, наверное, имели огромный, возможно, смысл. Так же, например, глава из полунаписанного тома «Воспоминаний и встреч», прочитанная в тот вечер по радиоузелу Рамадановым, сама по себе не была каким-либо удивительным явлением, но на фоне заводской жизни того дня и на фоне жизни самого Рамаданова она прозвучала с огромной и убедительнейшей до восторга силой.

На первый взгляд, слушая эту главу, можно было подумать, что старик решил прочесть ее, дабы утишить мучающую его тревогу, и он читает о прошлом так, как именно книги о прошлом утешают и отводят от настоящего. Но сразу же, как только вы вслушались в его голос, вам приходило в голову: почему ж такая странная тема выбрана им для утешения? И вы отвечали самому себе: нет, не для утешения он читает ее! И мало-помалу перед вами раскрывался весь тайный смысл читаемого, и если у вас было чувство громадного камня, оторванного от родной горы, или, может быть, не оторванного, а только отрываемого, то несколько минут спустя вы уже чувствовали себя той исполинской горой, от которой не оторвешь никакого камня!

Старик читал ровно и спокойно, не поднимая голоса, будто читал он о детстве своем, о котором даже имевшие его в самом дурном качестве под старость говорят с умилением, умиляясь, конечно, не красоте детства, а своему пребыванию в нем. Но впечатление это было кажущимся. На третьей, на четвертой фразе голос старика построжал и постепенно стал возрастать, словно ветер воспоминаний освежил его, как освежается на сыром и текучем воздухе разгоревшееся лицо.

Нет, живо писали те, кто утверждал, что русский народ покорно воспринимал погромы 1905 года и кошмарный процесс 1912-го! Уж кто-кто, а русский народ понимал этот известный прием древнего изуверства. Он-то знал, что еще в первые века христианства языческие жрецы обвиняли христиан в том, будто те причащаются кровью и телом нарочно убиваемых для того языческих младенцев. Так объяснялось жрецами таинство евхаристии.

— Нет! Разумных и справедливых людей России охватывал стыд и жажда сопротивления всем этим изобретениям ненависти, подхваченным невежеством. И русский народ волнениями, стачками и множеством

прокламаций указывал, что он не причастен к этому акту изуверства и величайшей клеветы. Нет! Он не побежит за толпой погромщиков, влекомой темными и преступными страстями. Нет, он не даст ослепить и затуманить народы, населяющие русскую землю, он не позволит извратить правосудие!

Голос Рамаданова гремел с такой силой, что у Матвея, Моти и у других, присутствовавших в комнате радиоузла, показались на глазах слезы, а Силигура зарыдал, словно старик прочел ему последнюю главу его «Истории»:

— Никогда русский народ не позволял и отныне не позволит извратить правосудие! Исполняя волю правосудия, он свершил Октябрь. Младшие братья его, народы украинский, белорусский и другие, поддерживали это знамя правосудия, ибо всегда с тьмой и невежеством, в разных степенях, борется чувство правды, и степень этого чувства растет ото дня на день, дойдя до наших дней, когда уже одна шестая мира стоит под стягом правды, справедливости и равенства! Мрачна ложь? Много раз она обгалялась кровью! Она убивала одних, других покрывала позором, — но близко, близко время, когда не будет лжи, не будет мрака, исчезнет позор и загрязнение честных и справедливых людей!..

— Взгляните туда, за реку, на запад. Вы видите костры, товарищи? Вы видите пламя пожаров? Вы слышите взрывы? Это во имя господства фашизма, во имя господства тьмы, лжи и невежества, жгут живьем русских, украинцев, белорусов, евреев! Это — взрывают их дома, фабрики и школы! Вы помните «черную сотню» погромщиков? Да? Так это идут «черные миллионы» погромщиков! Смотрите, под крыльями их самолетов — черный знак: свастика, снаряд пыток, символ колесования Правды и Человека!

— Не запытаешь Правду!

— Не колесуешь Человека!

— Ибо много лет назад народы нашей страны разметали «черные сотни», не оставив и единиц!

— Так же разметут они «черные миллионы», не оставив и сотен!..

Глава тридцать третья

Если тысячи русских и украинских людей, залегших в блиндажи и окопы вокруг своего города, каждый по-своему думали и верили, что именно каждый из них вот здесь, на двух метрах земли или бетона, решает судьбу сражения, то тысячи немцев, итальянцев и румын, медленно оцеплявших город, на танках, самолетах и конях, думали и верили совсем по-другому. Во-первых, они знали, что их вчетверо или впятеро больше, чем русских. Во-вторых, танков или орудий у них вшестеро или всемеро больше. И, наконец, в-третьих, они могли получить за успех этого сражения в тысячу раз больше вознаграждения, чем любой из русских солдат. Они могли получить сотни гектар великолепной русской земли с ее из-

умительными хлебами, среди которых они шли с раскрытым от удивления ртом. Они могли получить фабрики, заводы и шахты и стать заводчиками и фабрикантами, как обещал им фюрер Гитлер. Они могли получить даровую рабочую силу — русских рабов. Без особых хлопот они могли получить даровых русских женщин, стройных, красивых, румяных... Это ли не благо?! Поэтому-то, стремясь к наживе, они не очень стремились в сражение. Но, с другой стороны, они и не желали избегать его, они только в глубине души думали, что судьбу сражения решает не он, Грюбнер, Романеску или Бартолимо, а сосед его, стоящий рядом. Вот эта-то, казалось бы, пустяшная дума и решила судьбу сражения, ибо как танк ограничивает поле зрения сидящего внутри его, так и германская пропаганда ограничивала поле мышления.

Генерал Горбыч был прав: полковник фон Паупель был действительно знающий солдат, и он превосходно понимал состояние своих подчиненных. Еще ночью, перед самой артиллерийской подготовкой, побеседовав с десятком солдат и офицеров, он уловил элементы какой-то странной перемены, свершающейся в войсках. Он объяснил ее тем, что стоявшие на соседнем участке румынские и итальянские части обдали запахом гнилья превосходные германские части, как труп обдает издали вас запахом, и вы долго, давно обойдя этот труп, морщитесь и пожимаетесь. К тому же в последнее время чересчур много говорили солдатам о наживе и мало о чувстве германца-патриота! Поэтому в приказе о наступлении и в последующем выступлении по радио полковник фон Паупель подчеркнул именно то, о чем так много говорилось в последнее время: нужно уничтожить славян для того, чтобы германцы могли расселить излишек своего населения на славянской земле.

— Никакого альтруизма! Да царит с нами жестокость! Убивайте, убивайте, убивайте во имя Германии и фюрера!

Исполняя этот приказ, сотни тяжелых, средних и легких танков, пестро раскрашенных и укутанных гирляндами зелени и издали похожих на огромные блюда, занимали исходные позиции, чтобы с разных пяти, — не с трех, как предполагал генерал Горбыч, — а с пяти сторон атаковать город. Смутный гул, лязганье, дыхание слышались в темноте ночи, отдаленно напоминая гул бегущих домой табунов, — под эти мысли полковник фон Паупель, сильно волновавшийся, заснул перед началом атаки часа на два — на три.

Ему думалось, что он обманул генерала Горбыча, опытность которого внушала ему беспокойство, в особенности после того, как генерал Горбыч похитил у него журналистов. Журналисты ничего не знали дельного, — в этом полковник был уверен, но дело даже не в их знаниях, дело в той дерзости, с которой генерал провел операцию похищения. Этак, чего доброго, возьмут и похитят самого полковника фон Паупеля! А он-то уж знает побольше журналистов! И полковник подумал, что он рискует, пожалуй, своей карьерой, если не уничтожит в ближайшие дни Горбыча и его армию...

Проснулся он от артиллерийской стрельбы. Хата колыхалась. Взрывы, казалось, плескались в ее борта, как плещется волна в борта лодки. Сквозь не ушедший еще туман сновидений полковник опытным ухом стал прислушиваться к пальбе. Артиллеристы палили исправно. К утру, часа за полтора перед рассветом, предстояло атаковать укрепленную полосу противника в пяти направлениях, два из которых генерал Горбыч угадал, два — нет, а третье он считал демонстрационным.

Это третье направление атаки танков — был Проспект Ильича. Полковник фон Паупель, так же как и генерал Горбыч, знал рельеф местности возле Проспекта и завода: он был невыгоден для танковой атаки. Но полковник фон Паупель, так же как и генерал Горбыч, знал, что прорвись он на Проспект Ильича или на завод, судьба города в значительной степени может быть предрешена. И полковник фон Паупель, стремящийся во что бы то ни стало разбить армию генерала Горбыча, овладеть городом и получить славу, ордена и поместья, пошел на риск: он приказывал не демонстрировать в направлении Проспекта Ильича, а любой ценой завершить успешно атаку на него.

Согласно приказу, шесть часов длилась артиллерийская подготовка. Противоположный берег реки, на котором возвышался Проспект и завод, представлял пологую возвышенность, внизу покрытую мелким лесом, а выше — кустарником и полянами, где находились заводские огороды, парники, и, ближе к заводу, — стадион. Снаряды, разрываясь и наполняя воздух отвратительным гулом и треском, волнами хлынули на этот пологий скат! Шесть часов, как травы, снаряды косили лес, вырывали надолбы, засыпали окопы, рушили стены домов, вырывали воронки, уничтожали людей.

В четвертом часу утра, за тридцать минут до атаки, желтые ракеты, разбрасывая искры, качаясь в предутренней прохладе, осветили противоположный берег и линию укреплений. Разведчики на самолетах, не обращая внимания на огонь русских зениток, пронеслись над укреплениями. Вернувшись к полковнику фон Паупелю, разведчики в совершенно точных и ясных выражениях, не оставляющих места для иного толкования, рассказали, что артиллерийской шестичасовой подготовки оказалось недостаточно, что линия русских укреплений не повреждена и что русские смогут в данных условиях, если начнется атака, развить ужасающий противотанковый огонь! Молодые летчики, бледные от пережитой опасности, смотрели прямо и готовы были по первому приказанию командующего участком снова вылететь.

Полковник фон Паупель думал. Думать, что заводы, которыми славился город, смогли в очень короткий срок, — несколько дней — создать мощные фортификационные укрепления, так думать было крайне неприятно ему. Полковник славился, кроме жестокости, еще и упрямством и настойчивостью. Не мог же он, на самом деле, изменять приказ, отказываться от атаки на решающем направлении? Ну, допустим — мощные укрепления. Но разве не мощна немецкая артиллерия? Разве не мощны ее танки? <Не> неустрашимы ее люди?!



— Продолжать подготовку, — сказал полковник фон Паупель.

Артиллерийский огонь продолжался.

Всю ночь, возбуждая в душе солдат отвагу и уверенность в поражении русских, шли мимо рот и батальонов, осторожно, чтобы не задеть войска, большие и ловкие, покрытые стальной броней, с торчащими из брони пушками и пулеметами, огнемётные и снарядомётные танки. Солдаты, обозначая свое присутствие огнями синих фонариков, стояли на лугах и в перелесках. На перекрестках дежурили сигнальные, — и машины двигались, двигались. Большое количество и развернутый боевой порядок машин указывали, что танки пойдут на полных скоростях, и атака обещала быть стремительной, внезапной и удачной.

Через толстую вздрагивающую кишку в баки самолетов наливали бензин. К орудиям подвозили в новых ящиках великолепные и веселые, как игрушки, снаряды. Пехоту до отказа снабдили патронами для автоматов и винтовок. Артиллерия, все повышая голос, была уже так, что отдельных звуков нельзя было уже уловить, и только волны воздуха при залпе ближайшей батареи, натываясь на солдат, точно полет большой ночной птицы, указывали или, вернее, напоминали им о систематичности всего того, что происходит здесь. И эта систематичность уничтожения врага больше всего успокаивала и поднимала дух солдат. Они как бы уже переключались через реку с самими собою, неся в руках множество дорогого и компактного добра, которое завтра же можно будет отправить домой, чтобы порадовались и родители, и жены, и дети! Ночь была теплая и душная, — последняя летняя ночь перед наступлением осени, — и от этой теплоты казалось, что находишься в плотно закрытом котле для выпаривания, и хотелось поскорее закончить дело, вымыться, побриться, и лечь спать.

Светало.

У берега обрисовалось толстое бревно, выкинутое водой. Неподалеку от него лежал снаряд — недолет. Берег был весь притоптан, словно много людей собирались унести этот снаряд, да так и не подняли.

Сюда, на дугу реки, с которой должен быть виден противоположный берег реки, город и завод, приехали полковник фон Паупель и его ближайшие помощники. Легкий туман покрывал середину реки. Что-то темное, смутное направо могло походить и на очертания города, и на очертания леса, — и, «как выразились бы журналисты, — подумал полковник, — на испуганные души русских, которые от нашего артиллерийского огня дошли до предела нервного напряжения».

Облака, стоявшие на востоке и похожие на сторожевые суда, словно нагружившись, отчалили от пристани. Паруса их заалели. Берег, словно проснувшись, наполнился запахами отавы. Полковнику фон Паупелю стало ясно, что скоро многие хлопоты кончатся. Он получит приют — и не очень скудный. И мысленным взором он увидал вдали за рекой, за верхушками редких дубов, строения Москвы, зубцы ее кремлевских стен, всю прекрасную столицу русских!

— Солнце — тоже звезда, — сказал полковник, бросая по направлению к востоку недокуренную папиросу. — Звезда шлет нам предзнаменования и покровительство!

Ему не нравился туманный и выпренный астрологический слог, усвоенный фюрером. Но так все старались говорить — так и полковник говорил. Но в данное время, как ни странно, — видимо из-за беспокойства, которое он ощущал, — этот слог был ему приятен.

— Приготовления окончены? Мы видим победу. Обернемся к ней! И победим, — сказал он. — Все готово, не правда ли?!

Да! Все было готово, казалось, для победы: грохот взрывов, огонь, невыносимый даже для самой сильнейшей грозы, запахи крови такие, что даже раненые поднимались, не имея сил выносить их, разинутый рот страдальца, полузасыпанного землей, глаза, выкатившиеся из орбит, невыносимая тоска ожидаемой и неминуемой смерти — все это было приготовлено очень умелой, ученой рукой немца для того, чтобы широкие, похожие на ступени лестниц, гусеницы танков проползли по укреплениям и подмяли под себя и передавили русских, тех, которые еще живы и сидят за орудиями и пулеметами.

Да, все было готово! Полковнику фон Паупелю надо было сказать только с присущей ему в таких случаях ставшей уже исторической вежливостью:

— Будьте любезны передать, чтоб начинали атаку.

Да, все было готово, — ему надо было только нажать кнопку, чтобы приготовленные машины — на всех пяти направлениях одновременно — с гулом, грохотом и лязгом, трясая внутри себя водителей, артиллеристов и командиров, как взболтанное яйцо, — ринулись бы вперед!

И полковник фон Паупель нажал кнопку, очень довольный собою, словно он нажимал ее впервые.

Дело в том, что несколько часов тому назад — он забыл об этом, — полковник фон Паупель уже попробовал нажать кнопку и отдать приказ об атаке, и тогда машина не двинулась. Сейчас он нажал кнопку с тем же чувством удовлетворения и гордости, с которым он нажал ее несколько часов назад. И напрасно! Сейчас он делал вид, что его расчет времени на артиллерийскую подготовку, оказавшийся недостаточным, не имеет значения, и не важно — сейчас ли начинать атаку или <на> три-четыре часа позже, важно, чтоб атака удалась.

Это действительно было важно, хотя и по-разному для обоих противников. И генерал Горбыч недаром сказал, когда ему сообщили, что после паузы и проверки разведчиков немецкая артиллерия возобновила обстрел укрепленной полосы:

— Важно! Узнали, псы, чем пахнет? Вот мы вас спустим вниз, в преисподнюю! — И, обратившись к начальнику штаба, он добавил с удовольствием: — Вот что, Мирон Авдеич. Ты замечал, чтоб за все время боев Паупель больше пяти часов вел подготовку? А сегодня мы его, псарыцаря, заставим часов двенадцать попыттеть над нами!



Глава тридцать четвертая

Часов в одиннадцать утра того дня, который предшествовал дню немецкой атаки, генерал Горбыч, еще раз осмотрев и проверив свои силы, решил, что он знает все: и о своей задаче и о замыслах противника. Опыт боев говорил ему, что так лучше, ибо в с я п р а в д а узнается после боя, а перед началом боя хорошо знать хоть половину ее — и вдвое иметь больше решимости.

Хотя он по-прежнему был уверен, что противник не решится атаковать СХМ и Проспект Ильича, все же он поехал сам проверить — как обстоят там дела защиты.

Матвей, майор Выпрямцев, старший инженер Коротков и несколько командиров отрядов самозащиты сопровождали генерала.

Время от времени с неприятным свистом из-за реки несся немецкий снаряд. Он ложился где-нибудь возле блиндажей или в лесочке, поднимая облако пыли, щеп и раскидывая осколки. Если генерал чувствовал, что снаряд упадет поблизости, он без стеснения, поддерживая короткой и волосатой рукой фуражку, семенил в блиндаж, своими движениями как бы повторяя солдатскую поговорку: «Что бомба, что снаряд — встал со смертью в один ряд». Раза два он обернул сердитое лицо к Матвею и сказал:

— Не балуй! Прячься!

Мимо пронесли раненых. Матвей знал, что генерал Горбыч очень добр и жалостлив. «Как же проявляется истинная доброта и жалость в войне?» — спросил сам себя Матвей. Генерал бросил на раненого беглый взгляд. Лицо его не изменилось. Так же спокойно, как и раньше, он продолжал расспрашивать прораба, сколько дней назад заложен бетон, какого диаметра надолбы. Но беглый взгляд его, как понял Матвей, проверил — правильно ли оказана помощь раненому и достаточно ли будут проверены и в дальнейшем, в случае чего, санитары и врачи? «Да, вот таким и должно быть истинное проявление доброты воина», — подумал Матвей, и ему было легче отвечать на некоторые, пожалуй, чересчур придирчивые замечания генерала, тем более что по командному положению генерал должен был обращаться с этими замечаниями или к майору Выпрямцеву или к инженеру Короткову. Однажды на особенно придирчивое замечание Матвей так и намекнул:

— А мне наплевать, кого поставили ответственным, — буркнул. — Мне важно, кто ведет моральную защиту.

Матвей хотел сказать, что он не ведет моральную защиту, и если уж разбираться, то моральную защиту ведет Рамаданов и партийная организация завода. Генерал, видимо, понял его. Он, пыхтя, — они в это время поднимались на откос, вдоль бетонированных окопов с бордюрами из смородинника, которые приказали не выкапывать, — вытирая лицо и шею платком, сказал:

— Знаю, знаю! Каждый несет моральную ответственность! Знаю! — Он выпрямился, придвинул волосатый палец к носу Матвея и

сказал: — Но вы в особенности! Тот, кто первым поднялся на гору, тот и кричит остальным, какая тропа в долину. — Затем он перевел палец и, указывая им на смородинник, спросил: — По вашему приказанию оставлен?

— По моей просьбе, — сказал Матвей.

Генерал переждал, когда упадет снаряд. Набежавшая волна воздуха потушила его папироску. Он прикурил от длинной, позолоченной и похожей на медальон зажигалки Короткова и сказал:

— Правильно, что оставили. Смородинник, небось, здесь лет пять или даже восемь? Представьте, залягут в окопы парни, которые в детстве приползали сюда воровать смородину. Землю, по которой ползал в детстве и по которой ползешь сейчас, не так-то захочется отдавать.

Он заложил за спину руки с папироской, посмотрел на майора Выпрямцева и резко сказал:

— Доложите, майор, какие силы рабочих в случае чего, — подчеркнул он, — в случае неожиданности СХМ поставит в окопы, <что> будет <, если> танки противника прорвутся к ним? — И, повернув к Матвею мясистое лицо с красными прожилками и низко опущенными синими усами, он пояснил: — Представьте положение, хотя здесь и стоят отборные красноармейские части... тогда что?

— Нами созданы кадры истребителей танков, товарищ генерал-майор! — несколько подражая майору Выпрямцеву, четко сказал Матвей. — Впереди встанут, в случае чего, партийцы и наиболее морально выдержанные беспартийные... с гранатами и бутылками горючей жидкости! За ними — комсомол. А в третьем ряду окоп техники и мастера, — мы их бережем, кадры...

Генерал шумно высморкался и, повернувшись спиной к Матвею, направился обратно.

— Кадры, кадры... — сказал он недовольно. — А у меня не кадры? Мне каждый красноармеец дорог. Как сын родной! — воскликнул он вдруг фальцетом в сторону Матвея, а затем, повернувшись к майору, сказал: — И раз они мне сыны, то как мои сыны, должны они защищать завод.

И громко крикнул:

— Беречь заводские кадры во что бы то ни стало!

— Есть беречь заводские кадры во что бы то ни стало, товарищ генерал-майор! — громко ответил Выпрямцев.

Всю остальную дорогу до автомобиля генерал молчал. Молча он уселся в автомобиль.

Во втором этаже, в окне Заводуправления, показалась седая голова Рамаданова с заспанными глазами.

— Не схожу. Извини! — крикнул он. — Всю ночь не спал. Производство удваиваем, а завод наполовину уменьшаем. Задача-с!

— Да, задача-с, будь она проклята, — пробурчал генерал, усаживаясь на место и расправляя на коленях брюки. — Заходи, Рамаданых!

— И ты заходи, Горбыч, — послышался голос Рамаданова. — Кофе хочешь, поднимись сюда...

— Куда мне ваше кофе? Пока!..

...Со середины ночи канонада усилилась. То тут, то сям в небе всплывали ракеты. Их прозрачный желтый свет, похожий на свет отсутствующего полного месяца, — за тучей, — создавал то состояние, когда ты стоишь против отверстия, в которое можешь видеть, но услышать ничего не услышишь. Но по мере усиления канонады и увеличения силы ракет, от света которых теперь деревья по откосу казались сине-коричневыми, а река желтой, становилось ясным, что гигантский агрегат боя смонтирован и с минуты на минуту начнет действовать.

За час приблизительно до рассвета, Матвей, передав цех своему помощнику, пришел в резерв, неподалеку от окопов. Отсюда, с откоса, движение диковинного агрегата боя чувствовалось сильнее. По ту сторону реки наши пушки начали отвечать немцам. Но еще недвижно лежали в противотанковых, замаскированных дерном и кустарником, рвах противотанковые снаряды и пулеметы, не булькала липкая зажигательная смесь в сосудах... Истребители танков, — их пока было человек шестьдесят, — нервно курили. Один из них, красивый, молодой, с темными усиками на полном лице, нахально глядя на Матвея, сказал, видимо, стараясь угадать его мысли:

— А что, товарищ начальник, думаете, поди, про нас: ранят сейчас немцы одного, мы и разбежимся?

Матвей хотел оборвать его, но тут поспешно подошел сменный инженер сборочного цеха Никифоров, пожилой, бритый, с необыкновенно круглыми розовыми ушами, до удивления близко стоящими возле глаз. Вытирая губы рукавом куртки, очень сильно волнуясь, он отвел Матвея в сторону и сказал:

— Ларион Осипыч приказал: пойти комиссии на передовую линию обороны и проверить действие детали «5-ЮД». Очень он в ней сомневается. Конструктора смонтировали, соединили в одну шесть деталей, как бы она не дала отказа.

— Кто в комиссии?

— Я, вы, Матвей Потапыч, и конструктор Койшауров. Вот волнуется...

Матвей посмотрел на его лицо и подумал: «Да и ты, брат, волнуешься не меньше». Проверил и себя: «Тоже, пожалуй, волнуюсь», — потому что бруствер, бревна в его потолке, окурки и обрывки газет на полу, полутьма, запах хлеба и человеческого пота, — все это было мило ему и со всем не хотелось расставаться. Но идти надо, да и, действительно, ему хотелось посмотреть, не мешает ли работе противотанковой пушки деталь «5-ЮД». К тому же он поддерживал на производственном совещании предложение Койшаурова, застенчивого и робкого армянина. И если он, точно, трусит, надо поддержать его и сейчас.

Между тем Никифоров продолжал словоохотливо:

— Он думал: ему полигон. Нет, извольте пожаловать да и проверить ваши конструктивные изменения на поле боя! Каково?!

Видимо, он досадовал на этого чертова армянина с его конструктивными улучшениями. Матвею было это неприятно, и он сказал:

— Ну, раз пошли, так пошли!

Матвей почему-то подумал, что они пойдут прямо через лесок и противотанковые рвы к реке и перейдут ее вброд: сильные жары последних дней способствовали ее обмелению, на перекате, повыше моста, как раз против стадиона, река едва ли была по пояс человеку.

Низенький, упитанный, с широким затылком и выражением удивления в черных, навывкате, глазах, конструктор Койшауров ждал их поодаль, возле кучи щебня.

— Как вы долго! — сказал он жалобно. — Это далеко?

— Через мост, налево, километра два-три. Туда снаряды везут, прихватят, — ответил Никифоров со злостью: он сам боялся, и явная боязнь Койшаурова, как ему думалось, только могла увеличить его боязнь.

Матвей понимал, что Никифоров предполагал доехать на машине до позиций и поэтому направляется к мосту. Если же сказать Никифорову, что мост минирован и что самолеты противника через каждые полчаса бомбят его с большой высоты и все не могут попасть, то, пожалуй, Никифоров откажется от своего замысла. Но Матвею уже несколько дней хотелось пройти через мост под бомбами, ему думалось, что это будет ответом на мучающий его вопрос: струсит он во время большого сражения или нет? Вот почему Матвей не стал настаивать на бросе, а покорно пошел за Никифоровым и за конструктором, все время нервно поправлявшим на себе длинную гимнастерку.

Мост был пуст. Грузовики медленно ползли по нему вдоль отмеченной белой краской линии. Матвей смотрел по ту сторону белых полос, на трамвайные рельсы, поблескивающие в лучах рассвета, на серовато-тусклый асфальт, и думал: «Неужели если грузовик свернет туда, то все сейчас: снаряды, радиатор, запыленные крылья, сам шофер, надвинувший пилотку на брови, все это взлетит на воздух? Не может быть!»

Вдруг сигнальный замахал красным флажком, стоящий в конце моста красноармеец засвистел в новенький свисток. Показались самолеты.

— Противник? — спросил армянин, останавливаясь и разевая рот.

Матвей хотел поторопить его. Но армянин посмотрел на Матвея строго. Ни капли испуга не было в этих до обнаженности черных глазах. То, что искал Матвей на мосту и чего не нашел, — нашел конструктор Койшауров. Перед Матвеем стоял другой человек. Он сказал:

— СХМ летят бомбить? Сегодня, кажется, нашим пушкам придется поработать. Вот тут-то я и докажу: мои выкладки были правильны!



Глава тридцать пятая

В 05.15 немецкие ведущие танки прорыва атаковали наши противотанковые орудия на переднем плане оборонительной полосы.

В пять тридцать Матвей и его спутники появились перед командиром переднего плана оборонительной полосы. Это был молодой капитан, лет двадцати пяти, рослый, решительный, с повелительным и резким голосом. Удивленно подняв брови, он выслушал толковое разъяснение Матвея и сказал только:

— Генерал-лейтенант Горбыч позволил?

Помолчал и добавил:

— Отойдите пока в глубину командного пункта, а там увидим.

Никифоров и конструктор отошли. Матвею казалось невероятным, что им все время боя придется стоять здесь, где ни пушек, ни снарядов, а только три землянки, радисты и телефонисты, у ног которых в пренебрежительном беспорядке лежат станковые пулеметы. Командир, видимо, думая, что Матвей хочет дать разъяснения, почему конструктор, начальник цеха и сменный инженер должны проверять на передовых позициях работу противотанковых пушек и не желая впутывать генерала Горбыча в этот штатский вздор, спросил:

— А что, ваш директор — депутат Верховного Совета?

Матвей понял его мысль. Улыбаясь, он сказал:

— Подобная комиссия — обычное дело. В Гражданскую войну рабочие в Царицыне лили пушки и тут же везли их на фронт пробовать.

— Вот тебе и Царицын! — закричал вдруг командир и, схватив Матвея за шею, бросил его рядом с собой на землю.

Над командным пунктом бреющим полетом, осыпая холм пулями, пронесся немецкий разведчик. Телефонисты бросились к пулеметам. Капитан, догадавшись, что местопребывание командного пункта открыто, а может быть, и смущенный доводом Матвея, сказал связному, чтобы «инженеров СХМ» проводили на шестую батарею, добавив: «Быть там полчаса и закончить все изыскания».

Матвей, до колен измочив ноги росой, бежал какими-то канавами, пересек овраг, обогнул противотанковый ров, в котором упавший и сгоревший немецкий танк чадил, наполняя воздух смрадом горящего мяса, и, наконец, очутился перед часовым, который, выслушав сопровождавшего Матвея сержанта, указал им на пригорок, где, видимо, теперь и находилась шестая батарея.

Лейтенант, лежа на ящике и поддерживая голову рукой, смотрел вдаль на свежестоптанное и изрытое взрывами снарядов пшеничное поле, недавно, должно быть, желтое и плавное. Он не повернулся на голос Матвея, а только помахал левой рукой:

— Чего проверять? Какая там деталь? Вон они!

Армянин спросил:

— Значит, деталь действует исправно?

Лейтенант отдал команду. Четыре пушки, одна за другой, выстрелили. Стоявший справа в конце поля высокий зеленый куст качнулся, взметнулся на дыбы и вдруг лег вверх брюхом, и тогда только Матвей понял, что это был замаскированный вражеский танк. Для лейтенанта это явление, видимо, не было удивительным, он не радовался, потому что уже десять минут назад он должен был сбить этот танк, но ему было приятно, что зрители — инженеры охнули и заговорили быстро-быстро, так что он не понимал их слов, и ему казалось, что они читают какие-то таблицы: уже полтора часа лейтенант был ранен в голову осколком снаряда — и не желал покидать поста! Его батарея была первой в социалистическом соревновании и ему хотелось довести это соревнование и в боевом опыте до конца и победы! Стараясь экономить силы, он лежал на ящике из-под снарядов и все время смотрел вперед: когда танки подпрыгивали на колдобинах, ему легко было находить расстояние и назначать прицел, и, несмотря на утреннюю дымку от испаряющейся росы, он отчетливо различал их плоскости и видел пушки. Он боялся только, как бы танки не прорвались в поле: там ровно, и они смогут развить большую скорость.

Лейтенант одну за другой выкрикивал цифры, подносчики вставляли в орудия снаряды, из дула вырывался огонь, и Матвей хватался за фуражку. Ему приятно было, что пушки бьют так сильно и что такая мощная волна воздуха обдаёт его, приятно было также, что Никифоров и Койшауров, вынув какие-то таблички, засекали на секундомерах время и, озабоченно глядя друг на друга, ждали выстрела.

Матвею хотелось подробно объяснить лейтенанту: зачем сюда приехали инженеры: «Орудия делают поспешно, сверх плана, и вот с целью еще более успешного...»

Снаряд разорвался у края поля. Облачко, подхваченное ветром, понесло на дуб. Танк загорелся. Инженер посмотрел в расчеты. Лицо конструктора сияло счастьем: детали пригнаны великолепно, шкала рассчитана правильно!.. «Да, мы так и впредь будем поступать, — по всей видимости, хотелось сказать ему, — прямо с шумящего конвейера орудия везут на фронт!»

Лейтенант вдруг повернулся к Матвею, и тот увидел широкое бледное лицо, лоб которого был окутан марлей с проступающими сквозь нее пятнами крови. Кривя это лицо, лейтенант закричал:

— А, вы еще... здесь?... Немедленно покинуть!.. Что вы, не видите: танки давят пулеметы... Не видите... Уходите!

Он с трудом лег обратно на ящик, и не помышляя, должно быть, что ему тоже пора покинуть батарею. Матвей повернулся к спутникам. Напуганные не столько словами лейтенанта, сколько его страшным, окровавленным лицом, конструктор и инженер ничего не поняли. Тогда Матвей сказал:

— Такое приказание надо исполнять! Пошли!

Никифоров шагнул к выходу из батареи. Конструктор же спросил:

— Куда?

— Домой.

— Позвольте! Но мы же не проверили действие машин на остальных батареях...

Матвей указал на край поля. Если он мог ошибаться и, несмотря на его величину и звуки, не узнавал танка, то пехоту-то он разглядел мгновенно. Немцы достигли первого рубежа! Возможно, что они уже где-то прорвали его и батарея лейтенанта случайно оказалась неподавленной.

Когда они побежали с пригорка и перепрыгнули канаву, чтобы скрыться в лесу, прикрывающем батарею, они слышали сзади звуки немецкого пулемета. Матвей приказал ложиться. Метров триста катились они до леса кувырком, роняя выкладки, портсигары, перочинные ножки и платки. По звукам справа и слева можно было понять, что ведущие танки давят орудия, а сопровождающие бьют пехоту. Наши пехотинцы время от времени кидались в атаку. Нестройное и быстро замолкавшее «ура» говорило об этом. Тогда отдельные выстрелы переходили в гул, который шире и дальше разливался по лесу.

Они бежали, прячась между деревьями, хотя прямо по ним уже никто не стрелял. Конструктор все спрашивал:

— Противник? По моим...

Он хотел сказать «по моим пушкам», но язык не поворачивался у него.

Они выбежали к реке.

Немецкая артиллерия уже перенесла свой огонь сокрушения с первой линии на противоположный берег реки. Пузыри пламени и дыма, похожие на те, которые вскакивают в луже, когда кончается дождь, наполняли лесок и все выше и выше поднимались по скату. Матвей понимал, что если они сейчас не переберутся через реку, — полчаса спустя будет поздно. Несколько легко раненных красноармейцев показались среди дубов. Они напряженно смотрели в реку, среди которой разрывались снаряды, разметывая металлические надолбы, выворачивая бревна, открывая пасти противотанковых рвов на берегу реки. Иногда в реку падал снаряд, от которого шел густой и, казалось, влажный дым. Наверное, немцы думали, что их пехота уже подошла, и они пробовали пускать дымовые снаряды.

— Ну, господи благослови! — сказал Матвей, прыгая в реку.

Вода была теплая, доходила до груди. Конструктор шел, держась за подол его рубахи, а инженер Никифоров все твердил: «Как же они пойдут по откосу? Надо бы на мост!» Глупый! Он думал, что и обратно его захватит какой-нибудь грузовичок.

— Рассуждения дурацкие, — закричал со злостью Матвей, тем более злясь, что он упал в какую-то яму, и ему пришлось нырнуть, дабы выплыть. — Поймите: мы пойдем по ходам сообщений!

Технический термин, видимо, успокоил инженера. Он прибавил шаг.

Лесок по откосу был густо переплетен колючей проволокой. Поваленные деревья, кронами к реке, торчали на каждом шагу. Тропинки были скрыты, и появлявшееся перед ними тревожное лицо красноармей-

ца радовало их как хороший объектив, сквозь который отчетливо можно увидеть даль и то, что в ней творится...

Лесок гудел, трещал и, казалось, переламывался пополам.

— Ну, отсюда и не выберешься! — простонал Никифоров. — Да и к тому же, Матвей Потапыч, я серебряный портсигар, дар цеха, потерял...

— «Что за комиссия, Создатель...» — вдруг запел конструктор.

Матвей, удивленный, оглянулся на него.

Конструктор указал вперед.

Лесок кончился.

Перед ними лежали длинные, словно нарочно растянутые, как по линейке, кусты смородинника, одним концом упиравшиеся в Стадион, а другим в забор, который подходил к мосту. За кустами виднелась пожелтевшая зелень поляны и цеха.

Позади них слышались залпы орудий, лязганье и грохот.

Танки подходили к реке.

Конструктор побежал налево, к Заводоуправлению, чтобы порадовать техническую часть благоприятными выводами комиссии. Инженер пошел было за ним, но пройдя шагов десять, вернулся и сказал:

— Вы знаете, Матвей Потапыч, я, должно быть, уже пристрелялся. Не остаться ли мне среди наших истребителей?

Матвей поглядел на его лицо, покрытое листьями, приставшими к поту, на его вытянутые вперед сухие губы, на всю его неуклюжую и неповоротливую фигуру, — и стало смешно. Стараясь сдержать себя, Матвей сказал:

— Вот что, Илья Ильич. Ступайте в цех! На всякий случай раздайте рабочим винтовки и проверьте: стоят ли в проходах пулеметы.

— Слушаю, — ответил инженер.

И Матвей понял: инженер умрет, но не покинет цеха. Да, смеяться-то, оказывается, не над чем!

Матвей оглянулся. Там, где по его плану должны были стоять рабочие — истребители танков, стояли с гранатами и бутылками красноармейцы. Рабочие занимали только верхний ряд окопов, у самых цехов. Майор Выпрямцев исполнил приказание генерала Горбыча: беречь заводские кадры. Матвей подумал: «Меня, значит, отправили с комиссией, чтоб я не бузил?» Впрочем, обсуждать приказания майора было некогда: пробежавший мимо раненый красноармеец сказал, что немцы, прорвав первую линию укреплений, подходят к реке...

...Тогда же генерал Горбыч сказал в телефон фразу, которую, наверное, до него во время боя произносили тысячи полководцев:

— Война не шахматы, да и в шахматах случаются запутанные положения. Не так ли, Ларион Осипыч?

— Несомненно, несомненно, — бодрим голосом в ответ на бодрый голос генерала ответил Рамаданов. — В случае чего, СХМ постарается помочь бою всеми силами.

— На взаимности и держимся, — сказал генерал. — Пока, Рамаданыч!

И, обменявшись этими любезностями, они повесили телефонные трубки, оба найдя в голосе собеседника нотки грустного прощания. Не последнего ли?.. Позже генерал Горбыч, — если б захотел, — мог похвастаться прозорливостью... но он считал эти оттенки грусти естественными для старика, а для старого солдата в особенности...

...В ту ночь, — уже недомагавший несколько дней, — начальник радиоузла завода Квасницкий заболел. Помощник его, Рыжков, перешел в цех, два диктора — Мотя и совсем юная девушка Лунина — были совсем неопытны... и вот Квасницкий, объясняя свое предложение тем, что «времененно библиотека прикрыта», — предложил соответствующему начальству, а затем и приятелю своему Силигуре занять место помощника. Однажды, если помните, Силигура записал в свою «Историю», что Мотя пошла на радиоузел ради Матвея: мол, пусть слышит почаще голос. Силигура исходил из других соображений, когда дал свое согласие: ему хотелось, как историку, быть первым слушателем... не столько радио, сколько людей, которые часто забегают в радиоузел за новостями, не замечая того, что сами они до отказа наполнены самыми удивительными новостями!

Кроме того, ему хотелось помирить Полину с Мотей. Когда он стоял вверху лестницы, выводя одну из букв фразы «Ты взял Фермопилы...», а Полина стояла ниже, на ступеньке, держа ведро с краской и кисти и, видимо, ужасно желая сама непосредственно заняться делом раскрашивания (Силигура, глядя на ее мордашку, тотчас же вспомнил Тома Сойера и тетку, заставившую его раскрашивать забор), Силигура, которому не хотелось выпускать кисти, спросил: «Как вам живется теперь, Полина?» Полина сказала, что живется ей хорошо, но вот на квартире неприятно с девушкой, соседкой по комнате, Мотей.

Силигура писал, искоса поглядывая на Мотю, которая стояла у микрофона, положив на него пухлые руки и подняв к циферблату часов черные и решительные глаза, которые всем внушали опасение. «Едва ли их помиришь», — думал Силигура, разглядывая красноватые жилки, окружавшие ее зрачок, и быстрое движение век, похожее на учащенные взмахи крыльев птицы, куда-то спешащей. Особенно почему-то тревожил Силигуру стан Моти, — широкий и выпуклый, как бадья, может быть, потому, что жена Силигуры была тонка, словно почтовая марка, и голос ее никак не напоминал литавры. — «А помирить необходимо: обе способны сообщить исторические сведения совершенно разнообразного характера!»

И он склонился над конторской книгой, писал:

«Состояние завода крайне напряженное. Противотанковые орудия стоят в таком же количестве, как ранее здесь стояли деревья по берегу реки (Силигура преувеличивал; все историки преувеличивают или преуменьшают — слабость общеизвестная и общепростительная, иначе б историю и понять нельзя было б). Часть рабочих нашего завода стоит на баррикадах Проспекта, часть в окопах, защищающих завод, а большая часть — работает в цехах, выделявая снаряды и пушки, которые, так сказать, горяченькими, прямо с конвейера, идут в окопы! Видимо, бли-

зок час атаки. Я должен любой ценой защищать сокровища библиотеки! Но как? Охрана всего Дворца — десять человек на двадцать тысяч квадратных метров полезной площади! И затем, — я же переведен в радиоузел и территориально нахожусь в противоположном конце Дворца. В общем, рассуждая здраво, будет непростительной ошибкой, если я не увижу глазами очевидца все перипетии битвы у подножия Ленина?»

Он поставил три вопросительных знака и задумался.

Мотя повернула к нему лицо и спросила. И голос ее прозвучал для Силигуры как предварительная стрельба:

— Где Матвей?

— Говорят, на откосе.

— Вернулся, стало быть? Ой, боже ж ты мой! Выйдет из одного дышла, хватается за другой воз. Ну, кому такой муж нужен, кому?

Глаза ее сверкали так грозно, что Силигура решил молчать.

Она схватила со злостью листок и, широко разевая сочный рот, стала читать в микрофон:

— «Всему коллективу СХМ! Приказ № 8. По обсуждению, коллектив завода решил, что все цеха и подсобные предприятия впредь с сего дня, в случае воздушной тревоги и опасности непосредственного нападения противника, не направляются в бомбоубежища, а остаются на своих местах, продолжая работу. Наблюдение за исполнением приказа возлагаю на начальников цехов. Лично буду проверять исполнение. Директор СХМ Рамаданов».

Наши батареи с берега били заградительным огнем.

Немцы, с противоположного, подготавливая атаку, вели стрельбу на ослепление и на разрушение.

Словом, в действие, цепляясь одна за другую, входили все шестерни, все колеса и все приводы сложнейшего агрегата боя.

...Рамаданов в этот день очень много работал. Пообедал он поэтому чересчур плотно, сверх обыкновения не сдержав себя. К вечеру он почувствовал изжогу. Поправляя галстук и редкие волосы перед зеркалом в гостиной, он сказал девушке, подававшей ему стакан кофе:

— Вот что, голубушка. Вы мне принесите на этот раз лучше стакан воды и ложечку соды.

Мешая соду в воде и глядя на пузырьки, поднимающиеся со дна стакана, он, прижимая телефонную трубку плечом к щеке, ответил на вопрос Короткова:

— Милый мой, бомба суть бомба. Поскольку приказ не отменен, поврежденный край цеха будут расчищать, а в другом работать. Я сегодня думаю сам пройтись по цехам. Нет, именно во время бомбежки!

Он выпил стакан воды, сожмурился от удовольствия и сказал:

— Хорошая штука сода! Не находите? Милый мой, в шестьдесят пять лет вы будете находить.

(Продолжение следует.)

Александр ШЕКШЕЕВ

НЕИЗВЕСТНЫЙ «СИБИРСКИЙ КОРНИЛОВ» И ЕГО ПОХОД

Изучая историю Гражданской войны в России, нельзя не вспомнить генерала Лавра Георгиевича Корнилова, вышедшего с небольшим воинством в Ледяной поход, погибшего на Кубани и тем самым начавшего Белое движение. Между тем немногие знают, что в Сибири был человек схожей судьбы, но так и оставшийся почти безымянным...

Крестьянский мятеж

...Год 1920-й для Енисейской губернии оказался неурожайным. Между тем новая власть в лице Сибревкома, выполняя постановление Совнаркома «Об изъятии хлебных излишков в Сибири», 20 июля приняла декрет, которым обязала крестьян приступить к обмолоту и сдаче имеющегося хлеба. Через месяц началась кампания по разверстке хлеба, мяса и других продуктов. Следом, в сентябре того же года, была объявлена мобилизация в армию призывников 1899—1900 гг. рождения и бывших унтер-офицеров Русской императорской и Белой армий, лишавшая крестьянские хозяйства основной рабочей силы.

Селения, расположенные по тракту севернее губернского города, на енисейском левобережье Красноярского уезда, и разоренные проходившими частями Красной армии, ответили скрытым волнением и недовольством, переросшим в середине октября в восстание. Ночью 11—13 октября бывшие унтер-офицеры и призывники села Минино, милиционеры и служащие Шерчуйского волостного исполкома скрылись в тайге, а за ними от мобилизации отказались крестьяне Зелеевской, Сухобузимской, Погорельской и Шилинской волостей. 11 октября, недовольные агитацией, проведенной представителем Красноярского гарнизонного политотдела, мобилизованные скрылись из села Зелеево. 12 октября к восставшим примкнули мобилизованные жители деревни Ивановка, находившиеся под руководством бывшего колчаковского милиционера Плахонина. Силы повстанцев, сосредоточенные в районе Зелеево и Минино, насчитывали 500 человек при семи пулеметах. Одновременно крестьяне решили не выполнять подводную повинность по доставке дров на Знаменский стекольный завод и почти по всему уезду прекратили ссыпку хлеба и вывоз в город фуража.

Иные мотивы возникновения восстания были представлены советским краеведом, который объявил его «родоначальницей» офицерскую «банду», при-



шедшую в район сел Зелеево и Минино из Ачинского уезда. Скрываясь в тайге, ее члены будто бы осуществляли агитационную работу среди крестьян, подлежащих призыву в Красную армию. В результате около 150 человек, которым был обещан «переворот», ушли в «банду».¹

Согласно постановлению экстренного заседания президиума Енисейского губкома РКП(б) от 14 октября 1920 г., в наиболее сопротивляющуюся мобилизации Зелеевскую волость был послан усиленный отряд, который повстанцы во главе с неким Белоноговым встретили стрельбой. Однако они не смогли захватить село Зелеево и, увлекая за собой мобилизованных других волостей, отошли в деревни Глядень и Никольская, а затем скрылись в тайге. Повстанцы, сбжавшиеся из Сухобузимской, Погорельской, Михайловской, Шилинской, Зелеевской, Мининской, Шерчуйской волостей и Красноярского военного городка, выдвигали лозунги: «Советы без коммунистов», «Созыв Учредительного собрания» и «Восстановление монархии». Нападая на селения, они устраивали погромы в советских учреждениях и преследовали их служащих. Так, ими был совершен налет с захватом деревень Покровская, Тыжновская, сел Погорельское и Шерчуй. Вскоре повстанцы присоединились к образовавшейся под влиянием дискриминационных мер советской власти «белой банде» некоего «полковника», якобы существовавшей с мая 1920 г. в составе около 20 бывших офицеров.

Для наведения порядка в Мининской, Погорельской и Шерчуйской волостях власти приступили к описи и конфискации имущества у дезертиров, из Красноярска были посланы отряды милиционеров и красноармейцев под командованием комбрига К. В. Гайдуля, которые сразу же вступили в бой с беглецами-дезертирами. Но отряд, высланный для ликвидации 300 «бандитов», появившихся 16 октября в деревне Никольская Погорельской волости, потерпел поражение. Утром 22 октября в бою у села Михайловское повстанцы потеряли 20 человек убитыми, но красноармейцы из-за своей малочисленности были вынуждены отступить.

Между тем местные власти не допустили захвата мятежниками Знаменского завода, что позволило бы им перекрыть железнодорожную ветку Красноярск — Ачинск. Не пробившись к железной дороге, противник после короткого боя отступил в тайгу и сосредоточился в районе селений Петропавловское и Михайловское. 23 октября он выделил отряд для окружения правительственных войск с востока, что заставило их отойти на исходные позиции. 25 октября зелеевские повстанцы были окружены частями милиции и 68-й бригады ВНУС (внутренней службы). Однако «ликвидация белобанд в районе Знаменского», по мнению начальника оперативного управления войск ВНУС Восточно-Сибирского округа Таланкина, «проходила весьма неуспешно».

Потеряв убитым своего жока, в прошлом корнета и мининского милиционера Жукова, повстанцы объединились под командованием бывшего подполковника или полковника Олиферова, сумевшего организовать их в сильный отряд. Конные и пешие повстанцы были вооружены винтовками, наганами и шашками, одеты не по форме, но соответственно времени года, имели обоз, канцелярию с пишущей машинкой, швальную мастерскую, врача и двух медицинских сестер, а командовали ими бывшие офицеры. Оценивая ситуацию, тот же Таланкин в приказе на имя комбрига 68-й бригады ВНУС предвидел, что «противник, если не займет завод, соединится с бандами в Ачинском уезде».

¹ Бугаев Д. А. На службе милицейской. Кн. 1. Ч. 1. — Красноярск, 1993.

Кто вы, подполковник Олиферов?

Известие о новом вожаке повстанцев поступило к противнику лишь в начале декабря 1920 г., а сведений о нем и его прошлом и по сей день очень немного. В информационно-разведывательной сводке штаба войск ВНУС Сибири за декабрь 1920 г., опубликованной новосибирским историком, сообщалось, что повстанцами командует подполковник [А. Р.] Олифер[ов].² Другой сибирский исследователь, обнаружив Олиферова в списке офицеров Мариинского гарнизона, опубликовал, что его звали Игнатием Николаевичем, родился он приблизительно в 1894 г., окончил в 1916-м Александровское военное училище и затем был произведен в поручики. После антибольшевистского переворота 1918 г. и в дальнейшем он служил штабс-капитаном, командиром роты, батальона, помощником командира и временно командующим 6-м Мариинским стрелковым полком. Приказом А. В. Колчака от 10 сентября 1919 г. награжден орденом Св. Владимира IV степени с мечами и бантом.³

Наконец, красноярские краеведы, ознакомившись со списком офицеров Русской императорской армии, обнаружили в нем Александра Доримедонтовича Олиферова, уроженца Малороссии, происходившего из офицерской семьи и в 1909—1916 гг. служившего поручиком и ротмистром в 17-м уланском Новомиргородском полку. С августа 1918-го он уже был капитаном 6-го Мариинского полка 2-й Сибирской стрелковой дивизии 1-го Средне-Сибирского армейского корпуса Сибирской армии. В апреле 1919 г. Олиферов в звании подполковника принял на себя командование этим же полком, который прекратил существование в декабре того же года в боях с красными при переходе от Мариинска к Ачинску.⁴

Под командованием этого опытного в боевом отношении офицера зеленевские повстанцы разделились на два отряда и вырвались из окружения. Один из них, насчитывая 200 человек, во главе с Олиферовым пошел из Михайловской волости на деревню Гоголь Ачинского уезда, расположенную вблизи переселенческого тракта, и железнодорожную станцию Козулька, а другой, примерно такой же численности, — на село Межево Красноярского уезда. 29 октября повстанцы, столкнувшись с советскими войсками и потеряв 27 человек пленными, несколькими отрядами устремились в соседний уезд, где полыхало такое же крестьянское восстание. Осуществляя разведку, 14 работников уездного военкомата в ночь на 1 ноября в районе деревни Мостовая, что в 50 верстах от Знаменского завода, попали в засаду. К 5 ноября повстанцы сконцентрировались в районе деревень Михайловский Погост и Соснова, в 100 верстах от города Ачинска, где на митингах призывали население постоять «за народ и партизан, поддерживавших крестьянские интересы». Следом за ними шли советские войска. Отбиваясь от них, отряд Олиферова двинулся на север, в Енисейский уезд, и тем самым начал свой знаменитый рейд.

² Шишкин В. И. Сибирская Ванда: вооруженное сопротивление коммунистическому режиму в 1920 году. — Новосибирск, 1997.

³ Симонов Д. Г. Белая Сибирская армия в 1918 году. — Новосибирск, 2010.

⁴ Елисеенко А., Мармышев А. Забытый ледяной поход // Сибирский исторический альманах. Т. 1: Гражданская война в Сибири. — Красноярск, 2010.

Летопись олиферовской эпопеи

Описанию этого похода посвящено уже немало количество публикаций. В советское время публиковались воспоминания участников Гражданской войны, которые традиционно рассказывали о силе и жестокости «белых бандитов» и, напротив, о героизме и жертвенности их победителей, которые, разгромив олиферовцев, отыскивали самого их вожака, спрятавшегося на квартире местного кулака, и доставили в Минусинск.⁵ В том же духе были написаны тогда книги⁶ и газетные статьи⁷ западносибирских авторов, в очередной раз объявлявших о полной ликвидации «банды» Олиферова, теперь уже на территории Кузбасса.

Содержательным фактическим материалом отличались публикации, созданные в 1990-х гг. Но они, ограничиваясь территориями Енисейской и Томской губерний, не были в состоянии показать данное явление в целом и по-прежнему представляли олиферовцев остатками Белого движения.⁸ Сообщения же автора настоящей статьи были столь небольшими, что не исчерпали данной темы.⁹ Серьезную основу для исследования истории Зелдеевского восстания дала вышеуказанная документальная публикация В. И. Шишкина, а наиболее полное на сегодняшний день освещение олиферовского похода было осуществлено А. В. Мармышевым и А. Г. Елисеенко в уже упомянутом исследовании. Правда, труд последних авторов сложно признать научным, ибо он вовсе не содержит указаний на степень изученности темы предшественниками, а некоторые опубликованные факты, якобы обнаруженные авторами в архивах, давно известны историкам.

Вместе с тем находки новых архивных материалов, а также идеализация повстанцев, представление их сплошь монархистами и даже хранителями колчаковского золота, героями всяческих выдумок, а самого вожака — «самым крупным белым атаманом» на Енисее¹⁰ — заставляют еще раз и более пристально обратиться к этой теме.

Рейд первый. Енисейский уезд

Порядок событий в изложении А. Елисеенко и А. Мармышева выглядит следующим образом. Теснимый советскими войсками, авангард повстанцев оказался в районе деревни Малая Кеть и села Алтатское Енисейского уезда и, арестовав Совет, направился в волостное село Бельское. 5 ноября, разбив красную разведку, повстанцы заняли это селение, но при подходе отряда енисейских

⁵ Воспоминания участников гражданской войны в Минусинском уезде. — Абакан, 1957; За власть Советов на юге Сибири. Воспоминания участников гражданской войны в Минусинском уезде Енисейской губернии. — Абакан, 1968.

⁶ Кадейкин В. А. Годы огневые. Из истории гражданской войны в Кузбассе 1918—1919 гг. — Кемерово, 1959; Абраменко И. А. Коммунистические формирования — части особого назначения (ЧОН) Западной Сибири (1920—1924 гг.). — Томск, 1973.

⁷ «Новая жизнь» (п. Тисуль), 1967, 3 июня, 17 августа; «Вперед» (г. Мариинск), 1985, 10 ноября; «Комсомолец Кузбасса», 1986, 22 апреля.

⁸ Бугаев Д. А. Указ. соч.; Горелов Ю. П. История борьбы с белым отрядом полковника Олиферова в Кузбассе // История белой Сибири. — Кемерово, 1999.

⁹ Шекшеев А. П. Гражданская смута на Енисее: победители и побежденные. — Абакан, 2006; Он же. Сопrotивление енисейского крестьянства коммунистическому режиму (1920—1922 гг.) // Вестник Красноярского государственного университета. — 2006. — Вып. 6. Гуманитарные науки; Он же. Военно-политические события в Ачинско-Минусинском районе в 1920—1921 гг. // Военно-исторические исследования в Поволжье. Вып. 10. — Саратов, 2014.

¹⁰ Савченко В. А. Атаманщина. — Харьков, 2011.





милиционеров под командованием Рожина ушли в село Пировское, где от них откололся отряд белоярских казаков, но присоединились другие отряды мятежников. 11 ноября с появлением отряда Гайдуля повстанцы, активно маневрируя на лыжах, ушли на деревню Воряково (так в тексте, правильно — деревня Вараковская на реке Кемь). Догнавшие их красноармейцы и милиционеры были окружены и разбиты. За ночь они потеряли 45 человек убитыми, сам Гайдуль получил 12 ранений. Красных спас отряд М. Попова численностью в 200 человек, подошедший утром. Олиферов отошел, оставив, по воспоминаниям очевидца, несколько трупов с «колчаковскими погонами», 13 повешенных партийных работников и раненых красноармейцев.

Появление повстанцев в Енисейском уезде, и в частности в деревне Тихонова, расположенной на Старо-Ачинском тракте, создавало угрозу уездному городу, власти которого спешно стали готовиться к обороне. Отсюда они могли прорваться и в Канский уезд на помощь голопуповским мятежникам. Последнее считалось настолько реальным, что командующий войсками ВНУС Восточно-Сибирского военного округа М. Ф. Барандохин 14 ноября 1920 г. издал приказ, которым сосредотачивал основные свои силы на канском направлении. Для руководства действиями отрядов по разгрому «банды» Олиферова и организации обороны Енисейска из Канска в село Казачинское выехал комбриг А. С. Бойцов, назначенный начальником Енисейского боевого участка. Предпринимаемые им меры прежде всего были ориентированы на то, чтобы не пропустить мятежников в восточном направлении. От границы с Томской губернией в район нахождения «банды» выходил лишь отряд Ф. Н. Машковцева.

С северо-востока на олиферовцев наступали отряды бывших партизанских командиров Ф. Я. Бабкина и С. И. Накладова. Отряд Машковцева прибыл в Пировское и оттуда продвинулся на реку Большая Кеть, тесня олиферовцев в северном направлении. Пытаясь преградить им путь на север, Бойцов выдвинул отряд в деревню Бушуй. 13 ноября повстанцы, стараясь уйти от преследования, вышли на деревню Вагина Казачинской волости, где ускользнули из-под удара красных и скрылись в Тарховской тайге. 13 или 14 ноября они оказались в деревне Тархова на реке Большая Кемь, находившейся в 72 верстах западнее Енисейска.

В действительности, как справедливо указывал В. И. Шишкин, к тому времени определился прямо противоположный вектор движения мятежников — на северо-запад, в Нарымский край Томской губернии, где они намеревались передохнуть, пополнившись по пути местным восставшим крестьянством. Ошибка советского командования спасла на некоторое время повстанцев от преследования и способствовала неожиданному для местного руководства вторжению их в соседний регион.

Воспользовавшись тем, что болотистая местность не позволяла красным отрядам вести активный поиск, повстанцы, мобилизовав у крестьян д. Тархова 90 подвод и реквизировав топоры и пилы, прошли 15 ноября находившееся на реке Кеть село Маковское Яланской волости, где расстреляли захваченных сторонников советской власти. Здесь они забрали лошадей, хлеб и одежду. 16 ноября они направились на запад, в деревню Ворожейка. Здесь Олиферов оставил в местной церкви письмо, призывавшее красноармейцев «бросить воевать против своих же русских и пожалеть истерзанную Родину».

К этому времени советское командование уже осознало свою ошибку и поняло намерение Олиферова. Перегруппировав имеющиеся войска, красные

вновь пустились в погоню за повстанческим отрядом. После ухода мятежников из села Маковское они расстреляли местных священнослужителей, чьи тела жители тайно похоронили на погосте. 17 ноября повстанцы покинули Ворожейку и, согласно одной из версий, по льду реки Кеть двинулись в сторону Томской губернии. В деревне Лосиноборская они столкнулись с небольшим отрядом местных красных. Разгромив его, Олиферов узнал от пленных, что по дороге на Томск сосредоточены крупные силы противника.

На Обь-Енисейском канале

По данным же, которые приводит советский историк И. А. Абраменко в уже упоминавшейся книге «Коммунистические формирования — части особого назначения (ЧОН) Западной Сибири», отряд Олиферова дошел до села Максимоярское Томской губернии, открывавшего путь в Нарым. Оттуда он, захватив лошадей и около 800 пудов продуктов, вернулся на территорию Енисейской губернии. Его командир якобы сделал маневр, еще раз обманувший красных, — увел свои силы через тайгу еще дальше на север. Скрывая следы своего передвижения, повстанцы вышли на реку Кас в созданный когда-то старообрядцами поселок, названный Александровским Шлюзом и стоявший на Обь-Енисейском канале, к тому времени заброшенном. Обнаруженные здесь советские служащие были повстанцами расстреляны.

Объявив, что «банда» Олиферова пришла в Енисейскую губернию из Монголии и имеет связь со штабом в Харбине, томские власти с разведывательными целями выделили отряд из 353-го отдельного батальона губернской чеки и 63-го кавалерийского эскадрона 31-й бригады под командованием Муржина. Прибыв в село Максимоярское, тот установил, что 3 декабря «банда» Олиферова, изъяв 300 пудов хлеба и мобилизовав возчиков, вновь ушла на Новый Стан. Из Томска сюда же был послан отряд коммунистического полка и 54 члена местных комячеек. Предпринятое 8 декабря новое наступление повстанцев на село Максимоярское оказалось неудачным, они были вынуждены отступить. 1 января 1921 г. отряд Муржина, состоявший из 240 бойцов при трех пулеметах, пошел на Новый Стан, но «банду» здесь уже не обнаружил.

Еще находясь в деревне Тихонова, отряд Олиферова, по данным советских разведчиков, опросивших нанятых ими подводчиков, состоял из 250—300 бойцов, в том числе 50 кавалеристов, организованных в две роты четырехзвездного состава и вооруженных трехлинейными винтовками с 30—100 патронами на каждую, а также двумя ручными и станковыми пулеметами. Следом за ними двигался обоз в 150—180 подвод, из которых 10 были загружены мясом и 12 — медом. У повстанцев имелся запас лыж и теплых вещей.

Нахождение в глухих местах на Обь-Енисейском канале было использовано Олиферовым для реорганизации своих сил. К январю 1921 г. 600—700 штыков и сабель были сведены в две «офицерские» роты и два «казачьих» эскадрона, комендантскую и хозяйственную команды. Объединенные в воинскую часть, названную «Партизанский отряд имени великого князя Михаила Александровича», они находились под командованием штаба и 30 бывших офицеров. Начальником штаба стал в прошлом поручик Кротов, дезертировавший из коммунистического полка, его ближайшими помощниками являлись штабс-капитан Покровский и поручик Бутузов, некоторое время служившие на железной дороге и в советской милиции. Особой заботой их было

пополнение обоза и налаживание работы санитарной части, в составе которой находились лекарь, священник и три-четыре медсестры. Больные, раненые или упавшие духом члены отряда были пристроены на поселение в соседние деревни. Согласно некоторым сведениям, в отряде имелось знамя с надписью «С нами Бог и Михаил II», было распространено ношение погон и чинопочитание, а папахи повстанцев украшали черно-белые ленты.

Можно согласиться с современными авторами, которые, апеллируя к факту наличия в отряде признаков поддержки российского самодержавия, называли Олиферова убежденным монархистом (А. Елисеенко, А. Мармышев). Вероятно, так оно и было: унтер-офицеры и рядовые крестьяне, бывшие под его командованием, охотно следовали своему авторитетному и опытному командиру, насыщавшему их повседневность симпатичной им атрибутикой, напомилавшей о существовавших когда-то порядке и стабильности.

Однако сведений, прямо указывавших бы на политический облик Олиферова, пока не обнаружено. Присущая же белому офицерству, игравшему в крестьянском повстанчестве роль военспецов, разная политическая ориентация, отсутствие доминирования монархических настроений в деревенском мировоззрении и присутствие монархической идеи в других повстанческих отрядах заставляют усомниться в духовном перевоплощении повстанцев, зачастую отстаивающих вольную и безвластную жизнь. Скорее всего, их новый облик был рассчитан на повышение авторитета среди населения, привлечение сторонников и, следовательно, усиление боеспособности.

В январе 1921 г. действовавшая в Енисейском районе разведка 26-й стрелковой дивизии выяснила, что олиферовцы якобы двинулись на север, в село Дубченское (Вороговское) и далее — на Туруханск. Но дезинформировавший ее проводник-«тунгус» вскоре сбежал в «банду», а побывавшие на Новом Стане и вернувшиеся разведчики сообщили командованию о том, что отдохнувшие повстанцы давно уже выступили в сторону Томской губернии. Находясь на Обь-Енисейском канале, они разжились продовольствием, которое обнаружили на одной из барж, и, уходя, сожгли баркас, забрали у рабочих продукты, в администрации — пароходные печати и увели с собой пятерых человек.¹¹

Рейд второй. Мариинский уезд

Внезапно совершив рейд в южном направлении, повстанческие силы провалились на территорию Мариинского уезда и 16 января перешли железную дорогу в 17—18 верстах от станции Берикульская и в 50—80 верстах западнее города Мариинска. Попав в густонаселенную местность, они быстро двигались по ней, уничтожая сторонников советской власти. В селениях Тюменевской волости повстанцы разгромили коммуну «Надежда» и небольшой продотряд, а в селе Тундинское Летяжской волости вырезали весь большевистский актив и продовольственных заготовителей. Находясь в селе Колеул одноименной волости, один из отрядов арестовал 8—10 членов коммуны «Новый мир». Доставленные в село Малая Песчанка Мало-Песчанской волости, они вместе со своим председателем Н. М. Авсиевичем были убиты. Всего в Мариинском уезде было ликвидировано 104 члена коммунистических ячеек,

¹¹ Государственный архив Новосибирской области (ГАОНО). Ф. Р-1. Оп. 2а. Д. 11. Л. 83; Государственный архив Красноярского края (ГАКК). Ф. Р-49. Оп. 2с. Д. 2. Л. 38.

советских служащих, милиционеров и бойцов продотрядов, в Щегловском позднее — около 60.

С прорывом отряда Олиферова в Мариинске началось, согласно воспоминаниям советского функционера, «страшное смятение». В отсутствие войск регулярной Красной армии под ружье ставили всех — чоновцев, коммунистов, милицию и даже тюремную охрану. Против повстанцев были брошены отряды ЧОН Анжеро-Судженских копей, Щегловского уезда. Следом за «бандой» в сторону Мариинска был перекинут отряд Муржина, сюда же из восточной части уезда направлялись заставы Тюхтетской и Тутальско-Чулымской волостей, из города Новониколаевска — отряд 46-го стрелкового полка численностью в 320 красноармейцев. Сосредоточенные на подступах к селу Малая Песчанка, они находились под общим командованием командира 383-го отдельного стрелкового батальона Китвитенко.

Ситуация осложнялась переформированием 81-й бригады, оживлением антибольшевистского подполья и недовольного продразверсткой местного крестьянства. В некоторых селениях жители предоставляли повстанцам подводы и продовольствие. Поэтому приказом командующего вооруженными силами Томской губернии комбрига И. Г. Макаренко от 22 января 1921 г. указывалось, в соответствии с постановлением губернского исполкома, выкачать разверстку до 1 февраля, взыскивая ее в селениях, где прошла «банда», в двойном размере.

Попытка советских войск окружить повстанцев в районе сел Кольюн — Малая Песчанка Мариинского уезда оказалась неудачной. 17 января олиферовцы имели столкновение с продовольственным отрядом из 81-й бригады в селе Малая Песчанка. В боях, длившихся до 25 января, красные были отброшены. К этому времени отряды ЧОН и охранные войска ВЧК пополнились подразделением лыжников и сводным коммунистическим отрядом под командованием бывшего партизанского вожака В. П. Шевелева-Лубкова и составили 900—1000 бойцов при 10 пулеметах. Вырвавшись из очередной ловушки, организованной подошедшими силами красных в селах Банново и Крапивинское Щегловского уезда, повстанцы откатились в районе деревни Змеинка Крапивинской волости к реке Томь. Но переправиться через нее они не смогли и после боя ушли в юго-западном направлении.

Рассчитывая на поддержку населения, Олиферов 27 января распространил воззвание: «Граждане, разве вас не мучает совесть воевать с нами, восставшими крестьянами, разве вы не видите, что сделалось с Сибирью. Я с радостью встретил бы вас и принял в свой отряд. Я иду против жидов и коммунистов. Есть у меня в отряде и бывшие партизаны, больше писать не буду, ибо не знаю у вас настроение. Я не трогаю тех, кто даже сочувственно относится к нам»¹².

Перейдя вновь линию Транссиба, олиферовцы вышли к деревне Комиссаровка в 30 верстах южнее Мариинска. Осуществляя разведку, в которой использовались удостоверения волисполкомов и бланки одного из томских учреждений, а для передвижения даже олени, повстанцы продвинулись на запад до пристанционного поселка Ижморский Почитанской волости, где 27 января, согласно советской разведывательной сводке, разделились: часть их пошла на Кузнецк и Шадринск, а около полутора тысяч человек, преследуемые частями 83-й бригады, повернули в юго-восточном направлении.¹³

¹² Государственный архив Томской области (ГАТО). Ф. Р-580. Оп. 1. Д. 3. Л. 82. Орфография подлинника сохранена.

¹³ ГАО. Ф. Р-1. О. 2а. Д. 17. Л. 123.

В свою очередь, командующий вооруженными силами Томской губернии в приказе от 29 января, объясняя неэффективность действий своих войск, признавался, что повстанческие силы представляли «спаянную, дисциплинированную боевую единицу». В то же время он обязал военкоматы, милицию, продовольственные отряды и воинские подразделения принимать решительные меры, вплоть до расстрела, по отношению к одиночным «бандитам», которые рассеялись по деревням и призывали крестьян к антисоветским выступлениям.

Потеряв до 20 человек убитыми и ранеными и пробившись в Мариинскую тайгу, повстанцы по заснеженной и заросшей дороге, которую расчищали мобилизованные лесорубы и добровольцы из местных крестьян, затем коротким путем по заброшенной тропе, указанной лесничим, прошли к руднику Центральный, что находился в 25 верстах от села Тисуль. В ночь на 28 января они внезапно атаковали окопавшихся там милиционеров под командованием Константиновича. Находившийся здесь же батальон ЧОН Сапожникова в уличных схватках понес большие потери, сам Сапожников получил ранение в ногу. После пятичасового боя красные были вынуждены оставить поселок. Общие потери их составили от 100 до 200 человек убитыми и ранеными, у повстанцев — 150, раненым оказался и Олиферов. На следующий день около 70 пленных, в том числе и Константинович, были расстреляны.

Начало конца. Первый «разгром» олиферовцев

После неудачных действий командование вооруженными силами Томской губернии укрепило руководящий состав отрядов, пополнило их свежими силами и провело реорганизацию частей. Для ликвидации повстанцев (численностью теперь около 400 бойцов) были созданы две группы войск. Из коммунистических частей, в частности пополненного отряда Сапожникова, сформировалась Южная группа войск в составе 450 штыков при трех пулеметах во главе с Шевелевым-Лубковым. Северную группу составляли 400 бойцов при двух пулеметах, находившихся под командованием латыша А. Дусье. Общее командование было возложено на командира 257-го полка 86-й бригады А. А. Неборака.

31 января войска Южной группы начали наступление на рудничный поселок, по ходу которого к ним подтянулись заставы селений Козеюль и Чумай с задачей отрезать пути отхода повстанцев на северо-запад. Бои за рудник Центральный длились двое суток. Наступление отряда Сапожникова на главном направлении привело к окружению «банды». Избегая полного уничтожения, олиферовцы стали отступать по тайге в верховья реки Кия.

Судя по одному из документов, к этому времени «банда» была еще «крепкой, дисциплинированной боевой единицей» и, насчитывая до 400 человек, двигалась в направлении поселка Дмитриевский. Южная группа войск в погоне за нею свернула южнее рудника Центральный и заняла позиции в поселках Натальяевский и Таловка. Коммунистический батальон, созданный из бывших партизан сел Шарыпово, Парная и Чебаки Ачинского уезда во главе с Д. П. Мешковым, А. Е. Ковригиным и под общим руководством М. Х. Перевалова, подчиненный мариинскому командованию, выступил с востока, от села Тамбарское.

2 февраля повстанцы были настигнуты чоновцами. В завязавшемся коротком бою «банда» потеряла 30 человек убитыми и 50 ранеными. Бросив обоз в 90 лошадей и 48 винтовок, она отступила к Татьянинскому прииску, где стол-

кнулась с войсками Северной группы. Схватки с «бандой», окруженной с юга, востока и севера, продолжались трое суток. В бою 5 февраля 1921 г., по одним данным (Абраменко И. А.), «банда» перестала существовать, а по другим — красные были опрокинуты и повстанцам вновь удалось вырваться из окружения (Бугаев Д. А.; Елисеенко А., Мармышев А.).

Согласно И. А. Абраменко, остатки «банды» численностью в 150 человек «разбежались» на лыжах по Мариинской тайге и вышли к деревне Яковлева Тисульской волости, где 7 февраля еще раз были настигнуты отрядами Китви-тенко и Теплова. Здесь они в двадцатичасовом бою были «окончательно добиты» и оставили 98 трупов. Под покровом ночи спаслось лишь чуть более ста израненных «бандитов», которых мариинские чоновцы из-за глубокого снега не смогли преследовать.

Между тем, судя по фактам, изложенным и документально подтвержденным Д. А. Бугаевым в цитированной выше работе, передвигавшиеся пешком, но преодолевшие глубокий снег повстанцы в 4—5 верстах юго-западнее деревни Яковлева были остановлены перестрелкой и свернули на бездорожье, направляясь к селам Сорокино, Едет и Линёво Ачинского уезда. Еще когда повстанцы находились в Мариинском уезде, против них в срочном порядке были собраны две роты милиционеров, рота коммунистического батальона, кавалерийско-пулеметный взвод и эскадрон в 100 сабель, вероятно, одной из частей ВНУС под общим командованием начальника Ачинской уездной милиции П. Е. Пруцко-го. 11 февраля в районе селений Кидат и Береш состоялся бой с отрядом из 90 повстанцев, которые потеряли 30, а красные — 10 человек убитыми и ранеными. Утром 12 февраля «банда», разжившись лошадьми в деревне Талкина, двинулась к селу Линёво, где, встреченная огнем противника, снова потеряла до 30 человек убитыми. В районе заимки Пичугина повстанцы еще раз столкнулись с красными. На этот раз потери их составили 50 человек убитыми и 60 — пленными.¹⁴

Однако утром 13 февраля около 200 повстанцев заняли село Сорокино Шарыповской волости. Окруженные наступавшими советскими войсками, они в ночь на 14 февраля, оставив до 20 человек убитыми, вырвались из села с помощью местного крестьянина по одному из логов.

Сражаясь с олиферовцами, коммунисты, милиционеры и красноармейцы на 13 февраля 1921 г. потеряли, вероятно по заниженной оценке, 59 человек убитыми, 80 — ранеными, 8 — обмороженными и более 30 — пропавшими без вести. Потери повстанцев составляли 250—300 человек убитыми, 73 — ранеными и 350—400 — пленными. Красными были взяты пять пулеметов и 289 винтовок.

Рейд третий. В Минусинский уезд

На лошадях, захваченных в пути и покрытых вместо седел овечьими шкурами, повстанцы численностью от 110 до 200 человек при пулемете Шоша и под командованием вторично раненого Олиферова группами уходили от преследования в сторону Минусинского уезда, намереваясь скрыться в Урянхайском крае и Монголии. 18 февраля «банду» обнаружили в семи верстах от деревни Парная и на реке Черный Июс, где она, находясь на Некрасовском

¹⁴ ГАКК. Ф. 1. Оп. 1. Д. 170. Л. 5; Ф. 448. Оп. 2. Д. 256д. Л. 27—29.



зимовье, изрубила 10 крестьян и захватила лошадей и седла. 19 февраля беглецы прошли мимо села Шарыпово, где для устрашения населения бывшими партизанами было устроено массовое удушение жителей, и направились к селу Божье Озеро, улусам Янгулов и Топанов и далее — к селу Покровское, или Чебаки. В Агаскыре на реке Печище они встретили разведку другой «банды», которая насчитывала 75 человек, но не соединились с нею. При прохождении олиферовцев через Саралу, или Нижне-Саралинский улус, погиб старший милиционер Токарев. По воспоминаниям же очевидца, в селе были захвачены 9—10 чебаковских коммунистов и местных активистов, которых уходящая в спешке «банда» изрубила на окраине. В тот же день повстанцы появились на курорте «Озеро Шира». Объяснив населению, что они являются «крестьянами из отряда им. великого князя Михаила Александровича», и арестовав обслуживающий персонал, они изъяли деньги, медикаменты, разграбили товарно-продуктовую лавку, цейхгауз военного госпиталя, забрали лошадей и в качестве подводчиков привлекли местных крестьян и инородцев.¹⁵

«Банда» преследовала рота коммунистического батальона А. Е. Ковригина в 80 штыков, занявшая села Чебаки и Форпост. С юга подходили части базировавшейся в Минусинске 64-й бригады ВОХР, коммунистические, милицейские и особого назначения отряды. 22 февраля на соединение с ними из села Абаканское выступила 6-я рота 192-го полка и с заданием объединить имеющиеся силы выехал помощник командира полка Лебедев.

Гибель Олиферова

Двигаясь далее в южном направлении, повстанцы 21 февраля в районе села Сон попали под огонь милиционеров, находившихся под командованием начальника 10-го района Минусинской уездной милиции П. Г. Конопелько, и членов коммунистической ячейки села Абаканское. В начавшейся перестрелке Олиферов был убит. Вот как об этом вспоминал сам Конопелько в записи советского автора: «В Усть-Абакане, где мы располагались, была поднята тревога... Я как начальник милиции командовал отрядом, в котором набралось около пятидесяти человек. Мы выехали в район нахождения банды... На рассвете банда подошла к Сону, рассыпалась в цепь и стала окружать село... Началась перестрелка, с каждой минутой усиливавшаяся. Мой малочисленный отряд стеной стоял на пути врага. Командование противника, видимо, было обеспокоено. Два всадника выскочили на сопку, очевидно, чтобы осмотреться. Я приказал открыть по ним огонь. Один из них свалился с лошади. Как мы потом узнали, это был Олиферов. Наша пуля сразила его насмерть... Бандиты бросились к своему атаману. Взяв его, они быстро удалились в западном направлении. Я со своим небольшим отрядом не мог организовать преследования... Узнав, что в селе Сон нас нет, бандиты пришли туда и похоронили Олиферова в церковной ограде, после чего двинулись к Уйбату и далее на Аскиз» (Бугаев Д. А., цит. соч.). Затем труп Олиферова якобы для опознания был красными выкопан и доставлен в село Абаканское.¹⁶

¹⁵ ГАНО. Ф. Р-1. Оп. 2а. Д. 11. Л. 100; Д. 17. Л. 123, 424; ГАКК. Ф. 1. Оп. 1. Д. 170. Л. 8; Ф. Р-49. Оп. 2с. Д. 2. Л. 39; Д. 38. Л. 40.

¹⁶ ГАКК. Ф. Р-49. Оп. 2с. Д. 38. Л. 44.

Агония. Последние бои

Преследуемые красноармейцами, повстанцы под командованием поручика Ерофеева прошли улусы Сайгачи, Черновский и Чарков и 26 февраля оказались на территории Аскизского общества. Здесь они захватили 11 красноармейцев из продотряда уполномоченного и питерского рабочего Алексеева. Сам он с семью бойцами прорвался в Аскиз, но оставшиеся двое красноармейцев были зарублены и столько же — уведены «бандой». Пополнившись через день в районе Аскиза и Синявино повстанцами-инородцами, «банда» двинулась в юго-восточном направлении, рассчитывая через селения Уты, Бея, Сабинка и Означенное уйти за границу.¹⁷

К этому времени повстанцы уже испытывали недостаток в патронах и начали дробиться. Группа из 40 человек ушла в район Зелеево, где оставались припрятанные боеприпасы. По пути некоторые замерзли, а дошедшие до места были пленены красноярской милицией. Однако оставшиеся повстанцы представляли еще серьезную силу. Они состояли из 250—300 офицеров, унтер-офицеров, русских крестьян и инородцев, объединенных в два эскадрона, две роты, две пулеметные команды с двумя пулеметами «кольт» и четырьмя — Шоша. Продвигаясь в юго-восточном направлении, отряд занял улус Усть-Кандырла и 27 февраля выступил на деревню Уты, где был захвачен продовольственный агент Глебов и зарублены двое милиционеров.¹⁸

Преследование повстанцев от Аскиза осуществляли ранее находившиеся в Абазе части 192-го полка под командой Алемасова и Петрова, а также прибывшая из Таштыпа рота 190-го полка из 95 красноармейцев, командиром которой был П. Л. Лыткин. Отправив отряды в разведку, сам Лыткин с 35 красноармейцами прибыл в село Бея. Местная милиция к этому времени уже получила сообщение от инородцев о появлении в их селении всадников в офицерских погонах, требовавших указать дорогу. Но посланные ею разведчики попали в руки «бандитов».

Утром 28 февраля объединенные силы красных повели наступление на деревню Уты, где находился противник, уже готовый следовать далее. Установив на сопках, окружавших деревню, четыре пулемета, Лыткин со своими людьми открыл боевые действия. Отвечая на этот огонь, повстанцы несколько раз пытались обойти красноармейцев с флангов, но каждый раз отступали. Подоспевший через три с половиной часа разведывательный отряд Гусева в составе 60 бойцов открыл огонь по «банде» с тыла. Атака общими силами в метель заставила противника, согласно сообщению Лыткина, оставить на поле боя до 60 человек убитыми и бежать (Бугаев Д. А., цит. соч.). По другим же данным, повстанцы потеряли в четырехчасовом бою только в самом селении 15 человек погибшими, а 120 верховых бежали в сторону Табата. При этом потери красных составили пять человек убитыми и 12—15 — ранеными. В частности, погибли разведчик Ф. И. Семьгин, зарубленный повстанцами, красноармейцы И. Рязанов, П. Ильичев и милиционер Грудинин. Среди «бандитов» оказались убитыми 30 человек и 50 — ранеными.

¹⁷ ГАКК. Ф. 1. Оп. 1. Д. 170. Л. 11; Муниципальное казенное учреждение г. Минусинска «Архив г. Минусинска» (МКУГМ «АГМ»). Ф. 25. О. 1. Д. 169. Л. 40; Д. 225. Л. 53; Д. 334. Л. 16.

¹⁸ ГАКК. Ф. 1. Оп. 1. Д. 170. Л. 12.



Путь в Урянхай для повстанцев оказался перекрыт. Но, вероятно, они не оставили попыток уйти за границу. Служивший тогда очевидец вспоминал, что отступавших к Матуру «бандитов» преследовали и окружили красноармейцы батальона, несшего охрану района Абазы (Абаканского железнодорожного завода). В другом случае двигавшуюся с верховий реки Абакан «банду» численностью в 100—120 человек под командованием бывшего колчаковского офицера якобы встретили на реке Оя красноармейцы пограничного поста «Большие Арбаты». Уничтожив из засады до 30 повстанцев, они сорвали их замысел пробиться за границу для соединения с белыми, действовавшими в Урянхайском крае. Как признавались авторы, в этих схватках «банда» оказалась полностью ликвидированной.¹⁹

Судя же по документам, повстанцы после утинского боя ушли в Усть-Есинскую волость, а 1 марта в улусе Картоев соединились с группой повстанцев-инородцев во главе с Майнагашевыми. В Верхне-Аскизском обществе объединенная «банда» пополнилась еще шестью добровольцами с 18 лошадьми. На следующий день она вблизи улуса Усть-Чуль встретилась с преследователями — 60 красноармейцами. Согласно одному из источников, в состоявшейся перестрелке погибли с обеих сторон по человеку, еще двое получили ранения.²⁰ Другие же документы свидетельствуют, что в этом бою были убиты и ранены 50 «бандитов», а еще 60 преследовались в направлении Мальцевских приисков.²¹

К середине марта остатки этого отряда после боя в 15 верстах севернее Таштыпа отошли в верховья реки Малая Сея. 2 апреля была замечена утратившая лошадей и уходившая на север по реке Тея группа во главе со старшим унтер-офицером Елистратовым.²² Окончательно олиферовцы были разгромлены на территории Усть-Есинской волости уже в июле 1921 г.: 15 повстанцев, в том числе поручик Ерофеев, погибли, четверо были захвачены, а 60 — добровольно сдались. Среди красноармейских трофеев оказалась и печать «1-го отряда им. Михаила Александровича». Оставшиеся в живых 18—20 повстанцев перешли в отряд И. Н. Соловьёва.

Следовательно, в случае с Олиферовым мы имеем дело с бывшим белым офицером, ставшим военным руководителем крестьянского мятежа и талантливым командиром хорошо организованного повстанческого отряда, состоявшего из лиц, в прошлом имевших прямое отношение к воинской службе, а также простых крестьян и — на последнем этапе — ачинско-минусинских инородцев. Осуществляя партизанскую борьбу со сторонниками коммунистического режима путем четырехмесячного рейдирования по территории Енисейской и Томской губерний, они вписали в летопись Гражданской войны одну из уникальных, но жестоких и трагических страниц.

¹⁹ Воспоминания участников гражданской войны в Минусинском уезде. — Абакан, 1957; Елисенко А., Мармышев А. Указ. соч.

²⁰ МКУГМ «АГМ». Ф. 25. Оп. 1. Д. 334. Л. 16.

²¹ ГАНО. Ф. Р-1. Оп. 2а. Д. 11. Л. 103; ГАКК. Ф. 1. Оп. 1. Д. 170. Л. 13.

²² ГАНО. Ф. Р-1. Оп. 2а. Д. 11. Л. 101, 107.

Владимир ЯРАНЦЕВ

ВЕРТИКАЛЬНОЕ ДВИЖЕНИЕ

Помнится, были некогда популярны антиутопии по поводу будущего нашего государства. «ЖД» Д. Быкова, «2017» О. Славниковой, «2008» С. Доренко, романы А. Проханова и В. Сорокина, В. Личутина и В. Пелевина — все это было да, в общем-то, и остается излюбленным писанием и популярным чтением. Ибо сколько же может Россия наша блуждать в поисках наиболее адекватных для себя условий жизни, форм подходящей для себя государственности?

Но есть, на наш взгляд, что-то излишне литературное во всех этих утопиях и антиутопиях. Слишком велик там масштаб и слишком мал человек, для которого, собственно, и должно строиться идеальное государство, а неидеальное отмирать. С другой стороны, и человек, пугающийся больших мыслей и горизонтов, бегущий от них в ячейку своего угла существования, вряд ли достоин лучшего государства, чем то, для которого такой «маленький человек» весьма удобен и хорош. Закономерен вопрос: как не потратить себя на «политику», увлекшись иллюзиями конструирования счастливой России, и не умалиться вовсе, превратившись из человека в «премудрого пескаря», жалкого обывателя? Что делает человека человеком, без деления на «большого» и «маленького»? Можно ли сделать в жизни что-то настоящее, подлинное, если не

ставить перед собой огромных вопросов? Необходимо, чтобы была потребность в этом. А значит, поиск, путь, стезя.

1. Боязнь серьезности

На наш взгляд, именно эта потребность в постижении себя и, по большому счету, всей своей страны озаботила сейчас наиболее интересных отечественных писателей. Время самодостаточных одиночек-диссидентов, описанных сугубо постмодернистски или антиутопически, подходит к концу. Герой писателя нового времени покидает обжитые уюты своей персоны в надежде обрести иную жизнь, где обязательно присутствовал бы смысл, подчас самого высокого порядка. А если ему мало достигнутого и он идет дальше, то может приблизиться к главному. К тому, о чем сейчас, в эпоху негласного табу на громкие слова, понятия, идеи, избегают говорить, — к Богу. Может, конечно, так и надо. Памятуя о заповеди: «Не поминай имени Бога всуе». Важно, чтобы это стремление, вектор, чувство вертикали всегда присутствовало, где бы герой ни находился, в какие бы обстоятельства ни попал. И тогда он вдруг, неожиданно для себя (автора произведения, читателя, критика) — произносит имя Того, по Чьему образу и подобию сотворен.

Вот роман странный, написанный комическим, чуть ли не Ильфа-Петрова языком, но нарастающе трагический. Это «Вера» Александра Снегирёва — «хит» минувшего литсезона.

Отец героини, человек с несуразным именем-отчеством Сулейман Фёдорович (его называли в честь поэта-сталинца Сулеймана Стальского), женатый на авантюристке, у которой была куча любовников, — персонаж изначально не очень серьёзный. И уже совсем уходит в область комического то, что, став православным подвижником, он реставрирует заброшенную церковь с помощью консервной жести, удивляя мир «кокакольными» окладами икон. Затем вдруг начинает все ломать, переживая целую драму. Но поняв, «что никакого Бога ни на земле, ни на небе нет», он «в тот самый момент узрел Его».

Но это прозрение ещё ни о чем не говорит. Если бы не его дочь с красноречивым именем Вера. Ее судьба — словно воплощение этого парадокса: отказ от Бога, приводящий к Богу. Она ведет жизнь далеко не святую: любовники, деньги, шик, гламур. Но не ее она считает настоящей. Ее подлинная мечта — переделать тех, кто именно такую одномерную жизнь почитает главной. И осуществить эту переделку доступным ей женским способом: дарить свою любовь, свое тело всем, кто еще может измениться, — банкиру, публицисту, милиционеру чину. Мечта в чем-то христианская. Не зря вождьленный ребенок от кого-нибудь из них будет младенцем не простым, он будет «жалеть и спасать» и ее, и других.

Степень ее доверия к людям такова, что переходит границы реального. В безумии она отдается «коричневым людям» — гастарбайтерам, теряя остатки своего «Я». И в этот жуткий миг много безбожия («Бог наконец отвязался, оставил ее в покое») ее спасает от смерти

голубь, чей стук в окно отрезвляет убийцу. Читать надо: Святой Дух, традиционно являющийся в образе голубя. Автор в этой кульминации своего повествования оставляет «одесский» стиль, переходя на торжественно-библейский: «Теперь от нее не осталось ничего. Собой она затопила мир, раскинулась гладью и стала концом всего, и началом всего, и прохладой». Так вольно или невольно, вопреки автору или благодаря ему, но Вера оказалась святой. Достоянная наследница своего православно-эксцентричного отца и любвеобильной матери, она пошла дальше их. Жертва ради веры в доброту и ответную любовь людей возвысила ее жизнь и сделала ее богочеловеческой, если переходить на высокий стиль философии Вл. Соловьёва.

Возможно, это преувеличение и слишком пафосное истолкование данного романа. В котором никакого пафоса нет. Можно даже сказать, что А. Снегирёв сознательно не допускает его в свое произведение, предохраняясь легким стилем, ильфопетровскими фразами вроде: «От камушка вельможной шутки по лицам пошли круги». Или: «Желтый стикер луны, лепящийся к... кажущейся бесконечной ночи». Содержание «Веры», логика ее судьбы, оказавшейся восхождением к Истине, говорит об обратном. О том, что автор весьма серьезен, но предпочитает это скрывать. А то не поймут, не оценят, засмеют. Произведение то художественное (автор все для этого сделал!), и не дай бог засушить, испортить его риторикой.

Эта боязнь быть серьезным отзывается порой крайностями на грани сущей графомании, в лучшем случае — эксперимента. Так, читая роман **Дмитрия Данилова «Горизонтальное положение» (2010)**, думаешь сначала, что это откровенная насмешка над читателем. А как иначе, если весь он написан безлично-отглагольными словами. Начи-

ная со вступительной поездки героя на автобусе для фотографирования загородных видов: «ожидание автобуса...», «прибытие автобуса...», «петляние автобуса...», «наполнение автобуса...», «разбор получившихся фотографий...», «обработка фотографий...» и т. д. вплоть до: «укладывание в постель, сон». Потом находишь эту нарочитость забавной и увлекательной, что-то в стиле московских концептуалистов-юмористов вроде Д. Пригова, да и талантом иронических формулировок автор не обделен. Затем понимаешь, что за этим вроде бы одномерным текстом-уродцем кроется вполне определенный смысл — показ механически-обездушенного существования человека-винтика большого города. В котором и профессия журналиста обезличивается, так как герой буквально заставляет себя писать заказные тексты для газовых компаний и т. п. А потом, наконец, видишь, что он явно тяготится своей участью, и такой безличный стиль — не оригинальная находка, а крик души, только полужадушенный. Оказывается, анонимный герой Д. Данилова не безнадобен. Он завсегдатай литобъединения, лекций по сектоведению и более-менее регулярный прихожанин православного храма, близко знакомый с его священником. Никак не выделяется, не акцентируется среди потока отглагольных существительных, инфинитивов и прочих безличных речевых конструкций и такое важное в его жизни дело: «Надо каждый день читать молитву Иисусову, надо каждый день читать Псалтырь, по одной кафизме или хотя бы славе, надо каждый день читать по одной главе Евангелия и по две главы Апостола». И ключевые слова: «Надо как-то вытаскивать себя из болота».

Повторим, написано это, как и все прочее, в апатии, человеком, втянутым в круговорот механической жизни. После этих слов, правда, можно поверить в то,

что он выберется из замкнутого круга, найдет в себе силы написать не «об этих идиотских днях, а о чем-нибудь, например, Интересном или, допустим, Важном». Обратим внимание на заглавные буквы. Ведь эти абстракции — зашифровка, эвфемизмы Бога. Не может он напрямую написать, произнести это слово, это имя, потому что еще далек от него. Но уже на верном пути, и горизонталь непременно должна стать вертикалью, восхождением к осмысленной свыше жизни. Может, конечно, и здесь мы преувеличиваем. Однако в очередной раз убедились, насколько чужды всякого пафоса и высоких слов писатели с акцентом на «чистую» художественность или эксперимент. Тем не менее содержание произведения часто бывает мудрее его автора.

2. «Знание — покой, вера — движение»

Бывает, правда, и обратное, когда писатель хочет быть мудрее и пафоснее своего произведения. И тогда задумаешься: где же больше истины — в бесхитростных рассказах «из гущи народа» или в риторике автора, эти рассказы двояко толкующего. Именно таково «устройство» романа **Антон Понизовского «Обращение в слух» (2013)**. Его герой по имени Фёдор для будущего научного исследования записывает на магнитофон рассказы простых людей о своей жизни и дает их слушать своему соседу по гостинице Дмитрию Всеволодовичу. Разные точки зрения — у Фёдора «народническая», у Дмитрия Всеволодовича «аристократическая» — рожают полемику о русском народе, национальной душе, ее прошлом и будущем.

«Народные» рассказы довольно однообразны. Это истории о нищете и беспробудном пьянстве, драках и убийствах, мужьях-алкашах и их терпеливых женах.

Общая картина получается безрадостной. Словно специально для скептика Дмитрия Всеволодовича, считающего русских «инфантильными», «подростками во взрослом мире», «тупиковой ветвью между цивилизацией прошлого и будущего». И даже «народом-пугалом» с преобладанием «низшей расы», т. е. «быдла». Фёдор возражает ему, вооружившись Достоевским. Надо исходить, говорит он, не из материи, а из духа, любви, души, которая так устроена, что может существовать только в общности с другими: только в таком «коллективном» смысле народ является «богоносцем». Индивидуально же человек может быть и низменным, сугубо материальным. Но если в нем есть «вектор душевного устремления к “Да”» воли Божией, движение, хоть и малое, слабое, к этому «полюсу», то он уже оправдан. Фёдор доказывает Дмитрию Всеволодовичу, что «Нет» Богу здесь, в этих рассказах, никто не говорит. Несмотря на тяжкую, тупиковую жизнь, ни у кого нет уныния, мыслей о самоубийстве. И, прожив невероятно трудную жизнь, они, особенно женщины, говорят: «Я довольна», «Мне повезло», «Мне встретились хорошие люди», «У меня была хорошая жизнь». Иллюстрацией этой мысли в заключение романа звучит «Рассказ о Степном гнезде». Здесь сын, служивший в армии где-то в захолустье, становится инвалидом, а мать приезжает к нему в госпиталь. Но постепенно начинает ухаживать не только за сыном, но и за всеми, лежащими в его палате. Женщина по-настоящему счастлива: она «в коллективе с хорошими людьми», «по жизни мне повезло» — повторяет она.

Однако по-настоящему прозрел и движется к Богу, видимо, один лишь Фёдор. Только для него это «обращение в слух», т. е. необходимость интервьюировать народ, является способом — «через него» — слушать Бога. «Это Он, — ду-

мает Фёдор, — говорит притчами, которые надо понять». И если Он застанет его в этот момент слушающим, то такой человек станет «обратившимся» уже в другом, высоком значении слова, т. е. уверовавшим. Неслучайно и то, что Фёдор в итоге награжден любовью девушки, его единомышленницы.

Материал рассказов в романе таков, что скорее поверишь Дмитрию Всеволодовичу. Кажется, что исповеди подопраны «под него», а автор отнюдь не на стороне Фёдора, сочувствуя скорее его оппоненту. С другой стороны, он позволяет Фёдору открытым текстом говорить о Боге и неотвратимости движения к Нему. Но сильна ли позиция Фёдора, опирающегося на Достоевского, с которым так цинично расправляется Дмитрий Всеволодович? Автор дает ему волю (три главы подряд!) высказаться и тем самым нейтрализовать пафос Фёдора в его богодвижении. Однако мы вновь отмечаем феномен самоорганизации произведения, словно отчуждающегося от автора. Его герой здесь красноречивее авторских подсказок и «фактов» говорит о смысле данной книги.

Так происходит и с романом **Евгения Водолазкина «Лавр» (2012)**. По сути и отчасти по форме это житие. Время действия романа отнесено к русскому средневековью, и это приближает героя к Всевышнему, ибо тогда вера была несомненнее и глубже, а люди ближе к Богу. Арсению же сверх того дан и дар врачевания: «облегчать возложением руки боль». Но когда однажды этот дар ему не помог — умирает от родов в его избе дорогая ему Устина, — в нем происходит перелом. Свою жизнь он превращает в подвижничество, в бескорыстное служение людям — врачая, борясь с эпидемиями. Его странствия превращаются в путь познания себя и мира. Вплоть до отказа от своего «Я», безумия в образе юродивого,

раздвоения на Арсения и Устина, сопровождаемого голосом своей замогильной спутницы, Устины. Паломничество в Иерусалим, сопряженное с множеством опасностей и приключений, производит с героем очередную метаморфозу: переход в другое измерение, из горизонтального, земного, в вертикальное, небесное. Если до этого главным горем и одновременно счастьем его жизни была любовь к Устине и чувство вины перед ней («Я много лет пытаюсь служить спасенью Устины, которую убил»), то теперь, после паломничества, он знает, что это было способом приближения к Господу. Только поэтому его путь не уклонился в безумие. «Усилие предполагает веру. Знание — покой, а вера — движение», — слышит он от некоего старца у Гроба Господня.

Его совет «не увлекаться горизонтальным движением паче меры», но озаботиться «движением вертикальным» и предопределяет возвращение Арсения/Устина в родные края. Пострижение в монахи и принятие схимы показывает, что герой живет отныне действительно «вертикально». Иные у него и имена: Амвросий (в монашестве) и Лавр (в схиме), и нет чувства единства «горизонтально» прожитой жизни. Ему кажется, что она прожита словно «четырьмя непохожими друг на друга людьми, имеющими разные тела и разные имена»...

«Жизнь напоминает мозаику и рассыпается на части», — говорит он старцу Иннокентию. Но тот отвечает Лавру: «Ты растворил себя в Боге. Ты нарушил единство своей жизни, отказался от своего имени и от самой личности. Но и в мозаике жизни твоей есть то, что объединяет все отдельные ее части, — это устремленность к Нему. В Нем они вновь соберутся».

Такой финал романа, надо полагать, не мог устроить автора — как излишне риторический и пафосный. В итоге схимник

Лавр, как и в начале романа, дает приют и убежище юной беременной Анастасии, обманутой, оклеветанной, опороченной односельчанами. Он спасает женщину от расправы (в ее чреве якобы находится дитя Дьявола), взяв на себя отцовство, но теряя при этом авторитет святого.

Эта развязка может показаться слишком мелодраматической, «сериальной», уступкой массовому читателю, как, впрочем, и некоторые иные эпизоды «Лавра». Но в итоге остается другое ощущение — ощущение цельности, когда персонажи романа начинают действовать независимо от воли автора. Несмотря на попытки последнего «остранить» свое произведение комическими анахронизмами: пластиковые бутылки в лесу, «Комсомольская площадь» в Пскове XV в., современные речения в устах персонажей («Это есть феномен, достойный всяческой поддержки», — говорит посадник Гавриил; ругательство «твою дивизию!» юродивого Фомы). Но это лишь средство обозначить и утвердить свой авторский голос, право на «подсветку» своего произведения иными смыслами. Героями же писателя движет все же другая логика и пафос их судеб, громко говоря, — сам Бог. И такой высокий слог в применении к роману и его основному герою не кажется нарочитым, наоборот, естественным для «Лавра», пронизанного вертикалями восхождений к Истине.

3. «Noli me tangere» (Не прикасайтесь ко мне)

Наоборот, роман **Виктора Пелевина «Смотритель» (2015)** является целиком искусственным, придуманным, умышленным. Опыт создания умышленных миров у писателя немалый. И лучше было бы, если бы В. Пелевин стал «чистым» (честным) фантастом. Но он строит свои фантомы так, что сквозь

них видна самая что ни на есть российская современность. Особенно политические реалии, фигуры, явления, события. А дар политических сарказмов превращает его романы в злободневную сатиру. Причем «прикольный» этот комизм весьма специфический, ибо замешан на мистике. А точнее, на болезненном отношении к миру как иллюзии. Настоящая же реальность находится где-то за семью печатями, в неизведанных глубинах то ли универсума, то ли сознания героя. Ее вечный поиск и есть суть пелевинских романов, чем дальше, тем все более причудливых, все более «компьютерных». В «Смотрителе» писатель придумал новую «игру»: герой романа Алекс Кижэ (рассказ Ю. Тынянова тут совсем ни при чем) является наследником и порождением фантома Павла I, отделившегося от своего телесного прототипа накануне покушения на него и отправившегося в специальный мир, новое измерение — Идиллиум, созданный его «братом» по Мальтийскому ордену Францем-Антоном Месмером. Алекс пытается проникнуть в тайну Смотрителя, владыки Идиллиума и потенциальной жертвы его теневых хозяев — все происходящее вертится вокруг сюжета убийства. Все Смотрители должны быть убиты неким Великим Фехтовальщиком, повторяя исходный сюжет убийства Павла I в Михайловском замке.

Этот знаменитый дворец служит в романе и вместилищем фантастического пространства со всеми монашескими орденами («Желтый Флаг» и «Железная Бездна») и при них — фаланстерами для учащихся, а также с канцеляриями, «соликами»-созерцателями, совершающими «coming in» — Великое Приключение в мире своей мечты, и еще Комнатой Бесконечного Ужаса и т. д. и т. п. Мир этого Идиллиума/Михайловского замка заселен и обставлен весьма тщательно,

подробно, с максимальной достоверностью, на какую способен тренированный и изощренный ум писателя. Но верить в него невозможно: автора подводит его склонность к «приколам», особенно касающимся стимуляторов сознания, разного рода «глюкогенов», продуцирующих счастье в «расчетных единицах» — «глюках». Невольно думаешь, что и вся громоздкая конструкция двухтомного «Смотрителя» зиждется на «глюках» таких чисто головных придумок, — мыльный пузырь одноразового чтения.

И путь, который проходит в романе его герой Алекс, утверждаясь в своей должности, тоже мнимый. Блуждая по башням, комнатам, коридорам, закоулкам Идиллиума и Ветхого мира, он возвращается в одно и то же место или просто там и остается. Даже последнее из событий — «штурм» «Храма Последнего Поворота» с окончательной разгадкой всех тайн романа, несмотря на каскад опасностей (от лестницы в небо без страховки до комнаты мумий со свободным креслом), заканчивается всего лишь зеркалом. В нем отражается весь роман, его герой и его «кабинет в Михайловском замке». Что-то вроде телевизора, где Смотритель — «сон, который сам себя смотрит».

И зачем жить ради других людей, врачевать их, избавлять от эпидемий, дремучих предрассудков, хворей физических и духовных, принимать схиму, если все оказывается «просто симуляцией», где каждое мгновение рисует «мираж нашего мира»? Неужто только ради констатации факта, что «мне пока что нравится быть привидением, галлюцинацией, рассыпающейся пустотой» и одновременно «опорой Отечества, создателем Вселенной, собеседником Ангелов»? А лучше: *Noli me tangere* — «Не прикасайтесь ко мне» — будто говорит он своему читателю словами Христа, сказанными Марии

Магдалине сразу после воскресения. Если В. Пелевин глаголет это только о себе и своем творчестве, то обнадеживает. Ибо он приближается к осознанию тупиковости своего метода на пороге выхода к людям. Как Арсений/Лавр, переживший смерть и разложение тела Устины и ее сына, вышел к людям, чтобы пережить «разложение» собственной личности (юродивый в Пскове) и воскреснуть в монахе.

Неслучайно почти весь «Смотритель» состоит из диалогов: герой спорит, ищет истину в длинных беседах с мистиками и философами, циниками и моралистами, Ангелами и «самим» Павлом I Алхимиком, хоть и заочно. Ему явно не хватает «простых» людей, как в романе А. Пониловского, чтобы прозреть, «обратиться» хотя бы «в слух». Только такой В. Пелевин уже не будет собой. И потому обречен на «идиллиумы» разных размеров, и путь его героев будет настолько же длинен, насколько и смехотворно короток и пуст. Согласно «глюкогенному» пониманию пространства и времени, реальности и нереальности, Бога, Истины и Идеала, которые затерялись где-то в бесчисленных зеркалах его саркастических миражей.

Люди пронизательные заметят мне, наивному, что роман этот, ничего общего с мистикой не имеющий (обычное для В. Пелевина дело!), является очередным политическим «меседжем» власти, ее элите, ее интеллектуалам, привыкшим уже к подобного рода иносказаниям. Но давайте спорить. В вулканическом сплаве пелевинской самооплодотворяющейся прозы это все-таки не единственное толкование. Однако очевидно: она не побуждает к сопереживанию, а ее герои не воспринимаются как живые, реальные. Даже если они живут в историческое время, а обстоятельства требуют от них «политических» мыслей и поступков.

Герой романа **Захара Прилепина «Обитель» (2014)** — узник Соловецкого лагеря, самого сурового места заключения конца 1920-х гг. Он, молодой москвич, «повеса и читатель книг», хочет остаться собой, умело вписавшись в соловецкую жизнь. И поначалу ему это удастся: он «лишних вопросов не задает», «разговаривает мало и по делу», «не груб и не глуп», ему «дается труд», хотя он «человек с умом и соображением» и вообще «очень живуч». И хоть вид у него как у каэра (контрреволюционера), но ни до них, ни до уголовных, ни до большевиков («случились и случились»), ни до духовенства с их религией («в церковь не ходил по стихийному неверию») ему нет дела. Зато им до него есть.

От Артёма они требуют подчинения их правилам и законам. Блатным «фраер» должен отдавать домашние посылки, каэры предполагают вовлечь его в свой заговор с целью убийства начальника, администрации и побега, тренер по боксу хочет сделать его участником внутрисоловецкой спартакиады, начальник Эйхманис — чем-то вроде ординарца, начальник Галина — любовником, а начальники помельче (десятник Сорокин, ротные Крапин, Кучерава, Бурцев) добиваются слепого подчинения их приказам и прихотям. Неисполнение чревато побоями или расстрелом. Но Артём не согласен подчиняться. В итоге львиная доля содержания романа — это эпизоды с отстаиванием героем самого себя, своей независимости, самой жизни. Периодически Артём дерется: он бьет кого-нибудь, его бьют, он постоянно в ранах, синяках, ссадинах, лежит в больнице или выздоравливает на ходу. Не прельщают его ни речи каэров о том, что без них большевики и страна не наладят нормальной жизни, ни проповеди священника «владычки» Иоанна о благотворности тюремной «аскезы» и возможности массового раскаяния, ду-

ховной стези. Ближе всего Артёму идеи Эйхманиса о Соловках как «фабрике людей», особой «цивилизации», создающей «нового человека». Ибо этот тезис мог бы примирить главные слои соловецкого «населения»: большевиков, каэров, монахов.

Но все оказалось утопией: власть погубил «разврат» и склонность к психопатологиям (см. «Дневник» Галины в «Приложении»), каэры ничего не сумели, а духовенство так и не обрело своего прежнего влияния и даже наоборот — сотрудничеством с чекистами испортило репутацию. Поэтому так скептически слушает Артём «владычку», его слова о Соловках как «школе добродетелей». И даже в критический момент между жизнью и смертью в страшной тюрьме на Секирной горе его буквально тошнит от монолога Иоанна, кажущегося ему лицемерием («всем говорит про доброту... А любой из них злая тварь...»). Он залиvisto смеется над «спектаклем» масового покаяния в грехах сокамерников, который устроил священник Зиновий. Его избивают за порчу фрески, изображающей какого-то святого, которую он сам обнаружил под штукатуркой. И вот что важно: само это изображение-икона («нос прямой, красивые уста, высокий лоб, брови — как черная птица крылом поделилась, борода — пышным клином, длинные волосы»), поразительно напоминающее самого Артёма, заставляет его не уверовать в Бога, а, напротив, возненавидеть его.

Казалось бы, парадокс, вытекающий из желания автора сохранить независимость героя при любых обстоятельствах. По нашему же мнению, это все тот же симптом писательского целомудрия, боязни уклониться в религиозно-церковную риторику, фальшь нарочитой набожности. Такой писатель ищет жизненных, реальных объяснений и мотивировок. Вот и

З. Прилепин оправдывает кощунство Артёма острым переживанием после расстрела близкого ему ээка, поэта Афанасьева. И мы понимаем: герой — человек не просто фатально светский, он поэт во всем: по складу характера, образу мыслей, языку, поэт 20-х годов, «есенинец». Имажинист Есенин же в годы революции активно кощунствовал, призывая нового мужицкого бога вместо старого. Но именно здесь, как мы помним из романа А. Снегирёва, когда герой решил, что «никакого Бога нет», он в тот же миг «узрел Его». Так происходит и с Артёмом. Только в отличие от героя романа «Вера» герой «Обители» сам ни за что не сознается в этом. За него это делает все тот же «владычка», так и говорящий Артёму: «Ты сам, никому не угождая, семьдесят раз по семь прощал всех... желавших тебя погубить». «Что же ты, Тёменька, в самый трудный час злобишься?» — укоряет его Иоанн.

И мы готовы присоединиться к «владычке», которого Артём слушать слушал, но все-таки «не уважал». Обилие сцен рукоприкладства, реального и помышляемого, заставляет сказать очевидное: Артём — прямой наследник Саньки из одноименного и самого «прилепинского» романа писателя. Кредо этого сверхрадикального героя — действие и только действие ради единственной цели: революции («Россия невысказана больше вне революции и без революции»). Условия Соловецкого лагеря свободы действия лишают, так же как и цели. Остается одно — отстаивать себя, держать фронт своего «Я». Эгоизм, однако, ему тоже чужд и противопоказан — как одиночество гордеца или подлеца. Не в силах распутать клубок противоречий, Артём в «Эпilogue» теряет веру в человека: «Человек темен и страшен, но мир человечен и тепел», — решает он, бродя по соловецкому лесу накануне своей смерти. Как

Лавр Е. Водолазкина, он дошел до дна, за которым либо распад личности, либо воскресение. И это вопрос уже философский, общечеловеческий.

В этом смысле фигура Артёма кажется символической, почти условной. Чуть ли не Климом Самгиным — «прикладным» героем, нужным автору для показа, обзора эпохи. Не зря Э. Прилепин завершает свою книгу мемуарами — дневником Галины и «примечаниями», якобы подтверждающими историчность ее и Эйхманиса — в пику Артёму, о котором там почти ни слова. Кроме одной строки: в 1930 году его зарезали в лесу «блатные».

4. Тяга к небу

Литературное произведение все-таки существует по своим законам. Вымысел — в равной степени идущий и от обобщения-типизации, и от авторского «волюнтаризма» — и определяет его главное свойство: делает многомерным, вызывающим к различным толкованиям. Поэтому и путь героя литературного произведения, поиск им понятий с большой буквы, вплоть до Бога, также лишен однозначности. Как правило, он противоречив до крайней запутанности, тупиковости. Нельзя с уверенностью сказать, что герой обрел чаемое, «обратился». И только жанры документальные, основанные на реальных судьбах, событиях, способны что-то дать читателю, заинтересованному в героях, достигших искомого, нашедших на своем жизненном пути Большое, Великое, Абсолютное. По крайней мере, потребность в герое, свободном от крайностей человека «маленького» или «большого», о чем мы писали в начале, все чаще приводит писателей к отрицанию вымысла, к документальности. Но к такой, которой трудно расстаться с художественностью.

Отсюда такой феномен, как ЖЗЛовские биографии, написанные в романной манере. Или документальные романы, вроде недавнего «Ключа» Н. Громовой о поэте В. Луговском. Для нас интереснее и ближе, в том числе географически, документальный роман **Леонида Юзефовича «Зимняя дорога» (2015)**. Точнее, один из двух его героев — генерал Анатолий Пепеляев. Начало 1920-х гг., позади колчаковская эпопея, где он был одним из главных действующих лиц, впереди — тихая эмигрантская семейная жизнь в Харбине. Тем не менее он принимает предложение областного «Сибирского комитета» совершить военный поход в Якутию, где якобы ему будет обеспечена широкая поддержка народа, пострадавшего от большевиков. Утопичность подобного похода в 1922 г., в пору повсеместной, кроме дальневосточных окраин, победы красных, была очевидной. Контрреволюционные восстания в Западной Сибири давали слабую надежду, но здравомыслящему было ясно, что большевики власть не отдадут.

А. Пепеляев таким прагматичным не был: он был идеалистом, романтиком. И притом военным, умеющим воевать и побеждать. Военный опыт научил его тому, что выигрывать войны можно только с народом и для народа. Гражданская война поэтому — полный абсурд, великое заблуждение. Русские не должны убивать русских, надо, чтобы это все поняли. А. Пепеляев понял это еще в Перми в январе 1919 года, когда, вместо расстрела большого числа красных пленных, он отпустил их домой. Не преследовал он и дезертиров, позволял покинуть армию тем, кто не уверен, что сможет вынести все тяготы. Его называли «мужицким» генералом за его идеи. «Сибирское крестьянство для него, — пишет Л. Юзефович, — объект мессианских чаяний, как

монголы для Унгерна или пролетариат для марксистов, только не во всемирном, а в национальном масштабе».

Идеализм рождает бескорыстие: после ареста большевики нашли у А. Пепеляева только пять серебряных монет, а не ожидаемые пять миллионов. На этой обреченной «зимней дороге» похода среди гор, болот, якутской тайги генерал голодал вместе с добровольцами, ел кожу, траву, корни. Это были не бандиты-головорезы, как вещала большевистская пропаганда, а братство единомышленников. Причем в прямом смысле. В приказе от 1 января 1923 года был пункт: «для закрепления сплоченности» при обращении друг к другу употреблять перед чином слово «брат» — «брат добровольец, брат полковник, брат генерал». Тут уже недалеко до самой высокой религиозности — веры в то, что «сам Господь послал нас на эти страдания, и отказаться от них мы не можем». Даже флаг его сибирской дружины, бело-зеленый, «областнический», с другой стороны полотнища нес изображение креста и лика Спаса Нерукотворного — в знак того, что «революция заканчивается обращением к Христу». Народ, однако, вскоре разочаровал А. Пепеляева своей безыдейностью: «Он только пользовался нами во избежание разверсток, налогов и прочая, а вопрос о власти его мало интересовал». Запись в дневнике подытожена выводом: «У народа идеи нет». К этой поре вслед за кратковременными успехами — взятием слободы Амга, за которым по плану было взятие Якутска, — пришли поражения. Сибирская дружина откатилась обратно к Аяну, откуда в сентябре 1922-го начался поход. В июне 1923-го А. Пепеляев уже сидел под арестом, надеясь, что его «будет судить власть народная».

Насколько же убежден был он, боевой генерал и георгиевский кавалер,

в своих «мужицких» идеях, что даже в красных видел заблуждавшихся людей (когда-нибудь они поймут, что «идею не убить!»), а не безжалостных врагов! Но обратим внимание на сам факт существования дневника, который А. Пепеляев вел до ареста (в 1923 г. опубликован в сибирской прессе). Способность к рефлексии, анализу, «литературе» — все, что отличает человека, ведущего дневник, — превращает фигуру видного белогвардейца-колчаковца в Человека с большой буквы. Того героя, который ищет свой Путь в жизни, тоже с большой буквы, с идеалами такими же заглавными: Россия, Народ, Бог. Л. Юзефович в своей книге точно определяет такого Человека Пути: «Свойственная Пепеляеву зыбкость политических убеждений, его неспособность примкнуть к какой бы то ни было партии — черта не столько даже интеллигента, сколько взыскующего Божьего Града, русского праведника».

В советской же России 20—30-х гг. путь таких людей оказывался накатанным: тюрьма и расстрел. Итог пути А. Пепеляева оказался таким же, как и у его оппонента по ту сторону баррикад — красного командира Ивана Строда. Л. Юзефович построил свою книгу именно как параллельное жизнеописание белого и красного генералов. Вина И. Строда была в том, что он мог оценить беспристрастно, без пропагандистских клише, образ действий врага. И оценка эта была высокой: «Повстанцы допускали зверства, но после прибытия Пепеляева зверства прекратились. Пепеляев издал приказ не трогать пленных. Я считаю его гуманным человеком», — свидетельствовал он на суде в январе 1924 г. А через тринадцать лет, в 1937-м, оба стали жертвами почти одинаковых обвинений. И. Строду вменяли троцкизм и «террористические намерения против руководства ВКП(б)», намерение убить Сталина, активное членство

в «повстанческо-террористической организации красных партизан». А. Пепеляеву — членство в «белогвардейской эсеро-монархической организации, готовившей вооруженное свержение советской власти в Сибири и передачу ее под протекторат Японии».

Таков парадокс того времени: одни идеалисты — большевики — уничтожали других, которые по природе и убеждениям своим не могли ответить насилием. Потому что идеализм красного цвета оказался одномерным и плоским по сравнению с другим, белым или, если хотите, бело-зеленым. К нему принадлежали люди воистину многомерные. У соратника А. Пепеляева Л. Мальшева в разгар военных действий возникла, например, неотложная потребность в чтении «Критики чистого разума» И. Канта: он дал объявление в пермской газете с просьбой «одолжить на некоторое время» эту книгу с указанием адреса — «Действующая армия, 3-й Барнаульский стрелковый полк, поручику Мальшеву». А другой соратник генерала военный инженер К. де Поль не расставался с произведениями М. Метерлинка, выписывая цитаты в свою записную книжку. Характерно, что одной такой выпиской Л. Юзефович заканчивает свою книгу: «Мы знаем, что во вселенной плавают миры, ограниченные временем и пространством. Они распадаются и умирают, но в этих равнодушных мирах, не имеющих цели ни в существовании, ни в гибели, некоторые их части одержимы такой страстностью, что, кажется, своим движением и смертью преследуют какую-то цель».

Космическая цитата эта — хорошая метафора жизни А. Пепеляева, имевшей и свое время и пространство, и свою правду, одержимость, страсть. Как целый мир, целая планета, открытая, по сути, только недавно, явился он в России первой трети XX в. и нанесен на карту вы-

дающихся «светил» страны уже в наше время.

А вот Юрий Гагарин еще при жизни получил всемирную славу. И космос для него стал не метафорой, а самой что ни на есть реальностью. Путь его жизни, как вспышка звезды, — короткий, но яркий, с неожиданной конкретностью реализовал ту мечту о восхождении, о «вертикальной» жизни, к которой пробивались сквозь противоречия собственной жизни герои литературные тех книг, о которых здесь говорилось. Книга Льва Данилкина «Юрий Гагарин» (2011) как будто бы документальная, изданная в известной серии «Жизнь замечательных людей». Однако за последние годы ЖЗЛовские книги редко следуют канону только биографии. Многие из них романизированы, являясь теми же «документальными романами», какой написал Л. Юзефович.

Да и можно ли писать о Ю. Гагарине, человеке-легенде, почти уже мифе, сухо, без огонька? Тем более такому критику с большой писательской составляющей, как Л. Данилкин? Думается, ему немало «помогли» приглашенные биографии и мемуары советского времени о первом космонавте, отталкиваясь от которых так весело и задорно писать. Пожалуй, даже излишне задорно. Но благодаря этому желанию оживить и приблизить своего героя к себе и к земной, грешной действительности Ю. Гагарин и впрямь обретает какую-то новую подлинность. Словно вопреки автору, пишущему не иначе как языком современных СМИ — жаргоном, замешанным на смеси англицизмов, поговорок и афоризмов, баек и анекдотов и желании повеселить и развлечь читателя бойкой метафорой, неожиданным сравнением. А в паузах вырывается вынужденное признание: его герой был не похож на других, жил, учился, работал лучше,

как-то иначе, яростнее, чем другие. Поэтому что уже с юности знал свой путь.

Гагарин заставил-таки Л. Данилкина и его книгу идти нужным маршрутом: автору пришлось попридержаться свой шустрый язык и уступить место множеству мемуаристов и тех, кто хоть как-то касался гагаринской темы. Так что книга получилась процентов на семьдесят коллажем цитат, по примеру книг В. Вересаева о Пушкине и Гоголе. Но лишь внешне. На самом деле среди этих цитат немало таких, которые снижают пафос гагаринского триумфа чуть ли не до нуля. Особенно из В. Пелевина («Омон Ра») и Т. Вулфа («Нужная вещь»). Однако же и КПД их оказался тоже почти нулевым: булавочные эти уколы «треножника» Ю. Гагарина не колеблют. Зато библейская, евангельская версия полета Ю. Гагарина, о которой автор периодически упоминает, страхуясь иронией, как-то сразу убеждает.

Конечно, советские реалии никуда не денешь: Ю. Гагарин вступил в партию незадолго до полета, умел говорить «партийным» языком, как заправский агитатор, ни разу не подал повода усомниться в своей советскости. Не уйти и от «теневых», о донжуанстве и алкоголе, фактов-слухов, из которых можно составить целую альтернативную биографию. (Л. Данилкин соблазну не поддавался, хотя пунктир обозначил, негативные факты перечислил.) Но в том-то и дело, что даже все это не нарушает впечатления от жизни Ю. Гагарина как от жития. словно ему был предначертан план жизни, который не мог быть нарушен ни собственными ошибками, ни внешними воздействиями. Такое бывает, если жизнь человека настроена в унисон с жизнью страны в данный момент ее развития, когда оставаться «малым» человеком-обывателем невозможно, а вырасти

в «большого» помогает степень выраженности национального характера.

И когда есть еще что-то, иррациональное. То, что М. Метерлинк в приведенной выше цитате определил как «одержимость» («своим движением и смертью преследуют какую-то цель»). Ю. Гагарин начинал вполне традиционно: сельская школа — ремесленное училище — техникум с рабочей специальностью. А затем за четыре года совершается взлет: аэроклуб, где он занимается параллельно с учебой и работой литейщика, приводит его к зачислению в отряд космонавтов и статусу «космонавта № 1». Л. Данилкин объясняет, почему: оказался «сообразительнее, выносливее, храбрее многих; да что там многих — всех». И добавляет в сноске, что было в нем и нечто еще особенное — «детскость», проявившаяся в насмешливости, розыгрышах, знаменитой улыбке, «голосе, манерах, юморе». И это сблизало его с космосом. Ибо «космос, — пишет Л. Данилкин, — это, в сущности, есть Царствие Небесное, рай», а «быть как дети», по завету Спасителя, и есть главное условие достижения Царствия Небесного.

Было что-то подспудно религиозное в его тяге к небу — итогу пути любого человека, желающего жить осмысленно, а значит, «вертикально», «взлетно». Во времена Лавра из романа Е. Водолазкина такое возможно было только умозрительно и только подвижнически, путем жития. Во времена Ю. Гагарина это стало возможно технически, но безрелигиозно: главенствовал атеизм, о Боге можно было говорить только с насмешкой. И Ю. Гагарину пришлось, в духе эпохи, говорить на пресс-конференциях: «Облетел всю небесную канцелярию и никого не встретил — ни всемогущего, ни архангела Гавриила, ни ангелов небесных. Выходит, небо-то чистое!»

Но что бы он ни говорил или думал, сам факт «вертикальности» его судьбы — первый в космосе, всемирная слава — в своей грандиозности сравним с чем-то большим, чем любые технологические достижения. Интересны совпадения биографии Ю. Гагарина с жизнью Иисуса Христа. Отец космонавта № 1 тоже был плотником; «Иродом» можно назвать гитлеровца-оккупанта в их деревне Клушино, который грозился убить «младенца» Юру; переезд из деревни в Гжатск — бегство в Египет; старт ракеты «Восток» 12 апреля — почти в Пасху (9 апреля); триумфальный въезд в Москву 14 апреля — въезд Христа в Иерусалим; возвращение из полета — воскресение из мертвых (в полете он как минимум дважды был близок к смерти). И, наконец, гибель в небе в марте 1968 г. в возрасте 34 лет, почти в возрасте Христа, можно сопоставить с Вознесением.

Повторим, что Л. Данилкин перечисляет все эти совпадения и параллели с очевидной иронией. Цель его книги — изложение биографии Ю. Гагарина с максимальной полнотой, с учетом версий, слухов, анекдотов. Отсюда и хитрый метод коллажа, когда автор словно прикрыт несметным числом соавторов, от В. Пелевина до А. Леонова, от Н. Хрущёва до английской королевы Елизаветы.

И лишь в промежутках между коллажными блоками он позволяет себе раскрыться. И тогда может проговорить наконец то, что давно напрашивалось: «По-видимому, космос русского/советского человека — космос в широком смысле, космос как мир идей и явлений — все-таки как-то соответствовал космосу большому». Поэтому-то путь Юрия Гагарина — эталон русского человека в его развитии и в «силе духа русской народности как стремлении ко всемирности и ко всечеловечности», как сказал Достоевский о Пушкине, «Гагарине» отечественной литературы. Даже если пока еще нынешний русский сторонится философии и религии, а имя Бога для него абстрактно и скучно.

Герои литературных произведений (лучших, на наш взгляд, в современной литературе за последнее пятилетие) так или иначе на этот главный путь становились. Пытались его проходить и проходили, иногда и не подозревая об этом. Главное, что ими руководило сознание необходимости такого пути и ущербность чисто «горизонтальной» жизни как забвения себя и Бога. Нынешняя литература больших слов, идей, понятий избегает. Может, и правильно. Дела в конечном итоге важнее слов. А слова придут, были бы жизнь и путь.



ВЕТЬ БОЛЬШОГО ДЕРЕВА

Татьяна Четверикова. *Ветвь. Стихи.* — Омск, 2016.

Предназначение поэзии — облагораживать и возвышать человеческие души. В этом убеждена омская поэтесса Татьяна Четверикова:

**Цветет по провинции цветом
неброским,
Хвалу воздает то полям,
то березкам,
Робеет под натиском ора и мата
И все же светла она, все же крылата.
Все что-то хранит, все о чем-то
хлопочет,
Да все наставляет сыночков и дочек.
Изгонят из школы, с экранов
и книжек —
Лишь станет суровой, печальней
и тише.
И все же не даст поломать,
искалечить,
Чтоб душу до Бога поднять
человечью.**
(«Поэзия»)

Но есть поэзия, а есть, по меткому замечанию Т. Четвериковой, «не проповедь — пропись», «вышиванье... по знакомой канве». А потому: «Открой журнал — одни кликуши. / Одни и те же песни в уши: / Про колосок, про край родной. / Про честь и совесть, вечный бой». Загляни в другой — «еще похлеще: / Страдания столичных женщин. / И антураж всегда один: / Поселок дачный и камин». Этот псевдопоэтический диапазон — «от барабана до гламура» — для самой Т. Четвериковой совершенно неприемлем. Ее стихотворная строка пребывает совсем в других координатах.

Это как раз ее поэзия «цветет по провинциям цветом неброским». А осью, вокруг которой вращается планета-провинция Т. Четвериковой, становится ее родной Омск, город, с которым она навсегда связала свою судьбу. Не случайно книжка ее посвящена 300-летию Омска, а его образ так или иначе просматривается в большинстве стихотворений сборника.

Под пером Т. Четвериковой город «ретро» сосуществует с современным мегаполисом. И в стихотворных циклах («Омские мотивы», «Январь», «Приходит...», «Стихи об Омске»), и в отдельных посвященных городу на Иртыше стихах чуть ли не на каждом шагу ощущается этакое «наложение времен».

Предпочтение поэтесса отдает времени прошедшему, и Омск минувших дней — «былинный», «бережно хранящий старину», «наследник славы Ермаковой» и колыбель многих выдающихся деятелей русской культуры — ей ближе и дороже современного. Именно к нему обращаясь, восклицает она в полноте чувств: «Живи в веках, живи во мне, живи / В домах, музеях, скверах, обелисках!»

Однако память лирической героини хранит еще и другой Омск — интимно свой, «личный», с собственной историей. Историей рядовых его обитателей. Таких, например, как дед из «Омских мотивов», который был мастером на все руки, вырастил двенадцать детей, «голодал, воевал, / прожил семьдесят лет / И ушел, чтоб в потомках своих / раствориться...» Вот только у официальной «истории гор-

дой» для ему подобных «и строки нет». Как не будет им и «досок мемориальных» на старых частных домах, где они жили. Остаются живым и зримым напоминанием об их судьбах лишь эти дома, которые «словно в вечность вырастают», да улочки, «заросшие сиренью, бузиною», где «хрупо одуванчики белеют». В неповторимой их атмосфере прошло детство и самой Т. Четвериковой:

**Хожу-брожу по улочкам знакомым,
Что прячутся от времени успешно,
И сердце детство вспоминает нежно.**

И воспоминания эти, и многие запечатленные поэтессой картины старинного города почти документальны. Как адресно-конкретна и узнаваема в стихах Т. Четвериковой омская топонимика. Автор книги ведет читателя по улицам Красных Зорь, где жил когда-то поэт Леонид Мартынов, и Красный Путь, куда маленькой девочкой ходила она с мамой в керосиновую лавку, показывает нам Птичью Гавань, «Зеленый Остров и затон» на «Омь-реке» и окраинные улочки — несколько Северных, Гусарова, Тарскую, Кемеровскую, Почтовую... — где она «бегала летом арапкой» и во глубине которых растил ее с отеческой нежностью родной город.

Оставаясь привязанной к Омску минувших дней, «городу отчуму», грустя о нем, Т. Четверикова не отвергает города современного. Ибо один есть продолжение другого. Многое ей, выходя из века минувшего, здесь не по душе, но: «Ведь не сидеть же, право, на завалинке, / Не заливать же в лампы керосин!» А потому: «Я учусь любить тебя таким — / Современным, динамичным, резким, / Тем, что ближе для моих детей», — признается Т. Четверикова в «Омских мотивах».

Но, оказывается, и «дети» вполне осознают, что без прошлого нет будущего. И вот уже «приходит дочь и говорит: познакомь меня со своим Омском». Огля-

дываясь в ушедшее, вспоминая, «сколько было стихов, сколько было порывов», Т. Четверикова приходит к вполне диалектическому выводу:

**Ничего не ушло, просто перетекло
В наших дерзких детей,
 пусть не очень счастливых,
Но в глазах и душе у которых
 светло.
Все-то рвутся они: ищут пусть
 да обрящут
То, что молодость только
 и даст им сполна:
Бесконечность небес,
 заповедные чащи
Да любви торжество:
 что ни день, то весна!..
 («Январь»)**

Той же мыслью об извечном круговороте жизни проникнуто и другое стихотворение Т. Четвериковой:

**Как мама, полюбила тишину.
Как мама, чаще вспоминаю детство,
Как мама, чаще подхожу к окну
И не могу на осень наглядеться...
Я в зеркало смотрю: ее черты.
И не пугают седина, морщинки.
Понятно же, что проиграешь ты
Со временем в напрасном поединке.
.....
Как маме, мне все чаще снится
 мать...**

А с нею — и вся ее «небесная родова», которая «куда обширнее земной».

О своем послевоенном поколении, с которым чувствует она самую кровную связь, у Т. Четвериковой отдельный разговор, который она ведет в посвященном «памяти друзей-поэтов» цикле «Дети Победы»:

**Мы — дети той весны непобедимой,
Когда — по счастью —
 выживших солдат
Встречал — в слезах —
 советский край родимый.**

**Полны бараки горькой нищетой,
Но столько было нежности
сердечной,
Что прорастали мы густой травой
И грелись под звездой
пятиконечной...**

Многое со временем изменилось, подверглось не всегда справедливой переоценке. Но в сердцах послевоенного поколения, убеждена поэтесса, навсегда осталась «родительская слава» и понимание того, что Родина — это крест, который им, «Победы детям», надо по жизни достойно нести и делать все, чтобы «Вечного огня не погасить, / И тени пасть на Май наш не позволить».

Омская тема в книге, безусловно, стержневая, связующая, но не единственная. Т. Четверикова — поэт до самого доньшка лирический, а куда же лирику без любовного трепета и чувственных переживаний? Впрочем, отношение к ним тоже меняется под воздействием времени. В стихотворении «У нас такая разница» поэтесса вспоминает давний роман с человеком старше ее на тридцать лет, который «ожогом, откровением, / был смутой» для нее. Однако пара рассталась: «Но жизнь твою осеннюю / я не смогла принять». Много воды утекло с тех времен. Ушел в мир иной былой возлюбленный, а сама героиня стихотворения теперь пребывает в той «осенней» поре. И, как бы ставя точку в давней любовной истории, женщина в финале стихотворения просит ушедшего, но не забытого возлюбленного: «Ты жизнь мою осеннюю / с небес благослови...»

Лирика Т. Четвериковой не отличается какими-то особыми формальными изысками. Впрочем, поэтической форме

поэтесса также уделяет немалое внимание. Например, извечность одних и тех же состояний-матриц Т. Четверикова в цикле «Снился мне сад...» подчеркивает весьма оригинальным способом. Предваряя стихи эпиграфами из поэтов минувших веков, она отталкивается от них и по-своему интерпретирует их в контексте уже современных реалий и собственного опыта.

*Все недосказанное вами
И не дослушанное мной...*

Я. Полонский

**...Тебе расслышать бы тогда,
Когда еще мы были вместе,
О чем стучали поезда,
Какие ветер нес нам вести.
О чем гудел твой самолет,
Что возносил тебя все выше.
Романс любимый мой, и тот
Ты не расслышал, не расслышал.
Два века — что для сильных чувств!
Как оказалось, это малость...
Ты упрекаешь, что молчу,
А все давным-давно сказалось.**

Имя сибирячки Т. Четвериковой читателям известно уже давно. В ее творческом багаже более десятка книжек, в каждой из которых являет она себя интересным и самобытным поэтом. Сборник «Ветвь» — не исключение. Последний по времени появления, он тем не менее не производит впечатления итогового, подводящего некую черту. В одном из стихотворений, написанном на заре нынешнего века, Т. Четверикова, помнится, оптимистически восклицала: «Далеко еще до конечной!..» Думаю, что и сегодня «до конечной» поэтессе по-прежнему далеко. А потому будем ждать новых и новых поэтических с нею встреч.

Алексей ГОРШЕНИН

Светлана БЕЛЯЕВА

ТЕМА ДЕКАБРИСТОВ В ГРАФИКЕ Н. И. ДОМАШЕНКО

Николай Иванович Домашенко — художник, плодотворно работающий в станковой графике, мастер экслибриса и книжной иллюстрации — родился 6 сентября 1946 г. в Иркутске. В 1962—1967 гг. он учился на художественно-педагогическом отделении Иркутского художественного училища, где позднее работал в качестве преподавателя. Начиная со Второй зональной выставки «Сибирь социалистическая», состоявшейся в Омске в 1967 г., молодой художник активно участвует в выставках различного уровня. В 1971 г., в возрасте 24 лет, Домашенко вступает в Союз художников СССР и тогда же становится лауреатом премии Иркутского обкома ВЛКСМ имени Иосифа Уткина, присуждавшейся за творческие заслуги.

В 1970—1980-х гг. творческая жизнь Домашенко была тесно связана с Новосибирском. Это время в истории художественной культуры города отмечено плодотворной деятельностью как местных авторов, так и недавно приехавших сюда молодых мастеров. Позднее Николай Иванович переедет в Ленинград, где успешно реализует себя как в области изобразительного искусства, так и в преподавательской работе.

В сибирский период творчества Н. И. Домашенко определилась, пожалуй, наиболее значимая для него тема, к которой он возвращается вновь и вновь и в иллюстрациях, и в станковых произведениях, — тема восстания декабристов, тема подвига, душевного благородства, стремления жить и готовности погибнуть ради других людей. Возможно, причиной столь

стойкого и глубокого интереса к ней стали детство и юность, проведенные в Иркутске, — городе, где в свое время проживали многие политические изгнанники XIX в., где до сих пор бережно хранится память об этих мужественных людях. Произведения на декабристскую тему Н. И. Домашенко обширно представлены в собрании Новосибирского государственного художественного музея.

Форзацы книг «Своей судьбой гордимся мы» (1972), «В сердцах Отечества сынов» (1974), «Дум высокое стремление» (1974), являющиеся своего рода изобразительными эпитафиями, предназначены для трехтомника, выпущенного к 150-летию восстания декабристов и посвященного их памяти (Иркутск, Восточно-Сибирское книжное издательство, 1975). Все три многофигурные композиции патриотического содержания выполнены в одном стиле в технике автолинкографии. Некоторая рельефность изображения, благородная сдержанность цветовой гаммы, построенной на сочетании собственно белого листа и бледно-серого тона, придают этим работам красоту и своеобразие.

Четырнадцать листов из музейной коллекции, относящиеся к 1974 г. и созданные в технике резцовой гравюры, отличаются единым стилем исполнения и позволяют предположить общность замысла — иллюстрирование одной серии изданий. На трех из этих гравюр есть указания на то, что они предназначены для книги «В сердцах Отечества сынов», две другие воспроизведены на титульном развороте книги «Дум высокое стремление».

«Все это плод тщательной и кропотливой работы художника над книгой, итог глубокого вживания в тему. Именно поэтому здесь каждая изобразительная деталь на своем месте, индивидуальна и в то же время неразрывно связана с целым», — отмечает исследователь сибирской книги XX века В. Н. Волкова, размышляя об этой серии.

Строгость и сдержанная красота отличают эти небольшие, выполненные в коричневом цвете композиции, большинство из которых вписано в овал. Посвященные старинным сибирским городам и острогам, они могут быть отнесены к жанру исторического городского пейзажа. Художник восстанавливает утраченный облик городов, дает возможность представить, какими они были несколько столетий назад. В то же время здесь присутствуют и элементы стилизации, что продиктовано спецификой книжной иллюстрации. Суrowость и лаконичность внешнего вида острогов, само их предназначение диктуют и особенности изображения — простоту, четкость и даже некоторую сухость рисунка. По стилю исполнения, характеру трактовки облаков, воды, зданий эти листы восходят к гравюрам XVII — XVIII веков.

К теме декабристов, их жертвенного подвига Домашенко не раз обращается и в станковых произведениях. Художник часто прибегает к созданию серий, добиваясь тем самым наиболее полного раскрытия замысла.

К 1969 г. относится серия «Декабристы», сразу получившая широкое признание. Сочетание мелкого, тонкого, детально проработанного рисунка с сухими, однообразными, словно проведенными по линейке группами линий вносит в эти листы ощущение контраста и противодействия. Художник мастерски соединяет возможности офорта, которому свойственны свобода и гибкость линий, и резцовой гравюры, для которой характерны четкость и некоторая жесткость рисунка. Автор выбирает вытянутый по горизонтали формат, служащий передаче панорамности изображения, будь то Сенатская площадь или набережная Иркутска.

Листы из серии «Трагедия декабря» (1973), выполненные в технике автолитографии, отличает взволнованность и даже трагичность звучания. Этому способствует трехцветная цветовая гамма: контрастное сочетание красных и черных плоскостей с мягко и подробно проработанными тональными бело-серо-черными изображениями людей; траурную нотку вносят в нее ограничивающие черные рамки. Для каждого листа художник выбирает наилучшее композиционное решение: так, в работе «Черниговский полк» масса военных воспринимается как нечто целое, акцент делается на их единстве; в «Допросе» благодаря цветовым контрастам подчеркнута противопоставление светлых фигур арестованных и безликость черных силуэтов судей.

По-другому решены гравюры из серии «Поставлены вне разрядов» (1976), посвященной пяти казненным декабристам. Все ее листы выполнены по одной композиционной схеме: крупное оплечное портретное изображение главного героя, позволяющее всмотреться в него внимательнее, на фоне жанровых сцен.

Листы из серии «Жизнь Апостола Сергея» в технике цветной литографии относятся к 1982 г. Стилизованные, лаконичные композиции построены на сочетании изумрудных, белых и черных локальных пятен. Преимущественно это силуэтные изображения, очертания которых настолько выразительны, что не нуждаются в деталях, и только в листе «Сергей Апостол» проработано лицо героя. Художник продуманно использует ритм цветовых пятен, прием контраста и другие выразительные средства композиции. Изображения то подчеркнута статичны («Сергей Апостол»), то полны движения, которое вносит в них сочетание диагональных направлений («Фельдгегеря»).

Произведения Николая Ивановича Домашенко отличаются выразительностью художественного языка, своеобразием композиций, узнаваемостью авторского стиля. Для каждой работы автор выбирает наиболее удачное художественное решение, проявляя себя как интересный, разносторонний мастер.

АВТОРЫ НОМЕРА

Беляева Светлана Анатольевна — главный хранитель Новосибирского государственного художественного музея.

Горшенин Алексей Валериевич родился в 1946 г. в Ульяновске. Окончил Томский государственный университет. Работал в новосибирских газетах, в журнале «Сибирские огни». Публиковался в журналах «Сибирские огни», «Октябрь», «Молодая гвардия» и др. Автор книг «Человек среди людей», «Беседы о сибирской литературе» и др. Член Союза писателей России. Живет в Новосибирске.

Иванов Всеволод Вячеславович (1895—1963) — русский писатель. Юность прошла в Западной Сибири. С 1921 г. жил в Петрограде и Москве. Фронтовой корреспондент «Известий». Автор многих произведений художественной прозы.

Куклин Сергей Александрович родился в Томске в 1959 г. Окончил Томский политехнический институт, геологоразведочный факультет. Работал инженером-геологом в Казахстане, в Красноярском крае, Томской области, в Ханты-Мансийском АО. В настоящее время ведущий геолог в изыскательской организации. Рассказы и повести печатались в томских журналах и альманахах. Автор двух книг прозы. Член Союза российских писателей. Живет в Томске.

Лаптев Александр Константинович родился в 1960 г. в Иркутске. Окончил Иркутский государственный университет. Работал инженером на заводе, охранником в частной охранной фирме, редактором книжного издательства. Публиковался в журналах «Роман-газета», «Юность», «Литературная Россия» и др. Автор ряда книг прозы. Член Союза писателей России. Живет в Иркутске.

Сайдаков Виктор Иванович родился в 1951 г. в пос. Сибирский Купинского района Новосибирской области. Окончил Новосибирский государственный педаго-

гический институт, Новосибирское высшее общеобразовательное военно-политическое училище. Работал учителем и завучем в сельской школе. Был призван на службу офицером в газету Сибирского военного округа «Советский воин», после увольнения в запас работал в Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение». Публиковался в журналах «Дальний Восток», «Сибирские огни». Член Союза журналистов России. Живет в Новосибирске.

Стасевич Виктор родился в 1961 г. в г. Темиртау Карагандинской области (Казахстан). Окончил Томский государственный университет. По профессии биолог. Печатался в журнале «Сибирские огни», в коллективных сборниках издательства «Азбука». Живет в Новосибирске.

Шекшеев Александр Петрович — кандидат исторических наук, член правления Хакасской республиканской организации общества «Мемориал», автор трех книг и 250 научных статей и сообщений. Печатался в журналах «Вопросы истории», «Российская история», «Родина», «Гуманитарные науки в Сибири», в альманахах «Белая гвардия», «Тобольск и вся Сибирь» и др. Живет в Абакане.

Яранцев Владимир Николаевич родился в 1958 г. в Калининске. Окончил гуманитарный факультет Новосибирского государственного университета. Член Союза писателей России. Публиковался в журналах «Гуманитарные науки в Сибири», «Сибирские огни» и др. Кандидат филологических наук. Живет в Новосибирске.

Ярыгина Надежда Кирилловна родилась в г. Киренске Иркутской области. Окончила Иркутское художественное училище, работала преподавателем, флористом, оформителем. Публиковалась в журналах «Арион», «Юность», «Байкал», в альманахах «Иркутское время», «Зеленая лампа» и др. Автор книг «Есть ощущение» (2012), «Случилось нечто» (2015). Живет в Иркутске.



МАГАЗИН

продает и покупает:

книги и подписные издания, газеты, журналы, почтовые открытки (до 1960 г.), старые фотографии, домашние архивы, коллекции почтовых марок, монеты, бумажные деньги;

статуэтки фарфоровые, бронзовые и чугунные, серебряные изделия, значки на винтах, портсигары и подстаканники, заводные игрушки и фарфоровые куклы, угольные самовары и патефоны, старинную мебель, старую военную форму и военную атрибутику и многое другое.

Работают отделы:

антиквариата, нумизматики, филателии и букинистической литературы.

Всегда в продаже журнал «Сибирские огни».

Работаем с 10 до 19 без перерыва, в воскресенье с 10 до 18

Адрес: ул. Романова, 26 (угол Советской и Романова)

☎ 227-18-37, 227-14-50

Сайт: www.gornitsa.ru E-mail: n_gornitsa@bk.ru

Частные лица и организации в Российской Федерации и в странах СНГ могут подписаться на журнал «СИБИРСКИЕ ОГНИ» в любом отделении связи — красный Объединенный каталог, подписной индекс — 46587.

ДЛЯ ДЕТЕЙ СТАРШЕ 16 ЛЕТ

Учредители:

Союз писателей России, Администрация Новосибирской области

Журнал зарегистрирован в Государственном комитете Российской Федерации по печати.

Свидетельство о регистрации № 01302 от 27 ноября 1998 г.

Адрес редакции и издателя:

630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, 19, тел.: (383) 223-10-15

E-mail: sibogni@sibogni.ru Сайт: сибирскиеогни.рф

Адрес типографии:



ООО «Новосибирский издательский дом»

630048, г. Новосибирск, ул. Немировича-Данченко, 104

<http://книгосибирск.рф>

Сдано в набор 12.09.2016 г. Дата выхода № 10 за 2016 г. в свет 14.10.2016 г.

Формат 70x108/16. Печать офсетная. Усл. п. л. 8,7. Тираж 1500 экз.

Цена свободная.

Во всех случаях полиграфического брака просим обращаться в типографию.